ВРЕМЯ И МЫ

103
1988

ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Четырнадцатый год издания.

Выходит один раз в три месяца

103
1988

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/ 6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Михаил ФЕДОТОВ
Иерусалимские хроники 5
Сергей РУЗЕР
Отъезд Веры Николаевны 46
Юрий ДРУЖНИКОВ
Розовый абажур с трещиной 78

ПОЭЗИЯ
А. ЛЕИН
Пути невозвращенья 101
Андрей ГОРЛОВ
Земные чудеса 112

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.
Петр БОЛДЫРЕВ
Образ врага 118
Владимир СОЛОВЬЕВ
2000 год: мир без советской империи 140
Валерий ЧАЛИДЗЕ
Большинство и меньшинство 153
Борис АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Размышления после катастрофы 160

НА ВСТРЕЧЕ В БАРСЕЛОНЕ
Ефим ЭТКИНД
Границы свободы 167
Виталий КОРОТИЧ
Мы устали, но не стали циниками 182
Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ
Революционеры и «постепеновцы» 186
Юрий КАРЯКИН
Это наш последний шанс 192
Витторио СТРАДА
Сталин был, и это требует объяснения 195

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Никита Иванович и другие 201
Алексей РЫБИН
Рядом с И.В. Сталиным 253

РЕПЛИКИ. СООБЩЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
Таинственное вступление к неизвестной поэме 272
Среди неверия и суеты 275

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совладают с мнением редакции.

©«Время и Мы»

ISSN 0737-7061

Михаил ФЕДОТОВ

ИЕРУСАЛИМСКИЕ ХРОНИКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ БАКУ

Я хочу быть богатым. Я хочу, чтобы мне звонил Евтушенко и спрашивал, какая в Иерусалиме погода. Но мне никто не звонит. У меня даже нет телефона. Иногда Лека Арьев звонит моей соседке и что-то передает. Она — марокканка, но говорит, что родилась в Париже. Врет. Да и звонить разрешает только, когда что-нибудь срочное.

Мне надоело носить туфли на шурупах. Утром лысый англичанин, сосед, приглашал меня на кофе. У него компьютер «Макинтош», и он работает дома. Компьютер даже может исполнить Вивальди, если уметь им пользоваться.

У моего соседа пиджак с серебряными пуговицами. Он сказал, что нужно, не стесняясь, написать на бумаге: «Я достоин богатства», и самому в это поверить. Я спросил, а можно не писать, а просто сказать. Но он говорит, что обязательно нужно писать, а то потом можно отказаться, особенно, если никто не слышал. Надо писать десять дней подряд на бумаге по семь раз и еще говорить вслух. И то-

гда уже не отказаться. Нужно написать: «Господи, я достоин богатства. Обещаю использовать его во благо, а не во зло». И еще написать, что тебе конкретно нужно. А самому в это время представлять, как на тебя падает золотой дождь и все, что тебе нужно: зубы, и машины, и женщины, и чтобы опять начать писать. И уже тогда — все. Я так раньше не делал. Я говорил только: «Господи, ты испытал меня бедностью, теперь испытай меня богатством». Но до дела никогда не доходило. Потом пришла старуха снизу и попросила вернуть ей яйцо. Курду нельзя никому насовсем давать яйца. В долг давать можно, но надо сразу забирать. Даже нищим нельзя давать яйца, если не хочешь чтобы ребенок пропал. А у нее два-сына в Америке. А марокканцы могут давать яйца. Марокканка приносит мне по шабатам перловую кашу с яйцами. Половину я отношу в госпиталь, Борису Федоровичу. И сижу у него, пока он ест. Так я живу уже несколько лет. Иногда соседка приносит жаркое. Иногда я долго стою возле окна и слежу за парадным напротив. Просто так. Иногда начинается осень или зима, и я все время что-то пишу.

Так начинался год «Иерусалимских хроник».

Все было, как обычно. Дул пронизывающий ветер. Днем шел дождь со снегом, и теперь по улицам стекали потоки грязи. Я сразу зачерпнул полный ботинок.

В магазине моего хозяина горел свет. Обычно он закрывается в девять. На пороге никого не было. Я не стал обходить рыночными задворками, а просто быстро прошел мимо, не оборачиваясь.

Я весь день ничего не пил. Как-то все время не получалось. Ближе всего было зайти к Борису Федоровичу Шендыреву, если он в этот холод заночевал на Агриппаса. Было два места, где он мог находиться: в госпитале или среди развалин, за Машбиром*. Там была комната с проволочной кроватью, и было все же поуютнее.

* Израильская торговая фирма.

Я покричал снизу, но он не откликнулся: или спал мертвецким сном или еще не возвращался. Забрать его не могли. Последние месяцы он мало бывал трезвым: его обыскивали прямо в машине и, чтобы не возиться, сразу отпускали.

Кажется, я стоял в воде. Если комнату в такой дождь залило, то Борис Федорович мог пойти в госпиталь. Там жутковато ночью. Лучше входить засветло. Но в госпитале не бывает крыс, потому что там редко живут люди, и он до сих пор остается английской территорией.

Борис Федорович по утрам, пока не напивался, читал много бесплатных сохнутовских брошюр. Там он вычитал, что на госпиталь можно заявить свои права, если живешь под крышей больше года.

А один раз он его чуть не продал. Правда, было лето, и Борис Федорович выглядел свежее, чем обычно. Он сказал какому-то типу по-немецки, что готов вести переговоры, но потом не удержался и попросил у переводчика на водку — они плюнули и ушли. Но уж американца-то можно было найти, который даст задаток под такое большое здание, хотя бы долларов сто.

Полиция требовала, чтобы Шендырев не разводил в госпитале огонь, но весь прошлый год Володька Шнайдер сидел, а одному Шендыреву с костром все равно было не справиться.

Я нерешительно потоптался у развалин. Внутрь было идти противно, к тому же я боюсь темноты, а фонарик я забыл. Ноги сами шли в «Таамон». Я порылся в карманах. Денег с собой ни гроша не было, а я не помнил, кто в этот вечер работает за стойкой. В долг могли не записать. Надо было где-то стрельнуть.

Я пошел наверх, по Штрауса, мимо больницы. И по Навеим, через лужи, побрел к старому городу. Там была небольшая группа верующих, с которыми я раньше приходил молиться. Но ужасно вылизанная. Я заходил к ним, только если с утра был трезвым.

У больницы мне кто-то свистнул. Я удивленно поднял голову. Стояла черная баба в халате, ловила под дождем такси. У меня мелькнуло на ходу такое чувство, что мир кончился, и я остался вдвоем на свете с этой промокшей медсестрой. У меня всегда такие мысли перед тем, как я захожу в церковь. Дождь идет страшный. Сейчас она уедет в такси, и в пустом мире мне уже ее не отыскать. Обычная американка с толстыми губами, только еще черная.

Я плелся прямо по воде по мостовой. Не было сил взбираться на высокий тротуар и тереться плечами о стены. Ести пастор даст хоть сколько-нибудь долларами, то я отдам их в счет долга моему хозяину Магзумову, и он на пару недель заткнется.

Было около девяти, когда я добрался до церкви. Проповедь кончилась, и они уже помолились. Я особенно не любил этот конец службы, когда они вместе умильно молились и накладывали друг на друга руки. Или танцевали какие-нибудь идиотские шотландские танцы, что обозначало, что они совершенно расслаблены и счастливы. Потом еще раз обносили печеньем и с кофе удобно было взять штуки три.

Там бывали очень странные люди, в этой церкви. Впереди меня сидел бывший католический священник с фиолетовым носом. Он жил в старом городе, всегда ходил по городу с чемоданчиком и раздавал арабам всякое ненужное шмотье. Я бывал в его светелке. У него полно статуй в тогах, как в музее. Он не пьет.

Еще танцевала одна еврейка из Америки. Вообще евреев у них почти не было. Раньше она состояла в секте «невесты Христа». Я их видел, этих невест, жуткие все оторвы. Сейчас она соглашалась с тем, что это ересь, но я все-таки старался вблизи от нее не молиться.

Они заседали в старой пресветерианской церкви, внутри всегда было очень светло, и стоял белый инструмент, на котором дочь пастора бочком играла гимны.

У меня ужасно замерзли ноги. Оба ботинка протекали. В

левом дырок как таковых не было, но подошва была совсем тонкой — я прожег ее на электрической печке. Если из квартиры придется съезжать, то на электричестве последний месяц можно было не экономить и сегодня вечером как следует просушиться. Меня не устраивала эта группа баптистов, потому что никогда нельзя было снять ботинки и высушить ноги. Даже если оставался один пастор. Он ничего бы не сказал, но было видно, что ему это очень неприятно.

Народу в церкви оставалось совсем мало, пастор выслушал меня очень внимательно и даже что-то почирикал в своем блокноте. Но денег не дал. «Ю вил би ин май прейэрс, — сказал он, — вы будете в моих молитвах. Почему вы не работаете?» — участливо добавил он.

Я ему уже сто раз объяснял, почему я не работаю. Он мог бы уже и запомнить. Я уж сам запомнил. Я ничего не ответил, только постарался вытащить палец из ботинка, чтобы его разжалобить.

«Вас тут ждет один человек, — сказал пастор, — вы не могли бы оказать ему духовную поддержку, а то я плохо понимаю, что он хочет».

«Наверное, он тоже хочет денег, — подумал я, — на хер ему духовная поддержка».

На одной из задних лавок сидел небритый человек с одним зубом и приветливо махал мне беретиком. В церкви все скамейки и лавки было сплошь из белого дуба. Батюшки светы! Такое впечатление, что я был на станции Бологое. Не хватало только портрета Хрущева с бородавкой. Я подошел к человеку, на всякий случай, слегка прихрамывая.

— Ну, как ваши дела? — сказал он с сильным кавказским акцентом по-русски. С таким сильным акцентом, что я даже замялся. Потом спросил: — Я вас не помню, мы точно не знакомы? Затем пожал плечами, ухмыльнулся и сказал: — Да нет, это я так, я кавказский человек.

— А чего вы тогда так подробно спрашиваете, как мои дела? — сказал я.

— А чего спросить? — ответил он.

— Вы где живете?

— Да живу тут в одном месте, но завтра надо съезжать. У тебя нельзя пожить?

Я почувствовал, как смертельно ждал этого вопроса. Да, я смотрел на его громадные, с чужой ноги армейские ботинки без шнурков и ждал этого вопроса. Нужно сейчас набраться сил, пока еще не поздно, и сказать, что со мной пожить нельзя. Мне самому надо съезжать, и меня раздражают люди. Я не хочу, чтобы мне подсовывали странных монстров с одним зубом, в армейских ботинках. Меня вообще раздражают люди, которые хотят со мной пожить. Потом его будет не выгнать. И от него пахло. Я не люблю, когда пахнут. Собственно, все симпатичные люди, которых я встречал, не пахли. Или я мог, в конце-концов, привыкнуть. А он пах так, что мне не привыкнуть.

— Вы обязаны ему, пожалуйста, помочь, если это возможно, — сказал пастор Лесли, — я действительно не понимаю, чего он хочет. «Ему невозможно помочь, — простонал я мысленно, — никому невозможно помочь».

— Денег ни хера не дал, — сказал грузин заговорщицки, — надо еще поднажать.

— А друг друга вы очень хорошо должны понять, — продолжал пастор, — он говорит, что его в прошлом году крестили.

На руке у грузина была намотана тряпочка. Не бинт, а домашняя тряпочка с желтыми кофейными краями или йодом. Я не смогу целыми днями смотреть на его зуб и на этот кавказский беретик. Я стоял и думал, что этому грузину сказать. Пастор не отходил. Делал вежливые щеки и ждал, чем история кончится.

— Я из Баку, -— сказал грузин. То есть мало того, что он грузин, так он еще и из Баку. Я ничего против грузин не имею, просто я не люблю, когда у меня живут с такой тряпочкой. И я не могу писать. У меня творческий паралич. Вот живут люди на свете, которые всегда знают, что будут

писать и пишут, потому что знают. А я не знаю. Скоро я не смогу расписаться на чеке. Хорошо, что я еще не разучился говорить. Может быть, правильнее было бы давно все бросить, но меня не отпускало.

Два башмака еще стояли около меня, значит он не ушел. Я сел возле газовой печки. Мне было тоже не оторваться от тепла.

Пастор побежал провожать английскую пару — кожного врача с худющей женой. И поцеловался с кожным врачом два раза в щеку. Пасторша с высоким блестящим лбом и красивыми навыкате глазами начала выключать по одной люстры в главном зале. Потолки были необыкновенно высокими.

Они меня раньше приглашали обедать с хрусталем, печеной картошкой и ванильным мороженым. Я ходил из чистого любопытства. Пастор был еще довольно энергичным и все время шутил. Пасторши спят с мужьями в миссионерской позе. Черт знает что приходит в голову, когда думаешь о красивых пасторшах.

— Когда вас выгоняют? — неохотно спросил я грузина.

— Завтра! — дико сказал человек и снова осклабился.

Понятно было, что он видит меня насквозь. Тогда я уже точно решил, что я ему откажу. Нинчь. Нейн. Нихт цап царап махен. Попрошу Аркадия Ионовича Ч. — пусть он его берет. Все равно он дома почти не ночует. И украсть у него нечего, кроме пачки макарон.

— Понимаете, — я решил сказать прямо, — я принять вас не смогу, я сейчас очень занят. Но я устрою вас жить у одного знакомого. Если доживу до утра.

— У тебя температура, — сказал грузин, — тебе нужно позвать врача.

— Нет, никого не надо звать. Приходите завтра, и я постараюсь вас устроить. Без удобств, но не выгонят.

— У меня много вещей, — сказал грузин, — трудно перенести. И есть кот.

— Насчет кота я спрошу.

Я вышел из церкви, ни с кем не прощаясь. Сволочи. Ничего не дали денег и навязали мне этого кретина. Знаю, что братья, но жутко несет Ватиканом. Конечно, я сам часто хожу сюда из-за печенья и кофе. Мне иногда очень нужно сладкого.

Дождь совсем кончился. Вода откуда-то лилась по улицам потоками. Целые реки стекали вниз по Яффо.

Я поднялся по темной улице до рынка и, пока не завернул на рыночную улицу, не встретил ни одного человека.

Сначала я почувствовал запах паленого, а потом увидел замерзших ночных арабов, которые разгружали огурцы. Я попросил у них закурить и присел к костру. Сел с краешка на ящик. Около костра грелись два неприветливых арабских мальчика. Они разламывали ящики и подбрасывали доски в огонь. Вдоль базара было несколько таких костров и несколько шалманов еще было открыто.

Запах паленого мяса от жаровен доставал меня до самого нутра. Я помнил его своей генетической памятью. Печенье с глазком и огурцы, сколько их не разгружай, так не пахнут.

Я подумал, что нужно зайти к Аркадию Ионовичу и предупредить его о новом постояльце. Замка на дверях не было, но никто не открывал. Я несколько раз постучал. Наконец, Аркадий Ионович, близоруко щурясь, открыл дверь на цепочку.

— Кто это? — проворчал он. — Ночь уже. Я только заснул.

Я коротко рассказал ему про грузина.

— Почему вы сами не берете? — спросил он ядовито, — знаю, чем вы заняты. Вы совершенно неспособны совершать бескорыстные поступки. Как его зовут?

— Рафаэлов или Габриэлов, — вспомнил я.

— Конечно, я его знаю, — сказал Аркадий Ионович. Он не был пьяным, но от него все-таки сильно пахло.

— Он из Баку, — сказал я болезненно, — я вас в первый и последний раз прошу о таком одолжении. Там такие ручьи на улице, что у меня полное пальто воды. Заливается внутрь. Его выгоняют на улицу. Сегодня хозяин предупреждал с полицией. Один день дали. Пустите его к теплу.

— Он мне тут все загадит. Знаю я, какой он христианин. Он мусульман. На свой куйрам-байран лупит себя по чем свет стоит. Настоящий дикий мусульман. И шляется в мечети просить деньги. Он месяц жил у Фишера в ешиве. Фишер его выгнал. Сказал, что он не может держать крещеных мусульман. Где вы его раздобыли? Но с котами я не возьму. Это я вас предупреждаю. У меня искривлена носовая перегородка. От котов я начинаю задыхаться.

Все-таки мне удалось договориться, что утром грузин придет к нему. Огурцы из ящика я ему оставить забыл. И перед сном я выпил рюмку водки, чтобы уснуть. Придется утром продать хозяину стерео. Новое, оно стоило четыреста. Можно отдать за сто. Все думают, что Магзумов бухар. Он не бухар. Отец был бухар. И он сильно пьет. Тут все пьют. По утрам он оставляет в магазине старого деда, а сам ходит по жильцам, пьет и собирает с них деньги. Дед тоже Магзумов. Тоже бухар. Тут все бухары.

ГЛАВА ВТОРАЯ. СНЫ

Жизнь надо поскорее заспать. Проспать ее, закрывшись с головой одеялом, чтобы ничего не слышать. Выползать на свет только по необходимости. Но придет нищий Габриэлов и будет сволочь будить. Пить с ним невозможно. С Аркадием Ионовичем тоже пить нельзя: мы с ним перестаем подходить друг другу как собеседники. Часто мне нужно выпить каплю, самую малость. Только чтоб началось. Если есть женщина, то вообще можно не пить. Но если женщины след простыл, то от жизни нужно чем-то защищаться. Трезвым я вообще ничего писать не могу. Даже хроники. А уж ниже рангом прозы не бывает. А что еще сегодня

можно писать? От быта всех тошнит. Бабы? Какие к черту бабы. Об убийстве? Об убийстве пишут романтики.

Есть две главные темы: это убийство из жадности и убийство из ревности. Так вот, бульк и утопить кого-то, потому что ты хочешь повысить свой жизненный уровень. Но если я попытаюсь описать убийство из ревности, то у меня тоже получится суховато. Потому что мне не мерещатся летучие мыши, и половой аппарат в моей картине мира мало отличается от органов слуха. Про половой аппарат ни для кого уже нет никаких тайн. Кого сейчас может заинтересовать факт, что двое взрослых людей ложатся вместе в постель? Об этом хочется знать как можно меньше. Хорошо утром пить анисовую водку с теплой булкой и потом снова спать.

Когда я сплю, меня не преследуют убийства из ревности. Мне снятся мокрые ландыши и женщина в вязаных варежках. Женщину звали Катерина. Черт ее знает, как ее зовут теперь. Я тогда очень хотел писать, и у меня ничего не выходило. Так в семнадцать лет лежишь в постели и то, чего ты ждешь, все равно ничем не ускорить. А если так ждать прозу, то даже из кресла подняться страшно. Чтобы не спугнуть. Тогда Катерина мне сказала: «Кажется, ты пишешь. Постарайся как можно дольше ничего не писать. Потом. Когда пройдет несколько лет, и мы с тобой все начнем сначала».

И еще несколько раз мы пытались начать все сначала. Я приезжал к ней в Алушту. Почему-то за этим все ездят в Алушту. Она была не одна. И сказала, что она, в принципе, не очень увлечена, но ей неловко без причины все бросить. Взять и обидеть. И я в тот же день уехал. Просто повернулся и сел в троллейбус. Пошлялся по Симферополю. Страшная гадость. Посмотрел итальянский фильм «Полицейские и воры», как воруют колбасу.

Я даже сейчас иногда думаю, что все впереди, хоть она совсем никуда не собирается уезжать и завела ребенка от какого-то постороннего человека. Я вообще сейчас не знаю,

есть ли у нее плоть. Помню, как она пахнет. Как пахнут кончики волос. Но она стала носить короткую стрижку, и запах мог исчезнуть. Ей уже тридцать пять лет. Это не такой уж преклонный возраст, но сейчас, я думаю, что у меня разорвется сердце, если я увижу у нее коронки или седые волосы.

В дверь давно стучали. Черт подери. Я боролся с собой, чтобы не открывать. Надо дисциплинировать себя. Ни с кем не разговаривать. И записывать все подряд, как Ксенофонт. Что рано утром встал и купил у Мордехая булку с жесткой корочкой за двадцать пять агорот.

В комнате было уже совсем светло. Значит, уже полдень. Я встал и подмел комнату. Я ничего не могу записать в грязной комнате.

В голову лезли сонные мысли, что какая-то девушка сидит печальная в другом конце зала и говорит по телефону. А я вдруг думаю, что это «она» и провожу по плечу ладонью. И она меня узнает по прикосновению кожи. Я так и не успел довспоминать, потому что снова пришел хозяин. Я знаю его стук. Но я не стал открывать. Посмотрел в окно, как он спускается по лестнице в магазин, взял стерео и пошел за ним следом.

— Сколько ты за него хочешь? — спросил Магзумов.

— Месяц хочу прожить, чтобы ты меня не трогал. Потом заплачу за полгода вперед или уеду.

— А если не уеду? — спросил он.

— Если не уеду, то снова будем разговаривать.

Он недовольно пожал плечами, но приемник подвинул к себе поближе. Сказал, что подумает и даст мне знать. Лучше, чем хозяину, этот приемник зимой не продать. Зимой ни у кого нет денег.

...День был неплохой. Немного потеплело. Было облачно, но несколько раз показывалось солнце, и снег почти стаял. Я его даже не потрогал. Мне психологически важно подержать в руках снег. Я вернулся домой и снова лег. Но скоро пришел этот человек из Баку. Я не сразу открыл, но

еще с лестницы почувствовал сильный запах одеколона «Афтершейв». Я прошел на кухню и почистил зубы холодной водой, от которой у меня сразу заныл верхний зуб. Я давно уже не лечил зубы, только молился, чтобы они прошли и чистил их тепловатой водой. Но этот тип уже стоял на лестнице и невозможно было греть воду. Я надел байковую рубашку и штаны, а пижаму спрятал в шкаф. И спросил: «Кто это?» Он сказал «свои», и тогда я открыл. Габриэлов со вчерашнего дня побрился и выглядел, как хороший масляный кот с одним зубом.

— У тебя неплохо, — сказал он и осмотрелся. — Не продаешь? — спросил он про картину в углу.

У меня есть очень хорошая картина, но она не продается. Мне ее вывез японец. Я лучше умру от голода, чем продавать. Я не рассматриваю ее как фонд денег. Теперь нужно будет отнести ее Арьеву и у него повесить. Чтобы не украли.

— Я для вас обо всем договорился, — сказал я, — есть комната, только вам нужно принести туда матрац, и можно будет жить там, пока не будет тепло.

— А когда будет тепло? — сказал Габриэлов.

— Это философский вопрос. Хотите чаю?

— Не откажусь. — Он наклонил голову набок. Я согрел ему чай. — Хороший чай, — сказал он, — где покупал?

Он начал меня уже сильно раздражать. Как раз когда я решил не тратить зря на людей ни одной секунды. И голодать. То есть — не есть. Есть только, если где-нибудь случайно попадется. Мне не хотелось этой рабской зависимости от еды. Мимо забегаловок спокойно не пройти. Дома, кроме чая, было шаром покати. Мыши средь бела дня грызли в шкафу ботинки. Оставался батон в целофане, который не пах, и несколько ложек коричневого сахара. Но мне было совершенно все равно. Я понял универсальную формулу, почему все писатели перестают писать. Может быть, я так уже объяснял себе раньше, но сейчас картина была в уме на редкость отчетливая. Нужно каждую книгу

писать как первую. Ясно, что самая первая книга у всех получается слабой, но ты ничем не скован. А удачно могут получиться только рискованные вещи. Или нужно писать хроники, как Ксенофонт и Плутарх.

От плутарховских парных биографий у меня перехватывало дух. Конечно, лучше всего, чтобы посадили. Потому что совсем не нужно думать о деньгах и о еде. Но в камерах много арабов, и совсем нечем дышать. Зато потом выходишь, и тебе должны дать социальную страховку, если сидишь больше трех месяцев. И на это уже худо-бедно можно прожить. В общем, никак не отгородить себя от людей. Я хотел вычленить главную причину, почему я больше не могу написать ни одной нормальной страницы. Такой, чтобы мне встретилась женщина, как Катька, которая рискнула бы со мной связаться. Но для этого она должна уметь читать по-русски, и нужно было себе хоть вставить зубы вместо тех, что по ночам болели и их бесплатно вырывал знакомый стоматолог, пока он не дезертировал из Израиля.

Из Израиля не уезжают — из него дезертируют. Я не могу объяснить. Это не стыдно. Здесь трудно долго выдержать. С этим ничего нельзя поделать. Есть такие романы про страшное будущее, когда по улицам уже не ходят люди. И ракеты летят несколько тысячелетий. И только правнуки прилетят. А остальные, по дороге, все время совещаются в оранжерее. Но их всех неизбежно будут выкидывать в открытый космос. Вот так в Израиле. Тут нужно пожить, кто сколько сможет, а потом уехать, чтобы попытаться собрать себя по частям и придти в себя от этого космического кошмара. Я сам долго думал, что смогу быть как израильтянин, но не все этому подвержены.

Мне нужно было еще раз спуститься вниз посмотреть почту, но я не хотел оставлять Габриэлова одного, потому что знал, что он станет копаться в бумагах. Я сделал, стоя на кухне, еще два глотка чая с жасмином и повел его

к Аркадию Ионовичу. «Пойдемте, — сказал я, — здесь недалеко».

Я его совсем не боялся, но чувствовал, как я перед ним беспомощен. Хорошо, что удалось скинуть его Аркадию Ионовичу. Но тот очень злопамятен. Теперь тоже житья не будет. Я сердился даже не на грузина, а на пастора: нагрузит тебя таким монстром, и теперь до весны будет хитро смотреть на тебя, понимая, что никто не возьмет на себя грех выгнать его зимой на улицу. И зима, как на беду, холодная, с мокрым снегом и еды на улицах мало. Я старался с Габриэповым не разговаривать. Шел впереди него по узким курдским улочкам. Я раньше здесь жил. Много квартир самодельных, но у меня была нормальная комната, если у меня вообще что-нибудь может быть нормальным.

Около дома Аркадия Ионовича я остановился и прислушался: хозяин только что вернулся из тюрьмы, и мне не хотелось, чтобы он раньше времени видел Габриэлова. Аркадий Ионович торговал в нашем районе наркотиками и боялся осведомителей. Он прятал наркотики в кустах, за синей помойкой. Но в доме было тихо. Я постучался и, оставив грузина, сразу ушел. Пусть сами разбираются. Я не думал, что они смогут подружиться, но кто мог предположить, что он сразу же начнет носить домой всякий хлам из мусорных бачков. Главное, что я не сразу понял, что он сумасшедший.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КОТ

За дверью было два человека. Я тихонечко сказал: «Я болен. Ани холе». По голосу я узнал Аркадия Ионовича. Я почувствовал, что его морда вытянулась до лошадиных размеров. Через секунду он проорал в замочную скважину.

— По хорошему открывай. Холе! Я тебе дам, сука, холе. Привел ко мне с котом.

— Я, правда, не могу открыть, — сказал я, не выходя, и

заглянул в замочную скважину: вчера я не видел Аркадия Ионовича — он очень зарос. Наверное, он всю неделю пил, потому что его лицо стало несимметричным. За ним лез Габриэлов с котом в портфеле.

— В чем дело, Миша, перестаньте дурить. Я же вас предупреждал, что я не смогу взять с котом.

— Я — кавказский человек, — сказал Габриэлов враждебно.

— Да молчи ты, кавказский человек. Миша, может вы сами возьмете кошечку? Хороший очень кот. Он говорит, что кот знает четыре языка. Как академик Кайдан. Даже азербайджанский знает. На кой черт ему азербайджанский!

Я снова посмотрел в глазок: из кожаного портфеля выглядывала вялая черненькая кошечка, наверное, с полгодика. На шее у нее болталась не ленточка, а такая болотная веревочка, которой завязывают бандероли.

— И вы знаете, что самое неприятное? Он серьезно хочет кота убить. Зашибить его дверью.

— Придется убить, — глухо сказал с лестницы Габриэлов. — Ей не выдержать зимы. Ее сожрут. Домашняя кошечка. Четыре языка знает.

— Но вы знаете, он согласен под залог. Если вы заплатите двадцать пять новых шекелей, то он согласен кота отпустить. Тогда он уже не будет так переживать, что кота сожрали. Это, видимо, его успокоит. Он очень тонко устроен. Он кавказский человек.

— Нечего столько болтать, — мрачно сказал Габриэлов.

— У меня нет таких денег, — сказал я. — Я могу дать ровно половину залога. Но только больше я не хочу знать ни про каких котов. Сходите к Арьеву, он додаст.

Я просунул в щель двенадцать шекелей, а мелочь подбил под дверь ногой.

— Одной по сто не хватает, — сказал Аркадий Ионович.

— Поковыряйте под дверью чем-нибудь. Арьев работает на плац-Давидке, на четырнадцатом этаже. Вот вам телефон. Потом можете сходить в фотомагазин к Старыги-

ной. Она жалостливая, она даже не еврейка. Но не говорите, что это я послал.

И они оба ушли к Арьеву. Лека Арьев — поэт. Но он тоже мало записывает. Иногда по три месяца совсем ничего нет. Потом вспоминает какую-то рифму и записывает ее на чем-нибудь. Это он называет озарением. Ему легче, ему не нужно приковывать себя к столу. У меня озарение может наступить после трех часов непрерывного письма, так что уже тошно. Кроме озарений Лека еще служит, а не живет ва-банк, как я. Благодаря жене. Она очень не любит, когда он читает ей свои стихи. Говорит, чтобы Лека слез со стула. Лека собирается сбежать от нее в Москву. Я тоже не смог бы жить с женщиной, которую тошнит от моих стихов. Но теоретически Лека с ней соглашается, что получается слабовато.

Сколько я его знаю, у него болит печень. Он про это и пишет. После работы его можно встретить в Яффо: застынет у витрины и может простоять целый час. Но он ничего не видит и не слышит: он представляет себя в Сокольниках.

Аркадий Ионович и Габриэлов позвонили ему снизу и сказали, что они от Михаила Васильевича.

— Вам чего? — спросил он тоскливо.

— Мы вам привезли кота, — сказал Аркадий Ионович.

— Какого кота? — нервно спросил Лека.

— Хорошего, породистого кота, — сказал Аркадий Ионович, чтобы его успокоить, — просто замечательная кошечка.

Аркадий Ионович по дороге успел опохмелиться в «Кумзице» и чувствовал себя свободнее. Они обошли уже несколько магазинов, пытаясь продать кота. Все-таки двадцать пять шекелей было очень дорого. Пока соглашались взять только две девочки-аргентинки, но у них не было денег, а бесплатно Габриэлов отдавать не захотел.

— У меня собака — эрдельтерьер, — начал мямлить Арьев, — мы ее взяли щеночком, совсем маленькой.

— Ничего, — сказал Аркадий Ионович злорадно, — насчет собаки мы с Михаилом Васильевичем уже обо всем договорились. Мы вас ждем на втором этаже около информации.

— А нельзя ли нам с вами все обсудить по телефону, — пролепетал Лека.

— Нет, — жестко отрезал Аркадий Ионович, — если вы не можете спуститься, то мы к вам поднимемся сами.

— Да я спускаюсь, спускаюсь уже, — обреченно выдавил из себя Арьев.

Пока Лека не спустился вниз, они бродили по видовой площадке вокруг большого фикуса. Габриэлов хотел выпустить кота прогуляться на веревочке, но Аркадий Ионович сказал, что в портфеле кот выглядит солиднее.

Ждать им пришлось минут десять. Увидев их, Арьев сразу все понял и запаниковал. Больше всего он боялся, что они могли явиться к нему в офис. С ним в комнате сидело несколько толстых румынок, которые давно были уверены, что у Арьева именно такие друзья, или Аркадий Ионович с Габриэловым по пути сволокли бы чего-нибудь со столов, и румынки всегда будут думать на него.

Габриэлов сразу же стал доставать кота из портфеля.

— Ну, будете брать? — любезно спросил Аркадий Ионович, — или можете дать под залог двенадцать с половиной шкепей. Иначе этот товарищ, которому принадлежит кот, грозится задавить кота дверью.

— Так убивают котов, — сказал с акцентом Габриэлов.

— Михаил Васильевич уже заплатил, — добавил Аркадий Ионович.

— Вы знаете, у меня, честное слово, только первого зарплата, — виновато стал объяснять Арьев, — у нас очень большие долги за квартиру. У меня у жены все деньги. Она мне не разрешила в этом месяце снимать со счета.

Лека явно стеснялся своих гостей и прятался во время разговора в нише. Он точно знал, что площадка перед

фикусом просматривается телевизионными камерами. Про жену он сказал совершенную правду.

— Нету у меня двенадцати шекелей, — выдохнул, наконец, он.

— Двенадцати с половиной, — поправил его грузин.

— А сколько у вас есть? — спросил очень недовольно Аркадий Ионович.

— Есть на обед три шекеля и четыреста старых агорот.

— Давайте сколько есть. Все равно на обед этого мало. И запомните, что с вас еще одиннадцать новых шекелей и сорок агорот.

Надо сказать, что считал Аркадий Ионович потрясающе, и вообще у него была фотографическая память. Он моментально мог сказать вам, кто играл в шестьдесят первом году за дубль «Адмиралтейца» против московского «Торпедо», какой это был день недели и когда Шехтелю с углового забили третий гол.

Ничего этого Арьев у Аркадия Ионовича выяснять не стал, но, правда, и у того тоже после визита денег существенно не прибавилось, тем более, что фотомагазин в Яффо был закрыт. И они пошли с Габриэловым по направлению к «Таамону» посовещаться.

ГЛАВА **ЧЕТВЕРТАЯ. «ТААМОН»**

Забегая вперед, скажу, что сам я выбрался в «Таамон» только через месяц. И впечатление у меня было странное. Я отчетливо чувствовал, что в городе что-то происходит. Если этот город, в котором я жил, выбираешь как образ жизни, то невозможно не замечать, как меняется его русская ипостась.

Я сидел в «Таамоне» уже второй час. Арьев оставил мне днем записку, но в зале его не было. Я не заметил, как меня развезло. Я сел спиной к выходу, чтобы меня не было видно с улицы, положил голову на руки и постарался на несколько минут заснуть.

Из знакомых был Розенфельд, но он со мной едва поздоровался. Ему кто-то давал новую ссуду на ресторан, и он снова стал немного важничать. «Таамон» посещала местная богема, но сейчас, когда Розенфельд снова закрылся, сюда начали шляться и русские. Он их тут встречал у входа, чтобы не терять с ними связи.

У Розенфельда была масса идей. Например, он давно считал, что русской интеллигенции в Иерусалиме нужен свой кабак. Единственным оплотом русской культуры в Иерусалиме был магазин Миллера. И вот там-то он для начала открыл свое питейное заведение с русской кухней. Миллер с утра крутил цыганские пластинки и, кроме того, сам Розенфельд, который к концу дня по долгу службы был уже сильно пьян, довольно хорошо пел блатные песни. Но продолжалось это все недолго: странным результатом этой затеи было то, что самого хозяина Миллера никогда уже не видели трезвым.

Кроме того, религиозный поэт К., окна которого выходили на кухню Розенфельда, регулярно сообщал в раввинат, что в конце пятницы, когда во всем городе наступал шабат, в магазине Миллера продолжается безудержная пьянка. И бизнес закрыли. Миллер переехал на новое место, уже без еды, а Розенфельд открыл ресторан «Гамбринус».

В тот момент, когда я стал его регулярно посещать, ресторан уже агонизировал. Розенфельда каким-то отвратительным образом подвели Валя и Мира, две бабы из Сохнута, которые пообещали ему очень большие ссуды, потом его предал кто-то из соратников: одним словом, весь «Гамбринус» простоял не больше трех месяцев.

В один из своих последних дней, когда Розенфельда уже осаждали кредиторы, я встретил его утром в Яффо. По странному стечению обстоятельств мы оба в это время были еще совершенно трезвыми, и он сообщил мне довольно любопытные вещи. Сказал, что ресторан его преследует три цели: сплочение рядов русских интеллектуалов, и здесь он заручился поддержкой на самом высоком уровне, воз-

рождение сионистской идеи, сильно уже дискредитированной Валей и Мирой, и, наконец, лично он считает, что открытие русского ресторана должно приблизить приход Мессии.

Такого рода предположения сами по себе уже вызывали сильные опасения. Видно было, что Розенфельд настолько поглощен идеальной стороной своего предприятия, что додумывать практическую часть ему совершенно некогда. Правильнее ему было открыть русский клуб, нанять себе бизнесмена, который вел бы дела, а самому быть при нем худруком. Но если клуб, то уже без еды, а если не клуб, то возрождение сионистской идеи было совершенно ни при чем. И русскую кухню кошерной ни один повар сделать не в состоянии, а торговать в Иерусалиме свининой Розенфельду не разрешили.

Необычным было еще то, что Розенфельд вообще не хотел, чтобы к нему в ресторан приходили нерусские: придут к нему какие-нибудь случайные люди поесть, а он им говорит, что меню нет или вообще ресторан закрыт. Да и немного они в его меню могли бы прочесть — там были такие надписи, как «компот из сухофруктим» и прочие перлы.

Правда, сами израильтяне сидеть с русскими в ресторане не очень-то и любят, они считают, что ресторан — это не такое место, где люди должны сильно напиваться, подсаживаться к твоему столику и где, вообще, можно получить по морде. Израильтян Розенфельд не пускал дальше первого зала.

Во втором зале у него стояло два главных столика: первый по важности для него самого и его ближайшей свиты, которая его впоследствии и предала, а второй — просто для хороших знакомых, к котором он подходил в конце дня с гитарой и неизменно исполнял «Перепетую». И «Гамбринус» тоже лопнул. Как Розенфельд и опасался, большинство стало после этого пить дома, но все-таки существенная часть русских перекочевала в «Таамон».

Постоянный состав «Таамона» можно было разделить на

три категории: на алкоголиков, гомосексуалистов и проституток. Причем проституция была представлена слабее всего. Хоть там была парочка особ в рваных чулках и в шубках, что могло указывать на неурегулированный образ жизни. Но большинство женщин было пьющих, и куда их отнести, было непонятно.

По-настоящему художественных натур тоже было мало. Правда, там была устроена перманентная художественная галерея, и Миша Гробман подарил им несколько своих довольно страшных рыб.

И все-таки «Таамон» был совершенно пристойным местом, из которого не выгоняли. Вам сюда даже могли позвонить, и негр-официант, который довольно сносно говорил на всех языках, в том числе и на идиш, сразу бежал вас звать к телефону.

...Слева от меня сидел израильский поэт-коммунист и читал газету. А сзади какие-то люди говорили вполголоса по-русски: «Что за бар такой, бабу нельзя склеить... сидят три пришмандовки... слышали анекдот? Трое евреев встречаются в Монте-Карло... миллионер приехал... русский из Швеции... говорят, что открывает газету...»

Я не оборачивался. Я закурил ментоловую сигарету и ясно все вспомнил. Вспомнил, как ночью вдруг тебя подхватывает волна, и ты можешь писать, а не только впитывать фольклор про Монте-Карло. Только нужно больше писать, не встречаться с русскими и меньше пить. И торопиться. Потому что русское во мне иссякало, и ничего другого на его месте не появлялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ГАРАНТЫ

По дороге в «Таамон» Аркадий Ионович Ч. и нищий Габриэлов с кошечкой в портфеле встретили Пустыльника из ковенской ешивы «Шалом», которому нужно было срочно подписать для заболевшей жены ссуду на электротовары.

И он ходил по всему городу с бумагой и искал еще двух гарантов.

У Аркадия Ионовича была с собой половинка паспорта с фотографией, но без адреса. То ли он вторую половину потерял, то ли специально выбросил, чтобы его труднее было найти, но в гаранты он идти не мог. А у Габриэлова несколько лет вообще никаких документов не было. Пустыльник этому искренне удивился, он не понял, как можно жить без документов, и спросил у Габриэлова, как же он ходит на военные сборы. Ведь мы еще в Союзе слышали, что служба в милуиме* — это долг каждого израильтянина.

Аркадий Ионович спокойно объяснил ему, что для «ковенца» такая позиция является ложной (не то, что они принципиально против службы, но все же считали, что армия отвлекает их от занятий).

Пустыльник приехал из Москвы совсем недавно, ничего этого понять не мог и начал клясться Аркадию Ионовичу своей новенькой серебряной ермолкой, что деньги за электротовары они с женой обязательно вернут, чтобы тот не волновался. Аркадий Ионович с интересом на него посмотрел. Еще Пустыльник волнуясь спросил, может быть, Аркадий Ионович подумает, подпишет документы сам или приведет какого-нибудь гаранта, а с него, Пустыльника, за это причитается. Тогда-то Аркадий Ионович и предложил в гаранты Бориса Федоровича Шендырева.

Они стояли на углу Агриппаса и Кинг-Джордж, где торгует с тележки курд-кукурузник, с которым у Аркадия Ионовича шла война. Поэтому всегда, когда он был с какой-нибудь полупьяной компанией, он останавливался рядом с кукурузником, чтобы его подразнить. Услышав эти слова Пустыльника насчет «причитается», он оставил своих спутников стоять между кукурузником и порнографическим кинотеатром «Эден» (Пустыльник по-честному на

* Военные сборы (иврит).

фотографии из фильмов старался не смотреть, хоть половые органы всюду были заклеены звездочками), а сам побежал за Борисом Федоровичем.

Надо сказать, что сам факт, что Аркадий Ионович предложил в гаранты Бориса Федоровича Шендырева был не просто пьяным хулиганством, но и чистой провокацией. Последние месяцы Боря пил каждый день, голова его все время была обмотана кухонным полотенцем, и ни в какой банк его было уже не завести. Между тем, Пустыльник сболтнул, что ему нужно по пути зайти в «Шалом» за справкой о месте работы или учебы (а Аркадий Ионович точно знал, что в ковенской ешиве в этот день был праздник, потому что к ним приехала инспекция из Нью-Йорка, а кроме того Шайкин выдавал замуж маму). Аркадия Ионовича туда специально много раз приглашали, потому что он был у них самым перспективным учеником. В ешиве были уверены, что если он перестанет возиться со всякой сволочью и его как-нибудь вылечить от пьянства, то он сможет вырасти в какого-то невероятного гаона*. И если подгадать момент, когда у него нет запоя, то его было очень выгодно показать инспекции.

Я думаю, что сам Аркадий Ионович не предполагал, что такой визит может окончиться для Шендырева катастрофой. Но даже если бы он и понимал это, то вряд ли подобное обстоятельство могло его остановить. Всю осень в Аркадии Ионовиче бушевал какой-то злой дух: ему было очень интересно всех стравливать.

Он рассчитывал найти Шендырева на одной из квартир или в какой-нибудь харчевне на Агриппаса. Вообще этот первый кусок Агриппаса был главным ежедневным маршрутом Шендырева: начинался он от кукурузника, с которым Борис Федорович здоровался по-русски и иногда съедал у него один-два початка. Дальше он шел мимо мастерской Каца, который за пять минут мог нарисовать большую картину маслом и даже писал портреты трех последних американских президентов, считаясь выдающим-

* Гаон — мудрец.

ся американским художником. Там на самом углу была еще слесарная мастерская, где подрабатывал сварщиком старый заросший каббалист Яхи, за большие деньги ему предлагали перейти в мусульманство, и с ним всегда можно было выпить.

И выше было еще три места, куда Бориса Федоровича пускали: во-первых, «Кумзиц», где собиралась компания Борьки Беньяминова, и по пятницам туда приглашали читать Хенликова и Фолкнера, оспаривавших между собой звание лучшего иерусалимского поэта — а Шендыреву там часто давали выпить на шармачка. Во-вторых, Нисим-парашютист, у которого был железный сортир как в самолете. И еще был Мики, который сам тоже пьет и некоторым дает в долг, но не каждому.

Меню у всех было приблизительно одинаковым — хумус, шевармы, кебабы. Восточная кухня, мизрахи*. И Фолкнер всегда негодовал, говоря, что на этих поэтических пятницах нечего жрать, и все эти пупки, шмупки и легкие в ресторане на Витебском вокзале, где он привык обедать, при всем желании нельзя было сыскать. Там тебе всегда приносили буженинку, холодную водку и пиво. К буженине давали холодные овощи, горошек и все это с майонезом. А на горячее уже несли эскалоп. Два куска эскалопа с жареной картошкой и сухариками — с похмелья вам больше и не съесть. И там всегда была очень приличная публика, военная интеллигенция, поскольку вокруг было очень много академий. А обстановка во многом сохранилась от царскосельского вокзала — пальмы, плюш, занавески, роскошные зеркала — все как было, так и стоит, и Фолкнер, называвший себя последним имперским поэтом, очень это ценил. Вдвоем там вполне можно было пообедать на десятку. Даже был суп, но его редко кто заказывал. Это, может быть, в средневековье водку закусывали щами, и то только крестьяне, а сейчас традиция изменилась.

На крайний случай, Борис Федорович мог завернуть в

* Мизрахи — восточный.

бухарский скверик, где сейчас было еще сыровато. В скверике начинали пить с весны, но туда в перерыв похаживали даже ешивские. Там их реже ловили, и они всегда могли отговориться, что просто зашли посидеть.

Когда минут через десять Аркадий Ионович снова появился у кинотеатра «Эден», с ним вместе был Борис Федорович Шендырев с недопитой бутылкой «Голд» и целофановым мешочком черных маслин. В таком составе они и отправились в Меа-Шеарим*, прямо в ковенскую ешиву.

В этом месте я должен прерваться и сказать несколько поясняющих слов о Борисе Федоровиче.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. БОРИС ФЕДОРОВИЧ

Когда я говорю, что завидую Плутарху, я имею в виду главные принципы, которые он ввел. Во-первых, это принцип парных биографий, связывающих каждую пару вечной связью, так что в каждой паре отдельная судьба имеет уже ограниченный смысл. Но еще существеннее другое: Плутарх был первым, кто начал создавать историографию, путем сравнения сынов Хама и Йафета.

Идея эта в некотором смысле условна. Сейчас вообще уже тяжело проследить абсолютно чистые линии, но и во времена Плутарха на многое приходилось закрывать глаза. То есть вот у меня нет никакого сомнения в том, что Борис Федорович является типичным внуком Ханаана, сыном Сина, и, соответственно, татарином и Хамом. И наоборот, Григорий Сильвестрович Бронштейн, который является также героем моих хроник, конечно, в первую очередь Сим, и только немножко Йафет, хоть он и любит в разговоре называть себя белорусом. Но парадоксом является то, что Борис Федорович Шендырев — один из немногих людей в Израиле, кто удостоен звания полного еврея: он — кохэн, левит, исраэль, о чем существует справка, подписанная раввинской тройкой, и решение это уже при всем желании изменить нельзя.

* Меа Шеарим — ультрарелигиозный район Иерусалима.

«Исраэль» — это любой еврей, ничего диковинного в этом нет. «Кохэном» может стать каждый, выдержавший экзамен и занимающий эту должность. Это для еврея, так сказать, готовая карьера. Но как «левит» Борис Федорович может с полным правом заведовать песнопениями в Храме, любыми жертвоприношениями и всей обрядовой частью! И то, что раввинская тройка вручила это звание спившемуся алкашу и вору, говорит только о том, насколько тщетны все наши усилия на Земле. Хотя, несомненно, Борис Федорович является фигурой шекспировской, и в Израиль он оба раза попал из-за несчастной любви. Потому что до того, как ковенцы выслали его на свои деньги в Германию — и к этому я еще вернусь — он проживал в Реховоте со своей Марой, с которой познакомился в Бердичеве, где после отсидки работал в автоколонне. Они познакомились в пионерском садике, и хоть, как он рассказывает, «она и не была девственницей, но потом заплакала», а Борис Федорович ударил себя в грудь и сказал, что «я не такой, я женюсь». По сему вы сразу можете понять, что Борис Федорович — человек благородный и романтик.

В семьдесят шестом году, когда он учился в ковенской ешиве и помог Шнайдеру продать ешивский холодильник арабам, разъяренные ковенцы отвезли его в Мюнхен. Но в восьмидесятом году он снова вернулся, собираясь жениться на Наташе Бычковской, а у него были просрочены документы, и он хотел вернуться в Израиль и все поправить. Но когда пришел в аэропорт, то там его взяли уже немцы, посадили и стали угрожать, что если он сейчас же не уедет из Германии без права возвращения (под чем он должен подписаться), то его арестуют и он будет сидеть всю жизнь.

Вообще, немецкие тюрьмы Борис Федорович очень хвалил. Говорил, что жратва там очень хорошая, в тюрьме есть телевизор и в нем восемь каналов. Работать там не нужно. Иногда он даже покупал яблочное вино. А в Израиле кормили хуже, и, в основном, курицей, в камере было

больше людей и телевизор похож на те, что стоят в ленинской комнате.

Конечно, больше всего Борис Федорович сидел в Союзе. В конце сорок третьего года его взял к себе вор в законе, и с сорок третьего по сорок пятый год он уже гастролировал вместе со своим шефом по украинским вокзалам.

В Иерусалиме он тоже сначала попробовал себя на автобусном вокзале, но его очень сильно избили и посадили в аккскую* тюрьму, (Хотя Володька Шнайдер утверждает, что в беер-шевскую, где они и познакомились). А в аккской Борис Федорович, видимо, сидел за голландские «визы», которые он предъявлял в Машбире. И пока он там разбирался с кассиршей, она, конечно, вызвала полицию: кассирша была румынка и решила, что Борис Федорович ничуть не похож на голландца.

В сорок пятом году ему было пятнадцать лет, и его взяли с поличным в Днепропетровске, на рынке, и дали три года, а добавки до двенадцати лет он начал получать уже в лагерях. В тюрьме он даже закончил вечернюю семилетку на украинском языке.

Освободился Борис Федорович в двадцать восемь лет, и на воле ему все нравилось. Во всяком случае особенных претензий ни к чему у него не было. Но все-таки в Израиле жизнь его была не очень легкой, потому что наличных денег он воровал мало, а ворованные чеки у него принимать отказывались. Слонялся он, в основном, по центру города и поэтому быстро примелькался. Главное, что в некошерных магазинах ему продавали только за наличные. В Иерусалиме два таких магазина. Один в переулке между Гилелем и Шамаем, и там, в принципе, хозяин принимает все чеки, поскольку совсем не читает на иврите. Так что вы можете смело подписаться Гилелем или Шамаем. В известной степени это было применением на

* Акко — город в Израиле.

практике гилелевского принципа «прозбул», происходившего от греческого «прос ваиле», по которому долги, взысканные судебным постановлением до юбилейного года, отпущению не подлежат, потому что они находятся уже как бы не у тебя, а у брата твоего. Зато во втором магазине на шоссе Иерусалим—Рамалла покупают, в основном, русские, и подозрительный араб чеки не берет ни у кого. Но магазин у него довольно хороший. Есть свиной паштет «Синьора», черная икра есть, но немецкая, пропитанная дряной краской, венгерская колбаса «Герц» твердого копчения, довольно недорогие «каперсы», но их выгоднее собирать и солить самому. Их даже иногда вкладывают в анчоусы. Каперсы — это маринованные или соленые нераспустившиеся бутоны, чуть больше горошины.

Анчоусы Борис Федорович любил просто до дрожи. Поглощая их, он весь изгибался и отставлял вбок мизинец. Но когда он узнал, что «каперсы» тоже нужно есть, то очень удивился. И спросил: «Какие каперсы? А я то думал, что это внутри грязь!» Каперсами Бориса Федоровича угощал сумасшедший зубной врач из Тель-Авива, которого один еврей привез к нему. Дантист этот, ни с того, ни с сего схватил его за половой член. Борис Федорович изумился, но, кажется, ему это польстило. Он сказал: «Ты кого ко мне привез? Я пожилой человек!»

Это было еще на квартире, которую Борис Федорович прошляпил. Оттуда его взял к себе Дунаевский, тот самый, что плюнул в мера, и с этого начинается цепь чудесных превращений Бориса Федоровича в еврея.

У Дунаевского был сосед, который пытался лишить Дунаевского звания ответственного квартиросъемщика, попуиндеец, полуамериканец, прошедший гиюр* и всадивший Борису Федоровичу в живот столовый нож. Они чего-то не поладили на кухне. Борис Федорович отбил горлышко от бутылки и полез к нему драться, а индеец всадил ему

* Специальный обряд перехода в еврейство.

нож, потому что в жизни не видел таких страшных татарских физиономий и сам же растерялся. Позже, когда Бориса Федоровича выпустили из больницы и состоялся суд, то адвокатесса Ляля из бесплатной юридической помощи спросила Бориса Федоровича, выпивает ли он. Тот ответил «конечно», а на вопрос суда, каждый ли день он пьет, Борис Федорович, подумав, сказал, что бывают у него перерывы по два дня, потом важно добавил: «и даже по три». Затем вызвали свидетеля Дунаевского, и тот сказал, что Борис Федорович не выпивает «как каждый еврей по субботам». Но это было тоже только частичной правдой, потому что по субботам Борис Федорович тоже пил, но тогда он еще не был вовсе никаким евреем, а был татарином. Евреем он стал после развода в раббануте со своей женой из пионерского садика. То есть фактически в раббануте должны были слушаться два дела: по установлению национальности и по разводу. Свидетелем у него проходил рав* Бильдер, который раньше был ассистентом академика Чеботарева в Казани, где у Бориса Федоровича все родственники. То есть свидетель был солидным: рав Бильдер специально целыми днями крутился возле раббанута, чтобы кому-нибудь помочь. А остальных свидетелей раввинам искать было лень.

Борис Федорович все как нужно им сообщил, что мама у него еврейка, но главное нужно было правильно сказать, как зовут его жену Мару. Или как ее называют какие-нибудь два еврея. «Именно, как нужно» называли ее два еврея, с которыми она проживала, и которые регулярно спускали Бориса Федоровича с лестницы (когда он приходил просить на водку), да еще после этой предательской индейской раны в живот.

В конце процесса потребовался совершенный пустяк, чтобы Борис Федорович произнес присягу, что он отпускает свою жену Мару, и мне пришлось стоять рядом и

* Раввин.

диктовать ему. Но когда мы дошли до формулы ХИ МИГУРЕШЕТ МИМЕНИ («она изгнана от меня»), произошло вмешательство провидения. Ничем больше случившееся объяснить не могу. Борис Федорович неожиданно для всех присутствующих произнести эту формулу не смог, и после того, как двенадцать раз подряд он вместо «МИМЕНИ» произнес «МЕНЕМЕ», делая всю процедуру недействительной, раввинская тройка махнула рукой и стала выписывать свидетельство о разводе.

Сидело три представительных даяна с поседевшими смоляными бородами, в круглых очках и тревожно о чем-то переговаривались. Но из-за этих «менеме» они были так утомлены, что у них просто не осталось сил выяснять, кто Борис Федорович — «кохэн», «левит» или «исраэль». И строки «ненужное обязательно зачеркнуть» — остались нетронутыми. То есть Борис Федорович, к ужасу ковенцев, стал полным евреем, хоть чем он при этом может заведовать оставалось совершенно неясным. Что до песнопений, то песню он вообще знал только одну: «Я не умру, так с горя поседею», но пел скверно и после нее сразу засыпал. При этом по званию он был теперь на две головы выше ешиботника Шкловца, который хоть и стал «исраэль», но во всех документах было сказано, что Шкловец «перешел в еврейство».

Впрочем, Борис Федорович человек относительно культурный. Когда он не пьет, он любит читать при свете или писать мемуары на украинском языке. Кроме того, он часто упоминает имя «специона африканского» и очень интересуется пуническими войнами, особенно битвой при Заме. К тому же он близко знаком с театром военных действий Второй мировой войны — даже может вычертить довольно точно дислокацию австралийских войск на Крите по пятитомнику Черчиля. Поэтому звание, присвоенное ему раббанутом, не такое уж незаслуженное, хотя ковенцы часто выговаривают ему за то, что он отказывается читать «Броху». А когда Борька Беньяминов резонно заявляет ему:

«Тебе же звание присвоено», Борис Федорович нервничает, начинает топать ногами и сердито кричит: «Я эту бумагу порву!»

Вообще, у него начал портиться характер: напьется и начинает допытываться, помню ли я Володьку Шестопалова, или злится на Глинку, что никакого Сусанина на свете не было — Глинка его просто выдумал.

Про то, что Сусанин выдуман, я впервые услышал именно от Бориса Федоровича, а Шестопалова я не знаю. Ну откуда мне знать какого-то Володьку Шестопалова?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БЕРИ ВЫШЕ

В «Таамоне» никого не было. Негр растолкал меня и сказал, что они закрываются. Может быть. Лека меня не заметил или просто не хотел меня будить. Хмель прошел, я попросил, чтобы мне записали все на счет и вышел на улицу. Запахло весной. Вот и еще одну зиму я здесь провел. Скоро уже пальцев не хватит считать эти зимы. Я заметил, что меня кто-то тихо окликает по имени. Арьев стоял в темном подъезде цветочного магазина и делал мне знаки, чтобы я подошел. «Идите к Борису Федоровичу в госпиталь, — шепотом сказал он, — я там буду вас ждать». Он совершенно уже рехнулся. Я, наверное, хорошо выгляжу, если, встречаясь со мной, нужны такие предосторожности.

Конечно, я еще не скоро стану собирать коробочки от фруктового йогурта, как Габриэлов, но уже можно ни с кем не раскланиваться — жизнь на дне затягивает.

Я пролез под колючую проволоку и стал ждать. Через несколько минут в воротах госпиталя показался черный силуэт Арьева. Мы спустились вниз по лестнице, в подвал, и я зажег свечку. Бориса Федоровича не было. Я люблю тут посидеть у костра и выпить бутылку арака*. Я уже пропах анисом. Дешевая сволочь. Обычно я приносил хлеб, а Борис Федорович разрывал на две части селедку. То есть он ее как-то крутил за хвост и она сама расчленялась на две

* Арак — анисовая водка.

части, уже чищенная. Селедку он воровал прямо из бочек. Но его знали все продавцы и внимательно следили, когда он вертелся рядом.

Когда Шендырев был трезвым, движений его рук почти не было видно, но продавцам было понятно, что он что-то украл и его гоняли.

Раньше он это выделывал в больших супермаркетах — набивал карманы копченой индюшатиной, потом снимал с полки субсидированный батон и начинал препираться с кассиршами. Перед выходом он машинально брал с прилавка чистые носки, и на этом его ловили.

Пока я оглядывался по сторонам, Арьев вел со мной какой-то формальный разговор. Он всегда немного плывет, и его нужно одергивать, но сегодня он болтал особенные глупости.

— Давайте я сделаю костерок, — сказал я, — вот у него тут приготовлены доски. Закусить у вас ничего нет?

— Что я с собой должен бутерброды носить? — сказал он.

— Вот редиска есть. Борис Федорович любит редиску. Ну, докладывайте, что с вами стряслось. Что случилось?

— Почему со мной должно что-то случиться?

— Ну, а что вы меня ползком сюда заставили добираться? Поесть редиску? С женой что-нибудь опять?

— Я дал подписку о неразглашении.

— Ох, ни хера себе! О неразглашении чего?

— Больше ни одного слова я вам сказать не могу.

— Арьев, вы удивительный болтун. Вы уже все сказали.

— Не ловите на слове.

— Вы поступили работать в КГБ?

— Берите выше!

— Выше я не знаю.

Мы выпили и похрустели редиской. Потом еще выпили.

— Запомните, — сказал Арьев, — вы никому не должны говорить, что я с вами делюсь. Это в ваших же интересах. Они вас раздавят.

— Меня уже дальше некуда давить.

Постепенно я выудил из него несколько слов. Оказывается, он теперь член какого-то Русского конгресса — «Брат». Лека не очень психически стабилен. В детстве он выделывал себе ямочку на подбородке. И еще говорил, что пытался развить в себе такую волю, чтобы просто взять женщину в автобусе за грудь — любую — и так властно посмотреть ей в глаза, чтобы она не смогла раскрыть рта. О «Русском конгрессе» Арьев сам толком ничего не знает. С работы он уволился. Хлопнул дверью. Я не удивлюсь, если он перед уходом взял своих сослуживиц за грудь и властно посмотрел им в глаза.

— Вы слышали что-нибудь про «Иерусалимские хроники»? — спросил Арьев.

— Идут какие-то слухи про газету.

— Я ее ответственный редактор.

— Вы что имеете какое-то представление, как делают газету?

— Я закончил факультет журналистики.

— Мы все тут что-нибудь закончили...

— Но еще не все. Тут такое скоро завертится, что вы не представляете! У нас будет скоро свой нобелевский лауреат!

— В какой области?

— При чем тут «области«? В литературе. В русской литературе!

Я только присвистнул.

— Через пять лет в России не останется ни одного еврея, — заявил он.

— А куда вы их денете?

— Мы их денем сюда!

— По-моему, тут уже хватает. Но при чем тут «Русский конгресс».

— Подумайте сами! Это главный пункт их программы — помочь всем угнетенным нациям выехать из России. А русские все должны вернуться!

Он был страшно взвинчен, размахивал руками, и на подвальной стене от костра прыгали страшные тени.

— Слушайте, Арьев, — сказал я, — скажите мне тихонечко, зачем вам все это нужно? Вы же нормальный человек. Вы должны понимать, что все это плохо кончится.

Он нервно рассмеялся.

— А вы когда-нибудь служили в конторе? — ответил он. — Вы знаете, что это такое? Вы знаете, что такое десять лет сидеть с восьми до половины четвертого? И единственная отдушина — это читать в сортире детективы!

— Но вы смеетесь! Кого тут можно отрядить в нобелевские лауреаты? Лялю Любошиц? Нелю Воронель?

— Будет конкурс! — отмахнулся он. И мрачно добавил: — Все равно ни от кого не зависеть нельзя, а тут я хоть полностью разделяю их программу.

— Это что еще за программа?

— Спасение человечества — это в двух словах, очень грубо. И кроме того, у меня в руках будет неограниченная литературная власть. Но я обязан порвать все свои личные связи. Вы никому не должны говорить, что мы знакомы. На вас тоже есть свои планы. У меня будет единственный независимый еженедельник с неограниченной свободой. Помните, у вас был арабский материал о фестивале, вы его где-нибудь печатали?

— Так никто же не взял.

— И отлично. Переработайте его немного. Уберите все личное. Он не должен быть антиарабским и не должен быть проарабским. Он должен выглядеть нейтрально-негативным. Все должно выглядеть нейтрально-негативным. Если этот рассказ подойдет, я буду брать у вас один материал в номер. Этот вы можете подписать своим именем. Дальше будет видно. Но вам не следует меня искать или звонить. Я сам вам буду давать знать. Или ждите меня по четвергам в это же время тут, у Бориса Федоровича. Ждите не дольше часа. И никому ни одного слова. Никто не знает, что газету субсидирует «Конгресс».

«Да вы сами первым разболтаете жене», — хотел сказать я, но вслух только пощелкал пальцами.

— Лека, если у вас такая неограниченная литературная власть, то не могли бы вы дать мне немного денег — в счет гонорара?

— Сколько вам нужно?

— Дайте двести шекелей. Или, знаете, дайте лучше триста! Если материал не подойдет, то я вам верну.

— Брат! Ты сделаешь так, чтобы материал подошел! — жестко сказал он и начал подниматься по лестнице.

— Я постараюсь, брат, — сказал я ему вдогонку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КОВЕНСКАЯ ЕШИВА «ШАЛОМ»

Брать Шендырева в «Шалом» нельзя было вот еще по каким причинам. Несколько лет назад, как раз после того, как ему было присвоено звание «левита», Борис Федорович стал наведоваться в «Шалом» и сидеть там на вечерних занятиях. Я не понимал точно, что у него было на уме, но там было тепло, и пока машгиахом* не назначили Вульфа, по вечерам всегда был чай и бутерброды с колбасой. И иногда еще что-то оставалось от обеда.

Вечером туда наведывались разные старички, Вульф, конечно, сразу стал настаивать на том, что чай старичков только расхолаживает, и это все прекратили. Во всяком случае, посторонним чай больше не давали. Кроме того, и темы были для Бориса Федоровича если не тяжеловаты, то довольно чужеродны. Дело в том, что в шестьдесят втором году он сидел в Игнатпольской тюрьме, под Коростенем, и ему там здорово дали по башке кастетом. С тех пор у него ослабело зрение и память. И какие бы темы не обсуждались, он сидел и хлопал глазами. Особенно если они были специфические субботние. Что, скажем, делать с яйцом, если курица снесла его в субботу? Или если в очищенный пасхальный дом мышка незаметна пронесла

* Машгиах — надзиратель в ешиве («дядька»).

хомец?* На что раби Акива утверждал, что хомец правильнее всего анулировать молитвой. Конечно, можно еще позвать нееврея, чтобы он взял хомец и вынес его из дома, но раби Акива считал, что во время Пасхи нееврев в дом лучше не приваживать. Тем более, что вино с гоями пить вообще не разрешено, а можно пить только водку, но и то предпочтительно не в Пасху.

Однажды вести занятия приехал рав Бреннер из Беер-Шевы, и тема была, можно ли добавлять во время субботы теплую воду в замерзший суп, не будет ли это по сути своей уподоблено приготовлению пищи и варке. И рав Бреннер, который раньше занимался в Риге термодинамикой, убедительно доказал, что да! Это именно может быть уподоблено приготовлению пищи, чему Борис Федорович невероятно изумился и даже задал несколько бестолковых вопросов.

Итак, он похаживал в ешиву по нескольку раз в неделю, пока предыдущего машгиаха не уволили за либерализм и за порядком стал следить Пинхас Вульф. «Кончайте пить чай! Занятия!» — раздавался голос, от которого стыла кровь. Впечатление еще усугублялось тем, что у Вульфа очень желтая кожа, зубы немного выдаются вперед и, конечно, все его побаивались.

Спиртного Вульф вообще не брал в рот. Раз в год он выпивал двадцать граммов за здоровье нью-йоркского гаона. Еду сократили до одного раза в день, хоть кормили совсем неплохо: мясо было три раза в неделю, индюшатина или рыба, а на закуску давали грушу или несколько слив. Но те, кто приходил в ешиву из экономии, конечно, призадумались. Собственно, начальник ешивы рав Фишер сам не любил всяких голодных и несчастненьких и старался их побыстрее спровадить на какую-нибудь работу. Например, клеить коробочки для тфилинов**. При «Шаломе» была организована специальная мастерская для тех, кому Фишер не

* Хомец — все хлебные и мучные изделия, которые запрещено держать в доме во время Пасхи.

** Тфилин — молитвенные принадлежности.

платил стипендии или платил крохи, он чувствовал, что это посторонние люди и держать их в ешиве не имеет смысла. Сами эти коробочки особой ценности не представляли — они бывали совсем маленькие и в час можно было сделать штук пятнадцать. И за каждую рав Фишер платил по двадцать восемь агорот, так что получалось неплохо.

Часто коробочки клеили всякие полусумасшедшие, которые нет-нет да и объявляли себя мессиями или говорили, что из-за них началась Иудейская война. Фишер все эти кадры своевременно вылавливал. Но как раз в то время он был очень занят. Главный ковенский гаон выдал деньги на сооружение в Рамоте пятидесяти двухэтажных коттеджей, которые надо было не только построить, но и правильно распределить. И на Бориса Федоровича никто не обращал особого внимания. И пока он не продал ешивский холодильник, не могли найти повода, как от него отделаться. Приходил он на занятия очень аккуратный, с длинными рукавами, всегда в новых носках, и даже в разговорах со знакомыми неевреями стал сильно задаваться.

Сначала его хотели выгнать, потому что звание «левита» ему было присвоено по ошибке. Но дело в том, что вся ешива знала, что Фишер тоже оказался равом и директором ешивы по ошибке: на эту должность должны были назначить его брата. Главный ковенский гаон просто перепутал и вручил назначение не тому брату. Оба были волосатыми, рыжими и ужасно похожими друг на друга. А потом было уже поздно что-нибудь менять, потому что у гаона под это назначение были выпрошены специальные средства. Поэтому обсуждать решение раввинской тройки в отношении Шендырева при Фишере считалось не очень тактичным. Правда, Шкловец все время предупреждал, что ешива держит у себя гоя, что Борис Федорович все время где-то пьет, закусывает некошерными огурцами и ведет мессионерские разговоры. Но у самого Шкловца мать была из русских ткачих, и, чтобы смыть этот позор, он в каждом вынюхивал гоя. При этом его собственное обращение было довольно необычным. Шкловец когда-то поехал в

Среднюю Азию и упал там с мечети. Ничего особенного с ним не случилось, потому что он очень толстый. Он всего-навсего вывихнул себе плечо. На него самого, однако, это падение произвело фатальное впечатление, хоть, к слову сказать, вопрос о мечети очень спорный даже для ковенца. По Галахе*, религиозный еврей в какие-то моменты (скажем при сильном граде) имеет право, а иногда даже обязан прятаться в мечети, но вот в церковь ему заходить категорически воспрещено. То есть падение с мечети не обязательно должно являться тайным знаком. Но тем не менее Шкловец Бориса Федоровича очень сильно невзлюбил, а после присвоения ему звания «левита» почувствовал с его стороны открытую угрозу. Устранить Шендырева ему очень долго не удавалось. Например, откуда-то он выкопал, что обрезание Шендыреву делал уролог по фамилии Омельчук. А рав Фишер всеми этими доносами вообще был очень недоволен. Они добавляли ему хлопот. По поводу Омельчука он спросил Шкловца с раздражением:

— Ну, от меня-то чего ты хочешь?

— Мы не должны этого так оставлять, мы должны жаловаться, — сказал Шкловец.

— Куда ты хочешь жаловаться?

— В комиссию ООН по правам человека! — подумав, сказал Шкловец. На этом вся история и кончилась.

Но когда выяснилось, что Борис Федорович по недомыслию помогал Володьке Шнайдеру погружать еврейский холодильник «Амкор» в арабскую машину, то терпение иссякло, и Шендырева за оскорбление нации самолетом отправили в Мюнхен. Часть денег на авиабилет Фишер провел по какой-то хозяйственной статье.

Позже до ешивы доходили слухи, что Борис Федорович работает под Мюнхеном поваром в монастыре, что само по себе совершенно невероятно. Готовил он безобразно, в основном, какие-то дикие похлебки, которые в монастыре никто бы есть не стал. Но нашлись ешиботники, которые Борису Федоровичу завидовали. И когда он, как снег на голову, снова появился в Иерусалиме, «шаломовцы» были взбешены. Главное, были люди, которые доплатили за его поездку свои собственные деньги. Больше всех дал Паша Гельман, у которого тоже русская мать, но не ткачиха. А сам он тогда занимался проблемой спасения нееевреев, и ему нужна была какая-нибудь «жертва». В общем, в дураках оставаться никому не хотелось.

* Галаха — свод религиозных законов.

Когда Борис Федорович сказал, что не собирается поселиться в Иерусалиме, ему никто не поверил. Хотя он и плакал горючими слезами и говорил, что допился до такой степени, что не может написать на конверте адреса невесты. Он отправил ей четыре письма и ни на одно не получил ответа, потому что не помнил точно названия улицы — то ли Фликштрассе, то ли Флюгерштрассе, но точно номер четырнадцать.

Ковенцы Бориса Федоровича почти не преследовали, и, понятно, что они не поперлись бы искать его по трущобам. Но являться к ним прямо в штаб-квартиру с недопитой бутылкой водки и котом было уже слишком.

На беду еще третьего дня, когда приезжал гаон из Беер-Шевы, и в ешиве была ежемесячная раздача денег, у Шайкина пропал портфель, в котором лежало триста новеньких американских долларов. Конечно, Шайкин не был талмид-хахам*, в которые прочили Аркадия Ионовича. Но был он надежный «шаломовец» — розовощекий, толстый, с красивыми густыми пейсами, всегда одетый во все черное. О распределении долларов знали не все ученики ешивы, и Фишер бесился, что в связи с пропажей портфеля, историю с долларами придется обнародовать.

В какую-то минуту Вольф, и Пашка Гельман, и Шайкин — все — выбежали во двор, услышав, кто именно явился в ешиву. Но, конечно, первым летел Шкловец.

Шкловец в этот день не мог не находиться в ешиве, потому что он-то и выдавал замуж маму Шайкина. И вобще он

* Талмид-хахам — талантливый ученик ешивы.

занимался «шидухом» — начальной формой сватовства (а не самим сватовством) так же как, например, он не являлся моэлем*. но совершал первую стадию обрезания, а именно уговаривание. Кстати, Шкловец и уговорил обрезаться больного стоматолога из Тель-Авива, который схватил Бориса Федоровича за половой член. И сделал это Шкловец всего за двадцать минут. Придя в ешиву, стоматолог сидел и спокойно выпивал под лестницей, и Шкловец воскликнул свое обычное: «откуда евреи?» И еще: являются ли евреи обрезанными. На что пьяный стоматолог громко выкрикнул: «Конечно, еще нет!». В таком пьяном виде его отвели к доктору Лацису, который практикует напротив «Шалома». Рав Бильдер, который там все время пасется, минуты за четыре собрал миньян**, и не успел стоматолог протрезветь, как его быстренько обрезали. Встав с обрезального стола, он по пьяному делу перекрестился, чем привел в ужас Шкловца, считавшего себя ответственным за обрезание.

В общем, когда активисты «Шалома» выбежали на улицу, то их первоначальный план был таков: изолировать Аркадия Ионовича, на которого Шкловец имел особые виды и часто повторял, что с его стороны будет особая мицва, если ему удастся обрезать такого человека. И надо было хотя бы предварительно допросить Бориса Федоровича, куда мог деваться портфель с долларами, вызвать полицию и как-нибудь окончательно с ним разделаться.

Непонятно было, что делать с Габриэловым!? И пока ковенцы, сверкая глазами, совещались, на лестнице послышался зычный голос рава Фишера. Еще через секунду он вышеп на крыпьцо, поддерживая под локоть грузного лысеющего человека средних лет. Человек этот ласково поглядывал на Габриэлова, из портфеля которого тревожно высовывалась кошечка.

«А мы вас ждали!» — добродушно сказал он.

---

* Моэль — раввин, обрезающий младенцев.

** Миньян — собрание из десяти мужчин-евреев.

АЛЕКСАНДРУ ИСАЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫНУ — 70 ЛЕТ

Замечательному русскому писателю Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось 70 лет. В наше время трудно найти человека, который бы оказал столь мощное и многостороннее влияние на свою эпоху, какое оказал А.И. Солженицын. Его бунт против Сталина и сталинизма, его бессмертный Архипелаг ГУЛАГ стали поворотным пунктом в истории современной России и, по существу, положили начало нравственному самоочищению целого народа. После Солженицына оказались невозможными никакие оправдания сталинизму — и как политической системе и как самой античеловечной нравственной системе. При этом Солженицын выступил не просто как политический обвинитель, но как выдающийся писатель своего времени, чье значение по достоинству будет оценено разве лишь потомками. Своим талантом он не только вознес русскую словесность на новую ступень, но и принес в литературу новое понятие правды, как высшей ценности искусства и жизни. После Солженицына всякая ложь в литературе выглядит безнравственной и потому обреченной. При этом знаменателен тот факт, что изгнание писателя не только не привело к его забвению на родине, но, наоборот, еще более подняло его роль и авторитет в народе. Редакция журнала «Время и мы» сердечно поздравляет А.И. Солженицына с семидесятилетием. Мы абсолютно уверены, что возвращение его произведений, да и самого писателя на родину является делом недалекого времени. К этому идет весь необратимый ход событий, этого требует историческая справедливость.

Сергей РУЗЕР

ОТЪЕЗД ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Эпизоды для самодеятельного кино

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ

В салоне своей квартиры, на третьем этаже дома, стоящего на самом краю популярного среди русских иерусалимского пригорода, сидит 42-летний инженер по термическим печам Борис Валерианович Зайдман (дочь, гимназистка выпускного класса, зовет его Борис). Около двух месяцев тому назад Зайдман был уволен в связи — так ему сказали — с сокращением штатов. Полученная компенсация позволит семье сменить машину. После перерыва, вызванного болезнью, Борису Валериановичу не терпится снова сесть за руль. Лариса, жена, тоже считает, что ему это пойдет на пользу.

Окно справа выходит на площадку перед домом, где мелкобуржуазные дети играют в мяч (род ближневосточного «штандра»). Чуть поодаль расположился контейнер помойки и ларек. Все вместе напоминает — тому, кто там бывал, разумеется, — город Червоноград Львовской обла-

сти. А вот круглое окошко-иллюминатор в левом углу комнаты смотрит на пустыню, которая, напротив, ни на что не похожа. Дикий пейзаж сей неизменно вызывает восторг у гостей Зайдманов; восхищает пейзаж и нас, но самому Борису Валериановичу он сейчас без надобности: с низкого дивана, на котором инженер в задумчивости расположился, ничего такого не видать.

Если на что интересное и натыкается его рассеянный взгляд, то это на стальной прямоугольник посредине стены: там входная дверь.

Часы показывают четыре-десять пополудни. Заходящее зимнее солнце бьет в окно со стороны пустыни. На коленях у Зайдмана — канцелярская папка, которую все та же дочь Наталья (в отношении ударений ей не откажешь в определенной последовательности) называет «папка-ностальгия». Предмет вывезен одиннадцать лет назад оттуда и служит до сих пор. Кроме вполне законных справок, аттестующих инженерные способности Бориса Валериановича — он готовится к завтрашнему интервью с потенциальным работодателем, — там лежит конверт, плотно набитый не ему адресованными письмами. Зайдман только расположился прочесть их не торопясь (до сих пор удавалось лишь урывками, в суматохе последних недель почти никогда не оставался дома один), и тут как назло заявилась Наталья со своим Ювалом. Спугнули.

Натальи хоть и не видно, но присутствие ее ощущается: там, за стенкой, она развлекает приятеля из аборигенов. Доносятся звуки музыки: поет Грейс Джонс, которую дочь «уважает за пластику». Нет никаких сомнений в том, что это просто уловка: в квартире идеальная слышимость, и парочка нуждается в шумовом фоне.

Воображение услужливо предлагает Зайдману картину происходящего в Натальиной комнате — в ее спальне, как ему некстати подумалось сейчас. Инженер целомудренно пытается если не прогнать наваждение, то, по крайней мере, сдвинуть его немного вбок, чтобы не видеть прерывисто дышащую, по-взрослому покрывшуюся красными

пятнами дочь — пусть уж лучше маячит перед глазами мускулистый Игал.

Не перебарщивать: на всю эту воображаемую сцену отвести полминуты, не больше. Речь идет не о какой-то там патологии, а просто о естественном отцовском беспокойстве, то есть явлении даже здоровом.

Что же до болезни Бориса Валериановича, то она совсем другого свойства. Да и вряд ли верно будет назвать это болезнью — скорее одиночный приступ, результат шока. Начать, однако, следует с того, как попали к Зайдману чужие письма.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Действие происходит примерно за три месяца до того.

Встревоженный запахом газа, Зайдман выходит на лестничную клетку. На этаже только две квартиры: их и Вишняков. Борис Валерианович собирается нажать кнопку звонка, но в последнюю секунду что-то его останавливает и он стучит в дверь.

Ответа нет.

Стучит сильнее.

Оглядывается в растерянности.

Наталья в гимназии, Лариса, работающая в мэрии, возвращается позже.

Не исключено, что именно концентрация газа в воздухе пьянит Зайдмана — во всяком случае, вместо того, чтобы сразу вызвать полицию, он предпринимает явно волюнтаристские действия: взламывает дверь. За инструментом приходится сбегать к себе (продумать, что за инструмент — не держит же он дома лом, должно быть что-то более деликатное).

Проникнув к Вишнякам, Борис Валерианович задерживается на мгновение в коридоре, а потом, зажав пальцами нос, бросается на кухню. Там первым делом распахивает настежь окно и перекрывает кран газовой плиты, потом идет открыть остальные окна в квартире и, только покончив с неотложным, начинает хлопотать над безжизненным телом Наума Вишняка, сидящего рядом с плитой, уронив голову... Почему-то (неосознанный импульс) он оттаскивает его вместе со стулом поближе к окну. На этом останавливается — приводить Вишняка в чувство Зайдману в голову не приходит: по некоторым признакам ясно, что поздно.

Впрочем нет, к окну не имеет смысла. Скорее, Борис Валерианович переносит тело в комнату, где укладывает его на диван, не забыв прикрыть валяющимся рядом пледом. Да, именно так. Поскольку сцена эта сохранилась в перегруженной памяти Зайдмана лишь в самых общих чертах, вполне уместно организовать весь эпизод в виде цепочки разрозненных и не слишком сфокусированных фрагментов, что, кстати, избавит нас от хлопот по восстановлению точной последовательности событий — в конце концов, это дело полиции.

Тем временем Борис Валерианович снова возвращается на кухню, где внимание его привлекает обгоревший конверт в раковине для мойки посуды.

Берет в руки.

Конверт почти целиком сгорел, но в целом попытка уничтожения писем оказалась малоуспешной. Так часто бывает с плотно прижатыми друг к другу листами бумаги: огонь лишь слегка облизал края и тут же потерял силу, оставив сердцевину практически нетронутой.

Не отдавая себе отчета в том, что делает (вид у Зайдмана сомнамбулический) и почему-то оглядываясь по сторонам, он прячет улику в боковой карман. Надо его одеть соответственно — если не в пиджак, то, значит, в куртку. Вполне оправдано — в доме-то не топят. Затем Борис Валерианович тщательно моет руки — кончики пальцев стали черными от горелой бумаги, оттирает раковину и лишь после этого, как-то даже особенно не сосредотачи-

ваясь на самоубийце, идет к телефону набирать номер полиции.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

В тот же день вечером.

Тело Вишняка увезли. Сообщили матери (она как раз вчера уехала погостить к брату на побережье). У Зайдмана жар. Его уже допросили по первому разу — свозили в участок. Но не слишком напирали, да и не мог он ничего существенного сказать о соседе. Замкнутый тип, вечно норовил поскорее юркнуть к себе, будто стеснялся чего. Мать его — другое дело. Интересной судьбы женщина, из старых сионисток. Рассказывала, как в тридцатые годы она еще девочкой в Харькове... но какое это имеет отношение?

В полиции склоняются к несчастному случаю. Обнаружили на плите кастрюлю: вода выкипела, залила пламя. Зайдман не возражает. Ему только одно важно было: чтоб подольше не отпускали, очень уж не хотелось домой возвращаться, на ту же лестничную клетку. Естественно — такой шок.

Как привезли назад, так его и заколотило. И злость вдруг такая: Наталью ударил, чего никогда раньше... Завела, дрянь, музыку, будто ничего не случилось. Это напрасно.

Борис Валерианович плачет, у него истерика. Ночью начинается бред. Лариса испугана — можно понять.

Амбуланс. Ласковая врачиха. В таких случаях они всегда женщин присылают.

Укол. Совершенно не больно (только не показывать шприц — ненавижу это).

Увозят. Отъехав, сразу включают сирену.

Когда вышел из больницы, не все помнил отчетливо. Про конверт, например, выпало напрочь. Спустя неделю случайно у себя обнаружил — как только Лариса не наткнулась!

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Зайдман понимает, что теперь в одиночестве ему уже не остаться. Эти двое вряд ли уберутся скоро, а там, глядишь, и Лариса вернется. Вообще-то Борису Валериановичу спокойней, когда жена дома, но сегодня... В конце концов, ему не запрещено выходить, вот и завтра на интервью поедет один, так в чем дело?

(Уволили-то его все-таки в связи с приступом — у них производство чувствительное. Хотя сокращение, конечно, тоже имело место.)

Борис Валерианович решительно поднимается с дивана (за окном уже вот-вот наступят сумерки), заматывается в шарф, надевает... да, пожалуй, ту же самую куртку и, преодолев нелепое желание постучаться в комнату дочери и предупредить, что уходит, покидает квартиру. В сторону соседской двери удается даже не посмотреть — приближается выздоровление.

Внизу Зайдман сходу опознает красную спортивную машину Ювала (остановимся, пожалуй, все же на этом варианте), выделяющуюся среди принадлежащих местным обывателям «Субару». Как он ни старается, полюбить сосредоточенного юношу ему никак не удается. Весной, помнится, вздохнул с облегчением, узнав, что тот призывается во флот — дочь им с вызовом сообщила. Но что-то задержался верный Ювал: ходит буквально через день, продыху нет. Прохлаждается в тылу с девицами, уклонист. И наклейку сменил, сукин сын! Зайдман любопытства ради делает крюк и подходит взглянуть. Вместо привычного: «Скажи, какая у тебя марка, и я скажу, кто ты» по заднему стеклу идет теперь признаком возмужания другое: «Народ — против бесхребетности левой прессы!» «Нет, она все-таки совершеннейшая идиотка, — перекашивает инженера, — так и тянет ко всякой шпане».

У зрителя не должно, однако, создаться впечатление, будто недовольство Бориса Валериановича носит полити-

ческий характер — перед нами снова естественная реакция отца, единственная дочь которого, может, именно в этот момент уступает натиску носителя национального самосознания. Чтобы не вышло недоразумения, стоит показать, как спускающийся по лестнице Зайдман встречает взлохмаченного молодого человека, готовящегося выйти на поселение, и сочувственно обсуждает с ним проблематику.

Но «естественная реакция отца» не значит реакция вялая. Вон с какой ненавистью уставился Борис Валерианович на противные пузатые буквы — того и гляди, шарахнет по «левой прессе» камнем, поразив заодно и стекло.

Зайдман стоит так, пока ему не приходит в голову, что сверху могут смотреть. У Натальи хватит наглости продать своему нацкадру родного отца. Наверняка тянет сейчас того к окну и мурлычет этак томно — умеет, паршивка: «Глянь, Борис-то на твою тачку глаз положил...» Он ей, между прочим, тогда и за «Бориса» тоже врезал, не могла хотя бы в такой день...

Раскрыла с помощью своего дебила фалафельного главный секрет жизни и теперь, значит, все позволено.

Отец Ювала — фигура в стране весьма заметная, из «молодых генералов», так что фалафель здесь явно не к месту. Зайдман это сам прекрасно знает, от чего злится еще больше.

Не решаясь поднять голову и удостовериться, как они там вдвоем скалятся в окне, он ретируется. Спиной чувствует экзаменующие его походку взгляды. От свежего морозного воздуха да с непривычки и впрямь немного шатает.

ЭПИЗОД ПЯТЫЙ

Кафе Зайдман выбирает в боковом переулке — меньше опасность встретить знакомых. Пиво здесь бочковое. Заказывает большую кружку — спиртное ему сейчас категорически запрещено.

На улице почти совсем темно. Официантка приносит на-

стольную лампу под шелковым абажуром — верхний свет тут не зажигают. Возится со шнуром, не сразу удается дотянуть до розетки. Зайдман пока что в кафе один. Он делает хороший глоток, развязывает тесемки на папке (обязательно тесемки!) и начинает читать по порядку, щурясь и напрягая глаза — от лампы слишком много теней. Неясные места сердят его (кое-где огонь все-таки опалил).

Звучит голос Вишняка:

—Уважаемая Вера Николаевна!

Как начать... сперва представиться, а потом попытаться объяснить. Прошу Вас, не сочтите дерзостью, самому удивительно, откуда... Одна надежда... снисходительны и не отбросьте это письмо в гневе.

...по порядку. Мое имя Наум или по-старому Наум Яковлевич Вишняк... Москвы. После скоропостижной кончины отца мама решила уехать к брату, еще до Второй мировой войны поселившемуся в Палестине... оставаться в той же квартире, они с ранней юности вместе. Я тогда только-только окончил Педагогический институт, преподавал в училище, никаких особых привязанностей, ну и маму, конечно, не мог одну...

— Это было ужасно давно... без малого... нереальным. А в прошлую пятницу... на Базаре. Мама считает, что там продукты свежее и выбор больше, ну и дешевле конечно. Банк по пятницам раньше закрывается, так что успеваю не торопясь... и домой до темноты. Да, забыл сказать: я прошел в свое время курсы переподготовки и работаю в банке. Около почтамта. Прекрасное место. Прохладно даже в самые жаркие дни и главное... персонал. Приглашают... семейные торжества. Я сначала даже удивлялся, а потом... прекрасный обычай.

—Но это просто к слову. В пятницу я стоял у прилавка с авокадо и пытался вспомнить... картофельный вкус. Время уже подходило к трем. Торговец выкрикивал сниженную цену, орали и другие... протискивались мимо,

кто-то через мое плечо пытался дотянуться до прилавка — ... перед концом.

Пока голос Вишняка звучит за кадром, мы видим — лучше снаружи, с улицы — сгорбившегося у лампы Зайдмана. Он погружен в чтение. Освещена лишь нижняя часть лица, глаза и лоб — в тени. В какой-то момент вместо кафе возникает иерусалимский рынок, однако сама Вера Николаевна, столь поразившая тогда воображение Наума Яковлевича, так и не появляется на экране. Более того, описываемая Вишняком встреча не отражается на предстающей нашему взору картине: все те же ряды, все та же медленно двигающаяся, словно заторможенная толпа, лишь иногда возбуждаемая каким-то заторможенным опять же возбуждением, и обязательно, чтобы промозгло и черная жидкая грязь под ногами. Может, пожалуй, действительно прозвучать одна из реплик Веры Николаевны, упоминающихся в письме, но так, чтобы неясно было: вправду произнесена или послышалось...

Общую хронологию надо выстроить так, чтобы и встреча на рынке, и несчастный случай с газом, и нынешний побег Зайдмана из дома к лампе под шелковым абажуром приходились на сезоны пронзительного холода — никакого чтобы Леванта, голых плеч, загорелых тел и прочего (исключение делается только для Натальи с приятелем).

Далее следует продолжение письма:

—... скорее тихий, но люблю шумные места, гул толпы. Бывает, просто слушаю... как музыка. И вот, представляете, сквозь гул этот... Ваш голос, хотя, конечно, в тот момент знать не мог, кому принадлежит... чистые звуки неторопливой, не тронутой южным выпеванием русской речи*... буквально заворожили. Еще минуты две стоял, не шевелясь, понимая, что нехорошо — подслушивал... спутница Ваша перевела слова арабчонка, торговавшего гранатами: «Для таких красоток скину до десяти». «Не

* Начиная с этого места посвящается А.Г. Покровской.

такие уж, видно, мы красотки, — Вы рассмеялись, — мог бы и больше». Привожу сейчас эти детали... в надежде, что... запомнили: потом, отходя, обернулся... на секунду встретились. Вы, все еще улыбаясь, говорили что-то женщине, одетой в черное... отдаленное сходство, могла бы быть Вашей матерью, вот только называла Вас по имени-отчеству. ... унося с собой Ваше имя, полюбив его сразу, как полюбил Ваш голос.

К этому моменту зрелищный потенциал рынка полностью исчерпан, а текст все еще не кончился, поэтому камере следует перебраться в соседние переулки, следя за тем, чтобы все оставалось в сером слякотном тоне: старик, тянущий сумку на колесиках; газета, которую несет ветром; белье, свисающее из окон второго этажа, задевая головы прохожих — последних, кстати, становится все меньше и меньше. Только никаких открыточных видов, никаких знаменитых стен и башен. Так и послоняемся без определенной цели, пока Зайдман дочитает письмо.

...покажется странным, что не зная Вас, говорю о любви. (Не вполне ясно, как голос за кадром будет справляться с этими съеденными огнем многоточиями.) ...не легкомыслие и не излишняя восторженность, а в сущности трезвый расчет — ведь может статься, первый и последний раз говорю с Вами... смысла выжидать, маневрировать, если... дойдет ли это письмо? Потом есть у меня ощущение, что могу Вам довериться... использовать шанс, хоть ненавижу это слово.

Осталось объяснить совсем немного... отправился на службу, и перед самым перерывом появляется перед моим окошком не кто иной как Ваша пятничная спутница. Оказалось, что у нее туристский счет в нашем отделении. Адресом клиента... запрещено, но, как видите, рискнул и теперь вся надежда, что через нее это письмо как-то попадет к Вам... потрясающее стечение обстоятельств...

Сцена в банке не представляет визуального интереса. Мы

узнаем о ней, она объясняет то, что объясняет — и довольно. Поэтому продолжаем пока что бродить по переулкам — уже чуть-чуть осталось.

— Вера Николаевна, милая!

...Резонно спросите, чего я в сущности хочу? Вопроса этого страшусь, потому что не хватит сил прямо сейчас на него ответить... избавить себя от возможной боли. И так, знаете, не показаться бы человеком неуравновешенным... сам себе противоречу: говорю, что полностью доверяю, и тут же... Поймите, я прежде... по накатанному, а тут... дайте собраться с духом. Да что я говорю — неизвестно, прочтете ли эти строки. Хоть парой слов...

Прошу о свидании... показать Вам город. Даже, если днем, могу уладить на работе, есть такая возможность... номер телефона, после пяти я обычно дома. Не сердитесь. Перечитывать не буду, а то испугаюсь сумбура и вообще не отправлю. Умоляю, ответьте. Н.Я. Вишняк.

P.S. Мне 39 лет, роста среднего (это если Вы меня не запомнили), я не женат, со следующей осени мне предложили пойти на усовершенствование (с последующим повышением)... единственному у нас в филиале. Может быть, совершенно неуместно... хвастаюсь, простите.

В кафе между тем добавились новые посетители. Теперь уже на трех столиках горят лампы.

ЭПИЗОД ШЕСТОЙ

Зайдман ловит на себе взгляд официантки и инстинктивно прикрывает письма локтем. Та с любопытством разглядывает странного русского, так и не снявшего свою поношенную куртку. Сидит, подносит к глазам какие-то листочки, а теперь вон как вскинулся. Она отворачивается — клиенты прибывают, нет времени на каждого пялиться.

Борис Валерианович потягивает пиво. Как это Вишняк пишет «... чистые звуки неторопливой русской речи». Зайдман пробует думать о прошлом, настроиться на ту самую

«ностальгию», но в голову ничего не приходит. Может, это еще и от лекарств, которыми пичкает его Лариса. Мысли путаются. Опять вылезает Наталья с ее демонстративной глупостью и предстоящими экзаменами, потом он начинает сердиться на Вишняка: лезет тот со своей пылкостью.

А пылкость прилипчива: Бориса Валериановича познабливает. От письма к письму озноб будет усиливаться, разве что ответ Веры Николаевны принесет ему сейчас временное успокоение.

Текст здесь отпечатан на машинке и прекрасно сохранился.

Вера Николаевна пишет из Парижа (можно использовать квартиру Н.Р. на рю Жан Вилар. Это хоть и пригород, но зато там из окон вид подходящий).

Голос Веры Николаевны (на сей раз мы видим и ее самое тоже):

— Уважаемый Наум Яковлевич!

Письмо Ваше переслала мне моя обязательная матушка (Вы угадали верно, это именно она была, действительно любит на людях обращаться ко мне по имени-отчеству, чем иногда и вводит в заблуждение). Я тогда останавливалась в Иерусалиме проездом, всего на два дня, срочные дела торопили домой. Не сердитесь, пожалуйста, но я не уверена, что запомнила Вас — там была такая толпа. К тому же я немного близорука. Откровенность Ваша подкупает. Буду и я откровенной в том же роде. Мне 31 год, совсем недавно я развелась с мужем, избавившись, наконец, от мучившей меня неправды наших отношений, детали тут, полагаю, излишни. В России, представьте себе, никогда не была, хотя страна эта меня интересует и даже, если хотите, завораживает (в нашем кругу это нередко). Родилась я в Швейцарии, но с раннего детства живу в Париже. Вот такая биография.

Несколько раз по ходу написания письма Веру Николаевну отвлекают телефонные звонки. Возвращаясь к письменному столу, она обязательно останавливается у вы-

ходящего на небольшую площадь окна — здесь тоже есть на что полюбоваться.

На полу — раскрытый кофр. Вера Николаевна не то вернулась только что, не то, наоборот, собирается уезжать. Ответ дается ей с трудом, она как бы до конца не решила, не выбрала тона, и от этой нерешенности нагоняет на себя излишнюю суровость, будто злится на неизвестно откуда взявшегося адресата. Но закончить все же надо: и любопытно, и невежливо иначе, и, как увидим, практическое одно соображение имеется.

—Что же до Вашего обо мне впечатления — так она продолжает — то, хоть и лестно, но боюсь, Вы тут изрядно приукрашиваете. Вообще, тот теплый идеал, который Вас, судя по всему, вдохновляет, мне представляется сомнительным. Пожалуйста, поймите меня правильно, я вовсе не собираюсь Вас, как это говорят, «ставить на место» и даже в мыслях не имею иронизировать над стилем брачного объявления, прорезывающимся у Вас ближе к концу, просто мне не хотелось бы, чтобы оставалась хоть какая-то недоговоренность: к романтической душевности и всему такому прочему я не чувствую нынче ни малейшей склонности. Надеюсь, это не звучит слишком резко — Вы-то здесь совершенно ни при чем. Тут, можно сказать, довольно дорогой ценой доставшаяся мне очевидность, отказываться от которой не вижу резона. Если же этот пункт мы с Вами прояснили, то тогда ничто не препятствует встретиться. Я бы даже просила Вас — Вера Николаевна почувствовала необходимость смягчить.— Уж если Вы столь любезно сами вызываетесь выступить в роли проводника по Иерусалиму, который я знаю очень поверхностно и — стыжусь — именно по-туристски. Мама моя — другое дело, но ей сейчас не до прогулок. Я должна снова быть там семнадцатого числа, это среда, может тогда в субботу?

У меня к вам еще специальная одна просьба будет. Нельзя ли собрать несколько ваших знакомых, которые согласились бы обсудить со мной проблемы эмиграции?

Сейчас объясню. Я занимаюсь эмигрантами, так сказать, профессионально. Провожу социологическое исследование, за которое Сорбонна даже считает возможным платить стипендию (весьма любезно с их стороны). Поэтому мне всегда интересно поговорить с людьми из России — теми, что сохранили какую-то связь. У меня подготовлен специальный вопросник, так что займет часа два, не больше. Что если устроить это в ту же субботу попозже вечером? Как вам идея? А днем сведете меня, провинциалку, на Гору, я слыхала, там новые раскопки. Сведите обязательно, а то одна никогда не доберусь. В любом случае я вам по приезде позвоню и мы сговоримся. — Вера Николаевна поколебалась и добавила. — Не грустите. С уважением. Вера Гейдрих.

P.S. А знаете, в наших семейных хрониках есть известное сходство, источник которого, увы, печален. Четыре года назад не стало моего отца, довольно известного в «русском Париже» человека, профессора богословия. Мы с ним очень близки были. Через несколько месяцев после его кончины мама неожиданно для всех приняла монашество. Спустя еще полгода она поехала в Иерусалим, собиралась вскоре вернуться, но застряла. В конце концов даже сняла небольшую квартирку и вроде как осела. Там действительно, как припоминаю, есть поблизости банк, не ваш ли?

ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ

Тексты писем занимают в наших эпизодах центральное место. Ничего удивительного — это единственный имеющийся документ, единственное, что связывает нас с действительностью. Поэтому жалко хоть что-нибудь упускать — и так есть основания предполагать, что некоторые из них утеряны. Но вот Зайдман, сидя за столиком, вовсе не все читает с равно неослабным вниманием, я бы даже сказал, что, чем дальше он продвигается, тем поспешнее переска-

кивает от одного письма к другому — ему не терпится добраться до конца, до развязки. Не терпится и страшно.

Эпизод номер семь призван раскрыть причину такой спешки, выявить корень беспокойства Бориса Валериановича, владеющего им навязчивого желания еще раз все перечитать — а ведь пусть урывками, но читал, читал уже и в общих чертах себе представляет. К сожалению, как построить этот эпизод автору пока неясно, ясно только, что без него никак не обойтись. Вот вчерне о чем должна идти речь:

1. Полиция останавливается на всем удобной версии несчастного случая. Вишняка хоронят как полагается (Зайдман в это время еще находится в больнице).

2. Вскоре после выписки Лариса сводит мужа с р. Шмуэлем (с женой последнего они совместно трудятся по четвергам волонтерками). Р. Шмуэль ведет специальный религиозный семинар для колеблющихся, к которому и присоединяется теперь Борис Валерианович. Врачи совершенно определенно говорят, что любого рода социальная вовлеченность ускорит процесс выздоровления.

3. Трудно сказать, что Лариса там нашептала, но только р. Шмуэль относится к новому ученику с максимальным вниманием и теплотой. Тут ни в коем случае не должно получиться карикатуры: наставник Зайдмана предстает перед нами (ибо таков он и в жизни) личностью в полном смысле слова исключительной: доктор физики, знаток философии — да-да, и греков тоже — специалист в области практической психологии, любитель музыки, словом, человек глубоко религиозный и одновременно открытый миру.

На занятиях Борису Валериановичу хорошо и покойно, особенно придает силы та уверенная логика, с которой учитель раскрывает перед ним, не мальчиком уже, совершенно новый мир. Короче, врачи вкупе с Ларисой оказываются правы — помогает.

4. Все идет гладко, пока не всплывает на семинаре тема Шестой заповеди (полный список тем имеется у автора).

Приступив к обсуждению Декалога добираются постепенно и до нее, а потом незаметно как-то съезжают с убийства на самоубийство. Р. Шмуэль останавливается на особых — жертвенного рода — случаях, когда последнее допускается, и, с другой стороны, убедительно и тактично объясняет, почему при любых других обстоятельствах считается самоубийство тяжелейшим грехом. Ну и про то, что не хоронят вместе с другими на кладбище, и, конечно, про мистический аспект.

5. Может, это так и совпало случайно, но скорее лекция специально для Зайдмана была. И вот в каком смысле: Лариса неправильно расценила мужнину подавленность после больницы (у него на самом деле никаких таких мыслей не было) и попросила р. Шмуэля повлиять. Возникает вопрос, не хотел ли тот заодно выяснить что-то по поводу покойного Вишняка, потому что полиция полицией, а разговоры ходили всякие, и было определенное беспокойство в кругах. Мне это представляется маловероятным. Такой человек не станет, думаю... Впрочем, как бы то ни было, нас интересует сейчас не р. Шмуэль, а Зайдман.

Что же касается Бориса Валериановича, то на него обсуждение производит изрядное впечатление, часть пафоса пропала, правда, впустую (Лариса, как уже было отмечено, заблуждалась), зато про Вишняка снова начинает думать неотступно. Конечно, тогда в полиции он не знал, что в письмах, но ведь скрыл преднамеренно, тут нет никакого сомнения. А кто, как не он, укладывал несчастного Наума на диван?

Принимая во внимание общую неустойчивость психического состояния Зайдмана, неудивительно, что в результате всех этих разговоров о самоубийстве, им вновь овладевает крайнее беспокойство: ведь самоубийцу покрывая, он и сам становился соучастником. Мистическая сторона дела так просто ввергает его в ужас. Словом, терапевтический эффект семинара оказывается сведенным на нет.

6. При всем том еще остается слабая надежда: а ну как ему показалось, вдруг не так понял взволнованный слог Вишняка (главное свидетельство, разумеется, содержится, как раз в последнем письме)? Тогда выйдет, что полиция в своей самоуверенности права была...

Потому и рвался сегодня Зайдман уединиться, потому и пробегает сейчас лихорадочно глазами по строчкам, торопясь добраться до все объясняющего конца, что теплится у него надежда.

7. Р. Шмуэль тем временем, взглянув на стул, обычно занятый Борисом Валериановичем и потом на часы, предлагает подождать еще пять минут. Но сегодня ученик, судя по всему, опоздает надолго, так что придется начинать без него.

Примерно так должен быть построен этот эпизод (распадающийся на несколько более мелких) и позволяющий нам, узнав о подоплеке все возрастающей нервозности Бориса Валериановича, возвратиться в кафе, где он уже заказал следующую кружку пива. Вряд ли, кстати, это с его стороны разумно.

Да, тут возникает такая сложность: раз уж наш герой стал адептом р. Шмуэля, то должны же появиться хоть минимальные внешние признаки, миниатюрный головной убор, скажем. После долгих колебаний автор предлагает все же от антуража здесь отказаться. Любой атрибут такого рода немедленно придаст происходящему излишнюю определенность, законченность, а у нас ведь все, наоборот, происходит при неверном сумеречном освещении: зима, слякоть, вечер, сейчас еще дождь прибавится.

Надо как-то вывернуться. Ну, скажем, Зайдман — по молодости духовной — пока стесняется: выходя в город, новую бархатную ермолку, подаренную женой, вроде как каждый раз забывает. Или сам наставник, заботящийся прежде всего о преображении личности неофитов, не торопит их с внешними знаками. (Использовать ту версию, которая покажется правдоподобней). Как бы то ни было. но пусть Борис Валерианович остается как был: без отличительных признаков.

ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ

Приносят заказанную кружку. Зайдман благодарно кивает официантке, обращает внимание на грязные ее ногти, отпивает, несмотря на это, с жадностью и принимается за следующее письмо. По дате судя, прошло больше месяца. Странно, что Вишняк после пылкого начала позволил себе такой перерыв.

Дорогая Вера Николаевна!

...(довольно большой кусок сгорел)... наша с Вами прогулка. Как видите, у меня достало сдержанности (или робости) ни словом не обмолвиться о «теплом идеале», наличие которого вы у меня справедливо заподозрили... Вас с кем-нибудь «делить», так что представляете, чего мне стоило своими руками... эту «встречу с эмигрантами»... не пошел к Файнблюмам вовсе не по обиде, а потому, что переполнен был... побыть одному... вряд ли интересен, как объект... за те несколько часов, что мы провели вместе, уже все, кажется, что можно, о себе рассказал.

Не поддаваться соблазну показывать, как они «провели несколько часов вместе»: их прогулка, происходившая на фоне дежурных красот, здесь никак не подходит. Необходимо что-то камерное. Можно, например, на все то время, пока идет текст, поставить камеру в кухоньку кафе. где молодой араб, симпатичное лицо которого несколько портят редкие черные усики, возится у плиты, и куда то и дело забегает официантка (ей сегодня приходится крутиться одной — товарка не явилась). Не стоит беспокоиться о том, чтобы между изображением и голосом за кадром была какая-то связь: размеренные движения араба в сочетании со стремительными наскоками Яэль — ибо так

ее зовут — вполне заслуживают внимания сами по себе. Мотив достигнутого пластического взаимопонимания.

... мучения с пасхой... Вас пригласить. Праздники пролетают и не заметишь, а тут мечталось: будете моей гостьей. В духе «теплого идеала». Потом не решился. Не подумайте... не в этом дело, мама нерелигиозна... рада была бы Вас видеть, я уверен. Другое остановило... не такое уж для вас удовольствие провести целый вечер за столом с нами двумя... только испорчу впечатление... Вы уехали.

Зато у меня было время подумать. Теперь... с Вами поделиться, не изменяя откровенности, с которой начал... Я, что называется, устроен и, пожалуй, доволен жизнью... прочное положение на службе, зарабатываю вполне достаточно. Намеренно... стиль брачного объявления, потому что есть в нем правда. О перспективах продвижения я уже...

Тут у Зайдмана появляется смутное чувство, что куда-то опаздывает (про начавшийся семинар у р. Шмуэля пока не вспомнил, но вот-вот вслывет). Борис Валерианович в нетерпении перескакивает через страницу и попадает на то место, где речь Вишняка становится совсем несвязна.

... появляетесь Вы... Ваше чудесное явление в Иерусалиме... ясно дали понять, что не следует питать надежд, но вдруг накатывает... видения такого невозможного, такого невыносимого счастья... Вас, быть может, поразит, но именно от самых простых, самых приземленных вещей больнее всего. Стоит представить, что... возвращаюсь из банка, а Вы ждете дома... или вместе идем... плачу, не смейтесь, не поверю, что безумная эта надежда случайна... никогда не... слишком много совпадений... дали на мгновение заглянуть, представить, какое блаженство... и теперь... квартиру побольше... неподалеку, оставив... маме. Не пришлось бы бросать Парижа, мне достаточно Ваших редких приездов... На Кипре все можно уладить, только слово... тороплюсь... сказали, чтоб не мечтал... не сумасшедший, наоборот — расчетливый, как и раньше... потому что все обдумал... нечего медлить, раз мне открылось... Вы должны понять, что значит «открылось»... только не отвечайте на машинке... рукой вашей... не прихоть, я ведь предложение... делаю предложение, пожалейте... Появилась надежда и сразу последняя... если исчезнете... ужасно, не для того же... Служба сейчас мое единственное спасение: там говорю, двигаюсь, улыбаюсь, все остальное время только умираю... почему умираю, я, напротив, счастлив, ничего не хочу... ждать от вас ответа... только трудно каждый день возвращаться домой... знаю: Вас там нет... заказана дорога, то есть еду в конце концов, но сперва... и как-то судорожно... дурно, безумно так говорить, но иначе как удержать Вас... из Вашего парижского мира... ускользаете... разве можно, сами же сказали, что у нас общая судьба... Вы ведь верующая... простите, я не должен, не имею такого права... мое единственное... блаженство... если Вы... не хочу думать. Заходит солнце. Умоляю, ответьте скорее... Вашего возвращения... дерзкой надежды... Н. Вишняк.

Прыгающие перед глазами строки терзают Зайдмана. Борис Валерианович хочет вернуться назад, посмотреть, что же там произошло на пропущенной странице, но нету сил — у него уже самая настоящая лихорадка. Подходит — не надо ли чего? — официантка. Нет, нет — он трясет головой. Та пристально вглядывется в русского — надо теперь, чтобы Яэль почаще появлялась в кафе — пусть даже без слов: таким образом мы постепенно привыкаем к тому, что она — ангел. Но Зайдману пока не до нее — он приступает к ответу из Парижа.

ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ

Снова квартира Веры Николаевны, которая, вняв Вишняку, отвечает рукописно. Она хворает. Лежа писать неу-

добно: то и дело приходится поправлять подушку, чтобы повыше. Рядом на столике вместе со стаканом остывающего чая поставлен телефон, но на сей раз он молчит. За окном — та же площадь.

Голос Веры:

Любезный Наум Яковлевич!

Ну что Вы со мной делаете? Поймите, Вы — добрый, хороший человек и милы мне, но, увы, в той роли, которую Вы мне предлагаете, я себя совершенно не вижу. Париж тут вовсе ни причем, поверьте мне, я из него так и так уеду, но... я ведь пробовала уже. Правда, в браке нашем было много лжи и даже неверность, и не было детей, но я знаю и другие, куда более достойные, а все равно не воспламеняется душа — даже ими.... отчетливо приближение смерти. Не подумайте, я не больна — то есть как раз сейчас слегла с простудой, но это здесь ни при чем — я не имею в виду какую-то обязательно близкую смерть, просто, в сущности, речь идет о том, чтобы скоротать оставшийся отрезок. Так или иначе. Вы предлагаете мне коротать его, пытаясь сделать Вас счастливым... Я не хочу, чтобы слова мои прозвучали резко... не получится ничего, не смогу я, да и... Знаете, меня бывший муж именно этим и удерживал, что спасаю его, дескать, и что из этого вышло? Не выдержала я, а скорее и смысла не было. Понимаете... уж не обижайтесь, дорогой Наум Яковлевич, не для меня это. И потом я уже почти решила как матушка моя поступить... вынуждаете меня признания делать, я ведь никому пока не говорила, ужасно не люблю выпускать наружу до поры, да и решусь ли... гадко получилось, словно для того специально, чтобы перед Вами оправдаться, а ведь по правде не должна я оправдываться, никто тут не виноват. Разное у нас... вы вот будущее себе намечаете, ну, не получилось со мной, так... а я-то не жду ничего, хочу только остаток... Вы помните еще, что я про остаток говорила, так вот его... заполнить... может, эмигрантами буду продолжать заниматься, мне интересно, а то есть еще одна идея, но это пока рано... главное, буду одна, чтобы душа... в Иерусалиме в конце месяца, мы поговорим обо всем... пока прощайте. Вера Гейдрих.

Потом идет еще одна коротенькая записочка, где она сообщает, что приезд откладывается (мы видим Веру в метро), потому что у нее должно вот-вот решиться г л а в н о е. Теперь Вера поднимается по лестнице, входит в адвокатскую контору, но какое-такое главное, не пишет.

Вообще, очень рассеяна, заканчивает несуразным «подождите немного, милый Наум Яковлевич», а поставленная, не глядя, подпись на строчку с «милым Наумом Яковлевичем» неряшливо налезает.

Она очень нравится такая Зайдману, но хочется еще и чтобы кого-нибудь напоминала. Борис Валерианович напрягается, ему удается вспомнить — или придумать — лето на подмосковной даче, экзамены в Институте стали, электричку... увы, никакой женской фигуры так и не появляется. Он некоторое время старается бесплодно, пока не всплывает Лариса, которая наверняка беспокоится.

Странная фамилия Гейдрих — что-то немецкое.

ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ

— Не темно? — спрашивает Яэль и, не дожидаясь ответа, включает свисающее поблизости со стены бра.

Р. Шмуэль отвечает на вопрос мрачноватой девушки с глазами навыкате. Он сегодня выглядит уставшим.

Лариса выговаривает Наталье за то, что та проглядела отца. Рядом молча переминается с ноги на ногу высокий, почти баскетбольный мальчик Ювал.

— Поздравляю! — твердо произносит мать Вишняка, расплачиваясь с кассиршей, у которой, говорят, были трудные роды. Та уже снова совсем худенькая, прямо как девочка.

Зайдман тем временем приближается к цели: предпоследнее письмо Вишняка.

Вера, милая Вера!

Что вы пишете такое, зачем мучаете неизвестным... какое главное должно у Вас решиться? Я так беспокоюсь, сочиняю всякие ужасы, здоровы ли вы? А потом думаю, вдруг это такое главное... и тогда... без всякой надежды... Вы все не приезжаете... вчера говорил с нашим управляющим, согласен отпустить меня на неделю... лететь в Париж спасать себя, Вас — от чего? А если прогоните? Это здесь я привык, могу многое выдержать, в крайнем случае... бродить по улицам без цели... и помогает, а там, как представил весь этот путь назад до аэропорта... не выдержу... никуда не еду, жду Вас... Вы ведь хотели... и я тоже хочу сказать, что если Вы выбрали... определенный путь — тот, о котором пишете, это по крайней мере даст мне возможность... Вы ведь будете приезжать в Иерусалим. Или нам тогда нельзя будет видеться? Но неужели окончательно... я не... верить...

Борису Валериановичу видится недостойное в том, как распластывает себя Вишняк. Душевная распущенность. Он вспоминает кстати слова р. Шмуэля о том, как не знающие Бога от пустоты своей изобретают фантомы, которым со страстью служат. Почему он, собственно, должен нести ответственность за чужие...

И видит: пришли выкапывать самоубийцу. Стоят полукругом. Зайдману, как главному свидетелю, нести тело. И он тащит его опять, как тогда, вместе со стулом, утопая в бесконечной осенней грязи (он и не думал, что здесь такая почва) к воротам кладбища и дальше, за ограду, вниз по склону обсаженного уродливыми ракитами холма...

Зайдман чувствует приближение приступа. Он прикрывает глаза и, усилием воли прогнав кошмар, поочередно вызывает на его место — так учили в больнице — картины зеленой травы, песка, зарослей камыша... Он говорит себе, что спокоен, совершенно спокоен и ни в чем не виноват, он даже не сердится на Вишняка — в конце концов полиция сама установила: несчастный случай... Теперь снова зеленая трава и песок. Без зарослей камыша. По правилам надо еще посчитать пульс, но стесняется официантки — та опять на него смотрит.

ЭПИЗОД ОДИННАДЦАТЫЙ

Верино письмо отправлено из Мюнхена (чтобы не пропадала зря ее немецкая фамилия). Здесь лежит снег. Старомодный номер маленькой гостиницы соответствует старомодности выбранного Верой Николаевной способа передвижения: она намеревается отправиться дальше на поезде. Кувшин с водой для умывания — это, пожалуй, будет слишком — в номере есть все-таки крошечная и безукоризненно чистая ванная комната, но пусть по крайней мере горничная будет в чепце, а на столе стоит чугунный чернильный прибор с чугунной же фигуркой Дон-Кихота. Ну и цокот копыт за окном — там катают в коляске туристов.

Дорогой Наум Яковлевич!

Пишу Вам с дороги и в спешке — потому сбивчиво. Видите, добраться до Ваших мест так и не удалось... когда-нибудь в будущем, хотя, пускаясь в мое нынешнее путешествие, трудно строить определенные планы. То главное, о котором я вам писала, разрешилось, и вот я еду. Еду в Россию. Особой связи... не чувствую — вы, наверное, заметили, что я вообще не слишком сентиментальна, друзья меня упрекают в холодности, хотя думаю, что они неправы, не то это слово. Но действительно эмоциональная сфера... и потому тут не эмоция, а, как бы Вы выразились, трезвый расчет: если уж добывать отпущенное, то по крайней мере так, чтобы... что-то новое (это ведь, согласитесь, посвежее диссертации об эмигрантах...) Везу с собой две шубы и никаких опрометчивых глупостей совершать не собираюсь: осмотрюсь, поживу вполне комфортабельно французской гражданкой. Кое-какие сбережения у меня есть, да и от

отца остались, так что со временем — если тамошние власти не заупрямятся — куплю себе квартирку в Москве, говорят, это сейчас возможно стало для иностранцев. Хорошо бы на Сретенке (родительские воспоминания), если там строят...

Поначалу... у одного нашего пожилого родственника, есть договоренность... продлевать визу, пока возможно, а потом постараюсь... скажем, номинальный брак. Вы только не хмурьтесь, брак действительно... только номинальный, учитывая вполне определенные мои намерения (они реализованы — и хватит об этом). Как вы думаете, найдется среди ваших бывших... жених на таких условиях? Поверьте, я оценила по достоинству предложение, которое Вы мне сделали, и даже на секунду соблазнилась, говорю Вам истинную правду, но только на секунду: не моя это судьба. Живи Вы в Москве, глядишь, и мог бы у нас получиться какой-нибудь странный союз... Не знаю точно, чего жду. Скорее всего — ничего особенного. Хотя ехать мне любопытно — и за это спасибо. Печалюсь... Нет, Парижа не люблю и никогда не любила, но вообще Мир... Даже теперь, когда смертельно устала от колебаний и неопределенности последних месяцев, когда хочется только одного: запереться где-нибудь, так и то временами накатит... Но потом вспоминаю:... лишь добыть... тому, кто понял это, все равно не удастся миром насладиться... отравлено... так что уж лучше сразу — ... и тише для души. Ехать я решила поездом. Сразу-то сразу, но чтобы все-таки медленно. Буду выходить на перроны. Варшава мне почему-то представляется, как в фильмах о войне, будто у самого вокзала развалины. А Москва не представляется никакой.

... могла бы преподавать французский язык или переводы — у нас есть знакомые в церковных кругах, но не хотела бы сразу, сперва оглядеться. Мама со временем... пока она скептически, да и мне надо отдельно от всех пожить, совсем одной — видите, какую я себе

пустыню нашла. Не обижайтесь, что отсылаю Вам письма. Рука не поднялась сжечь, как сожгла я большую часть своего архива, а с собой везти не решаюсь: боюсь, будут они меня там беспокоить, еще расплачусь над ними в какой-нибудь серый денек, а мне теперь о прошлом нельзя плакать. Прощайте, кланяйтесь от меня той... на краю города, не там ли Вы думали устроить для нас обитель? Прощайте, милый, это все у Вас от солнца и жизни на юге — владеют Вами страсти и желания точь-в-точь как нашими марсельцами, отвлекается душа на пустое... Это я и для себя тоже точку... а то ведь могли, поди, соблазнить среди стихии, сознайтесь, специально поджидали меня на Базаре?

Разумеется, шучу, знаю, что Вы невинны — вот таких невинных и используют...

... по существу единственный человек, с которым я и разговаривала-то как следует в последние месяцы... матушка, она ведь какая — у нее на все ответ готов. Так что, считай, это именно Вы меня и проводили...

Не поминайте лихом, даст Бог, будет и Вам спокойно... маленькому банку у Почтамта... простите, если по кокетству или какому другому легкомысленному женскому свойству... И прошу, порадуйтесь за меня. Ваша Вера.

Веру Николаевну нам больше увидеть не придется, так что камера — вполне естественно — пытается продлить прощание, провожая ее в такси на вокзал.

Проводник поднимает наверх чемоданы. В купе... впрочем, туда мы уже за ней не входим.

ЭПИЗОД ДВЕНАДЦАТЫЙ

По окнам хлещет дождь. Зимняя гроза. Ничего не поделаешь, пора Зайдману приступать к последнему письму. Текст по ряду причин не сохранился, но содержание не вызывает сомнений — вон как выступила испарина на лбу у Бориса Валериановича.

На что надеялся Вишняк, отправляя его на адрес мюнхенской гостиницы, непонятно. Удержать Веру обещанием покончить с собой? Но ведь ясно, что уже было поздно. Письмо, разумеется, вернулось назад: адресат выбыл.

Как следует хоронить самоубийц?* Несколько раз — словно трогая ногой холодную воду — Зайдман произносит тихонько это слово. «Самоубийца», — шевелятся губы. «Самоубийца», — разминает он челюсти.

Молния озарает полнеба и заодно глухую каменную стену (на сей раз пусть будет даже стена Старого Города). Оглушительные раскаты грома. Чувство вины, давно прилипшее к Борису Валериановичу, сменяется метафизическим ужасом: миры рушатся и не могут подняться из-за того, что он покрывает преступление, праведники стонут в могилах, колеблются основания земли... Болезнь подминает его под себя, напуская холод под куртку, вдоль позвоночника. Кто это там крадется вдоль стены, скаля зубы в знакомой улыбке Ювала, кто тянет...

(Если что-то не удастся изобразить, всегда можно дать пояснения в титрах — это одно из преимуществ самодеятельного кино.)

Мелькает спасительная мысль: р. Шмуэль — вот тот человек, которому можно открыться. Он избавит от невыносимой тяжести. Зайдман вспоминает глаза и голос учителя, хватаясь за них, чтобы выбраться из все еще ухающей на заднем плане бездны. Скорее, еще не поздно. Сейчас бы поцеловать его руку, уткнуться лицом... как мог он раньше думать, что это будет донос... раньше... он болен был, а теперь... это позади...

Зайдман оглядывается по сторонам. Вовремя появляется официантка. Да, да, расплатиться. Он опаздывает. Злосчастное письмо Вишняка все еще держит в правой руке. «Огня?» — спрашивает Яэль, мотивы которой часто непонятны даже ей самой. «Огня? Зачем огня?» — Борис Валерианович растерян, но как следует сосредоточиться на ее вопросе не в состоянии, потому что роется в мелочи, в связи с чем письмо приходится временно из рук выпустить, и оно приземляется рядом с пепельницей.

* Уточнить, как следует хоронить самоубийц.

Яэль подносит зажигалку.

Зайдман смотрит непонимающе.

Край листа и так уже обожжен с того, первого раза — может, это и навело официантку на мысль. Впрочем, мыслью это назвать нельзя — импульс.

В полутьме ей кажется, что русский согласно кивает, чего, разумеется, никак быть не может.

Яэль подталкивает листок своим грязноватым ногтем в пепельницу и поджигает. Занимается сразу.

Борис Валерианович сидит, не шевелясь. На глазах у него слезы. Звук сирены, как в ту ночь, когда его увезли (сегодня это полиция). Горит улика.

Встает. Какая страшная слабость. «Куда ты, тебя ж трясет всего, — это Яэль, — подожди, я такси вызову». Идет к стойке, к телефону. Возвращается. Проводит рукой по волосам Зайдмана (он еще даже не начал лысеть, а вот седина появилась). Задерживает руку у него на плече. Прикосновение оказывает свое действие. Яэль? Вера Николаевна? Лариса? Сейчас любой из них достаточно, чтобы его успокоить.

Письмо все еще догорает.

Воля парализована. Теперь все: кто станет слушать домыслы невропата?! Облегчения Зайдман пока не чувствует, только неожиданную пустоту. Ну что ж, как сказала бы Вера Николаевна, и за то спасибо.

«У тебя деньги есть?» — спрашивает официантка. «Да, да, конечно, вот десятка», — но он ведь, кажется, расплатился? Ах, она про такси... Уже подъехало? «Где живешь-то?» Зайдман отвечает. Как-то само собой разумеется, что он едет домой. И действительно, к р. Шмуэлю теперь не имеет смысла. Она выходит с ним и останавливается под козырьком посмотреть, как Борис Валериано-

вич садится в машину. По-прежнему идет дождь.

Яэль складывает забытые Зайдманом письма обратно в конверт. Заглядывает в пепельницу убедиться, что то, которое сгорело, сгорело до конца.

Лариса звонит р. Шмуэлю узнать, не появлялся ли муж?

Зайдману где-то к середине дороги удается сосредоточиться на завтрашнем интервью. Хорошо, что водитель не лезет с разговорами. Мельком вспоминает сегодняшнюю официантку. Даже не заметил, как она выглядит — такая у них темень.

ЭПИЛОГ

Дождь продолжается. Автор, завернувшись в халат, греется у электрического камина. У него застарелый бронхит.

Слышна сирена (та самая, от которой недавно вздрогнул Зайдман). Никак не может затихнуть вдалеке.

Пауза.

У дома останавливается машина. Хлопает дверца. Кто-то сбегает вниз по ступенькам (автор живет в полуподвале). Стук в дерь.

Смотрит в глазок. Это Яэль, заскочила на минутку по дороге с работы. Ну, разумеется, знакомы: девушка раз в неделю моет в доме парадное, а иногда автор даже приглашает ее убрать в квартире. Тогда он очень галантен, а она говорит, чтобы занимался своими делами, потому что вполне справится сама.

Яэль — благодетельница: принесла ему специальный корень. Всю зиму кашляет, и корень должен помочь. «Спрячь деньги, с ума сошел, я его на ничейной земле нашла, — она пристально смотрит на автора. — Слушай, тебе бы на юг поехать, сразу бы отогрелся. Вот освобожусь, обязательно отвезу тебя в Эйлат».

Яэль учится на бакалавра. Летом провела два месяца в Индии и Китае и теперь лечит наложением рук (бронхит пока не поддается). Про грязные ногти это совершен-

нейшая ложь, оставленная нами только как свидетельство расстроенности зайдмановского воображения: у нее замечательной формы, длинные-длинные пальцы. Увы, уже уходит. Вот так всегда: прикоснется на лету и исчезнет.

«Да, — говорит, обернувшись с порога, — чуть не забыла. Тут один из ваших второпях оставил на столике...» Яэль не знает по-русски. Упущение, конечно, но ничего не поделаешь — интересы ее лежат восточнее.

«Ты посмотри, может что важное?» — она достает из сумочки конверт, протягивает автору и бежит по ступенькам наверх.

Автор запирает дверь на цепочку. Возвращается в комнату, садится к столу.

Достает письма. Из конверта выпадает фотография Веры Николаевны.

Читает.

Берет фотографию в руки. Пожимает плечами, хочет вложить обратно, но тут неожиданная идея приходит ему в голову.

Автор надевает ботинки с заранее прилаженными калошами, толстый свитер (чтобы еще хуже не простудиться) и поверх — плащ с капюшоном. Оставляет нижний свет в комнате — так приятней возвращаться — и выходит.

На углу крошечного бульварчика звонит в дверь ателье. Хозяин, живущий тут же наверху, наконец не выдерживает и спускается открыть посетителю. (Деталь не слишком реалистическая, но предположим, что автор полгода тому назад сделал для него текст газетной рекламы и до сих пор не получил гонорара, поэтому беспокоит негодяя по праву.)

«Маленький заказ, пустяковое дело», — и тот действительно парень ловкий — быстро справляется.

Автор возвращается домой. Достает из-под плаща фотографию. Она теперь застеклена и обрамлена в тонкую металлическую рамку. Со временем он ее увеличит.

Ставит на письменный стол. Передвигает чуть правее (к ней сзади приделана специальная ножка). Снаружи, из

темноты, хорошо видно, как автор, выбрав, наконец, подходящее для изображения Веры Николаевны место, удовлетворенно улыбается, как будто... Смысл его улыбки, впрочем, так и остается непроясненным.

Пора завести будильник (огромный, до-электронной эпохи, ровесник зайдмановской папки с тесемками) и включить ночную программу новостей. Автор погружается в уместное скорее летом соломенное кресло. По лицу его пробегают тени происходящего на экране и на мгновение он вдруг кажется глубоким стариком (непременно, чтобы как у Кончаловского в «Дяде Ване» — сохранная копия есть в Музее Диаспоры). Потом удается выбрать более удачный ракурс.

По-прежнему льет дождь.

Окно автора единственное сейчас освещено на этой стороне дома. Вот теперь гаснет и оно.

Далее мы видим поочередно, как:

Яэль гонит куда-то свой «Фольксваген».

Зайдмана представляют сослуживцам — он успешно прошел интервью, что с его опытом и стажем совсем не удивительно.

Наталью тоже представляют — Ювал знакомит ее со своим знаменитым отцом.

* * *

Кого нам отсюда, увы, не увидать, так это Веры Николаевны. Что ж, покажем тогда ее матушку, закрывающую счет в банке у Почтамта (мало ли какие к тому причины). С пожилым выходцем из Марокко, весьма достойного вида джентльменом, работающим теперь на месте Вишняка, она может говорить по-французски. Видно, что обеим сторонам это приятно.

Появляется надпись:

К О Н Е Ц

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о **моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий, «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

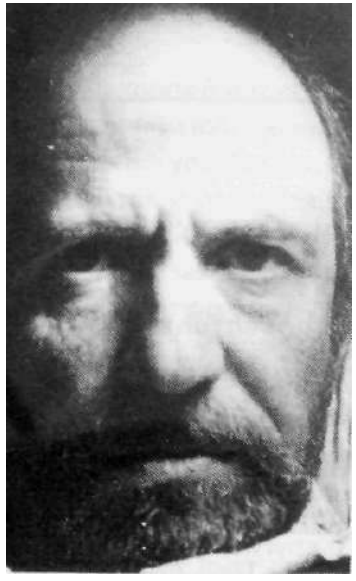
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Юрий ДРУЖНИКОВ

РОЗОВЫЙ АБАЖУР С ТРЕЩИНОЙ

С некоторых пор Никольский потерял вкус к книгам. Но сегодня он читал с интересом. Интерес подогревала женщина.

Никольский приподнял очередную стопу книг, пытаясь по весу определить, одолеет ли он их за день. Книги торжественные, как старинная мебель. Ржавые кожаные переплеты отсвечивают остатками золотого тиснения. На некоторых томах латунные застежки, дабы мысли из книг не улетели, а лежали сплюснутыми до востребования. Кивнув библиотекарше, дежурной читального зала для научных работников, Никольский отнес стопу на стол, под старинную лампу с розовым абажуром, у которого был отбит край и поперек шла трещина. Вид у лампы был (как бы это поточнее сказать?) неуместный. Похоже, она переместилась сюда, в областную библиотеку, из чьего-то будуара, а раньше была свидетельницей совсем другого, сугубо интимного аспекта жизни.

Роза, библиотекарша лет чуть больше тридцати, бедновато одетая, со вниманием следила, как импозантный посетитель уселся поудобнее, помассировал чисто выбритые щеки и поправил галстук, каковой без того лежал безукоризненно между белоснежных хвостиков воротника. Тряхнув красивой седой шевелюрой, читатель вытащил цветные заграничные ручки и пачку линованных карточек. Носовым платком он вытер пальцы, будто собирался заняться не чтением, а завтраком. Сергей Сергеич Никольский, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории партии Академии общественных наук при ЦК КПСС прибыл в командировку прочесть закрытую лекцию для партактива Гомельской области. В уме же он давно держал осмотреть книжный фонд частично сохранившейся домашней библиотеки дворца генерал-фельдмаршала графа Паскевича. Просто так, для себя. Областная библиотека располагалась, между прочим, в бывшем графском дворце.

Привела ответственного гостя к Розе директриса библиотеки, которую сюда перебросили из отдела пропаганды обкома. Директриса была полная, но весьма маневренная — Никольский при своем относительно спортивном виде еле за ней поспевал. Она шепнула Розе, чтобы данному читателю (она подчеркнула слово «данному») давать все. что ни попросит. А перед гостем извинилась, что привела его в зал для научных работников, а не для академиков и профессоров. Помещения, соответствующего вашему рангу, извините, нету. Вот если построят новое здание...

Вчерашний день ушел у Никольского на оформление: он заполнил несколько бланков, затем специальную анкету — что и для чего он будет читать. Анкету сверили с отношением из академии, ходатайствующем о допуске к данным книгам. Все это была чистейшая туфта. Отношение Никольский написал сам и сам подписал за заместителя директора, своего приятеля. Книги Никольский собрался листать не для темы, а для себя. И директрисе было наплевать, кто что читает. Но таковы были правила, сло-

жившиеся не вчера: задачей библиотек давно стало стеречь людей от чтения, чтобы они не прочитали чего-либо такого, чего им знать не положено, даже из глубокой истории. Никольского это ни в коем случае не возмущало. Он давно выработал принцип, который повторял про себя, а иногда и вслух:

— А мне все нравится!

И если его упрекали в конформизме, объяснял:

— Эка невидаль — всем возмущаться и все критиковать. Это же как мода. Мода то, что все спешат делать. А я оригинал! Нет правды на земле, но правды нет и выше. И потом, братцы, равнодушие — единственный способ убежать от инфаркта...

Никольский всегда верил в великую благость того, что люди не читают старых книг. Если бы все в один прекрасный день узнали, что то, о чем они думают, говорят, спорят — уже обдумано, сказано и доказано, какая бы в обществе наступила апатия! А так — апатия только у избранных, у интеллектуалов. Забывчивость — вот спасательный круг человечества. Мы словно играем роли по давно написанным пьесам и бодро делаем вид, что открываем новое и идем вперед. Где уж всем! Всерьез ревизуют что-либо одиночки. Мы не из их числа.

Для самого Сергея Сергеича знания делились на две группы — для других и для себя. И те, что были для других — были торговлей и, между нами говоря, спекуляцией. Да, книги, которые он пишет фальшивы, и другими они быть не могут по определению. А то, что для себя — просто ублажение остатков духа, который пока еще, к счастью, не деградировал.

Книги, которые теперь лежали перед историком Никольским под розовым абажуром, были старыми, а значит, настоящими. В отличие от современной лжи, которая просто липа, ложь далекого прошлого как бы материализуется. Теряя контакт с жизнью, она перестает быть ложью, становится данностью и не раздражает.

Последней (Никольскому уже рассказали) к этим книгам прикасалась глубокая старуха, наследница графа. Книги тогда валялись в подвале краеведческого музея, размещенного во флигеле графского дворца. Каждый день, кроме церковных праздников, старуха, стуча о паркет клюкой, приходила в музей и, купив входной билет, осматривала остатки своей мебели. На билеты уходила вся ее пенсия. Затем она перемещалась в библиотеку. Одета графиня была неряшливо, и, согласно слухам, почти ничего не ела несколько лет, только дышала и пила воду. А воздух и вода в Гомеле бесплатно.

В библиотеке графиня долго сидела, не шевелясь, положив руки на книги и закрыв глаза. Казалось, дремлет или щупает у книг пульс. Потом она медленно листала книги. Когда попадались рисунки, бормотала что-то себе под нос, смотрела на свет страницы. Она оживала, разговаривая с нарисованными людьми. А уходила — лицо опять мертвело.

Розе хотелось поговорить с московским интеллигентным человеком, и она еще вчера рассказала Никольскому подробности про неофициальную достопримечательность города. Не часто в областной библиотеке появлялись столичные гости такого масштаба. Роза зарумянилась, большие черные глаза ее заблестели и ожили. Шепот придал разговору таинственность. Никольский с грустью признался Розе, что у него со старухой есть нечто общее: он, как и она, после многих лет чтения только по делу, теперь решил почитать для себя. Без практического выхода.

— Где же она, эта роковая женщина? — спросил Никольский, пристально посмотрев на Розу.

— Книги музей передал нам, мы их — в спецхран, а допуск ей к книгам оформить было нельзя. Кто будет за нее ходатайствовать? Смешно!

— Смешно, — согласился Сергей Сергеич. — А ведь это ее собственные книги, не так ли?

Она печально кивнула, притворив ресницы. Потом подумала и прибавила:

— Директриса сказала, что книги народные.

— Ах, народные! — усмехнулся он. — Действительно, как это я сразу не сообразил?

Так у него с Розой возникло взаимопонимание. Это было еще до того, как они пошли смотреть книги. Роза повела его по железной винтовой лестнице в подвал, бывшее бомбоубежище. Свет был неяркий, но достаточный для того, чтобы видеть корешки. Книги стояли в беспорядке, все равно они почти никому не выдавались.

— А здесь сыро, — поежился он. — Вам не холодно?

— Я привыкла.

Они шли между железных полок, то и дело касаясь друг друга, и обоим это было приятно. Что-то в ней от пышечки, отметил он, вскользь глянув на ее округлости.

— Ну, девятнадцатый век смотреть не будем, — сказал он, — неожиданностей вроде бы не может быть. А восемнадцатый — вот этих толстячков — можно поднять.

Стопы набрались большие.

-— Тут есть мальчик, — сказала она. — Он вам все сейчас принесет.

Она без смущения поднималась над его головой по винтовой лестнице.

— Сейчас не надо. Я хочу только заказать, а читать начну завтра, если позволите.

Он едва улыбнулся. Подумал, не пригласить ли ее поужинать, но решил, что пока не надо.

— Завтра все для вас будет готово. Мы работаем с десяти до десяти. — Помедлив, она прибавила. — А завтра с двух.

Он пришел часа в четыре. После лекции для партактива и обеда в обкомовской столовой с завотделами и секретарем по пропаганде он велел шоферу ехать в гостиницу и час поспал. Роза к его появлению аккуратно сложила поднятые книги. Она сбегала в центральный каталог и посмотрела книги самого С.С. Никольского, в том числе изданную солидной монографией его диссертацию «Роль коммунистической партии в создании изобилия продуктов питания». Названия двух других его книг тоже были фундаментальными: «Партия в борьбе за чистоту своих идейных рядов» и «Партия в борьбе против мелкобуржуазной идеологии». Заказывать эту трилогию, чтобы прочитать, Роза не стала. Интересно, однако, какие полезные идеи он собирается найти по своей специальности в восемнадцатом веке?

— Я посмотрела все книги, которые вы написали, — сказала она. — Интересно...

Сказала вежливо — без восторга и без иронии.

— Не будем об этом, — поморщился он. — У каждого свой крест.

— Вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать, — суховато прервал он. — А вот ваши книги действительно занимательные.

Он поднял тяжелую стопу фолиантов. Роза подумала, не рассказать ли ему, как под бомбежкой вывозили эти книги. Розе рассказывала мать, которая тоже здесь работала до смерти. Вон, на некоторых переплетах шрамы от осколков. А после того, как книги вывезли, по дороге половину растащили солдаты из встречных эшелонов на самокрутки. Слабые женщины не отстояли. А когда привезли книги с Урала обратно, половину оставшейся половины съели крысы здесь, в подвале. Стоит ли это вспоминать? Пусть гость спокойно читает остатки и полагает, что это полная графская библиотека.

Никольский, между тем, не торопился углубляться в восемнадцатый век. Он снял очки, подышал на них, стал медленно протирать голубоватые стекла. Без очков все приняло неопределенные формы. Пустой читальный зал застлало туманом. Вот в таком тумане он и живет. А в очках другая его жизнь, в которой нужно соотноситься с тем, что он видит.

С юношеских лет Никольский почитал Библиотеку. Не эту, провинциальную, и даже не те, известные интеллигент-

ному миру, а Библиотеку вообще. Большая часть его молодой жизни прошла в библиотеке. И он любил в ней сидеть, называл добровольной тюрьмой. Не обязательно читать, писать, рыться в каталогах. Просто сидеть, как старая графиня, смотреть на незнакомых людей, притулившихся по углам, поближе к старым настольным лампам, гадать, что привело их сюда. Тогда библиотека была для него особым замкнутым миром, храмом, религией. Тогда он гордился, что он историк, что создает духовные ценности. Придумал даже сам себе целое философское обоснование: люди делятся на «материальщиков» и «духовников». И он, конечно же, из вторых.

Для потомков наши вещи не будут представлять особой значимости. И автомобиль и ракета превратятся в прах. И золото и уран обесценятся. Сталь и бетон станут пылью от времени. Но зыбкий лист бумаги, которую младенец способен изорвать в клочки, сохранится на долгие времена. В этом, пожалуй, есть и обидное. Большая часть людей создает сегодняшние вещи. Но лишь труд меньшей части остается в веках. Утешение только в том, что не будь ценностей материальных, не родились бы духовные. Ибо и те, кто сочиняют, тоже хотят есть.

Потом он работал в разных библиотеках и архивах — задыхался в подвалах, замерзал в церквах. Видел, как чистят библиотеки, как уничтожают книги, как трудно становится узнать, что есть, прочесть, что было написано. В молодости его восхищало, что в библиотеке честные и лживые книги стоят рядом. В этом была особая гуманность — в праве лжеца лгать, в невозможности запретить ложь, в праве потомков самостоятельно, без суфлеров разбираться в истинах, улыбаться нашей наивности или, что гораздо реже, поражаться дальновидности. Нет, что ни говори, Библиотека — хранилище времени, сейф для мыслей. Сейф для мыслей... Это, пожалуй, неплохо было им когда-то сказано. Он, Никольский, любил слова. Они его и лишили ориентации: в словах утонула истина, которую он

давно уже не искал. Истина только мешала, вставала поперек дела, успехов, жизненных благ. Он перестал читать. Он проглядывал.

Сергей Сергеич надел очки. Туман исчез. Напротив, по другую сторону стола, за этой же лампой, сидел черноволосый мальчик лет двенадцати в синей полинявшей ковбойке. Челка на лбу смешно топорщилась — теленок лизнул. И уши торчали, и нос был приподнят кверху, подпирая очки. Весь мальчишка был нескладным теленком.

Кажется, он сидел тут и вчера. Сергей Сергеич решил вечером от скуки сходить в кино. Крутили фильм из эпохи его молодости. А мальчишка остался. Сидел и читал. Читал он толстую книжку в безликом библиотечном коричневом переплете с коленкоровыми углами. Читал быстро. По губам и щекам было видно, как он переживает то, о чем читает. Иногда поднимал глаза, несколько мгновений сидел не шевелясь, словно наступал антракт. И читал следующее действие.

А почему, собственно, подросток в читальном зале для научных работников? В этом же здании, с другого угла, детская библиотека, куда Никольский сперва заглянул по ошибке. Мальчик поднял голову. Профессору пришлось снять со стопки верхний том и углубиться в него. Хватит растекаться мыслию. Мы умеем заставить себя собраться, умеем работать. Правда, в последние годы это становится все трудней. Возраст? Чепуха! Нет шестидесяти. Не болеем, не лысеем. Сергей Сергеич стал читать толстое жизнеописание высших придворных чинов.

Шла вялая весна, темнело позднее. Окна читального зала вплотную упирались в стену учреждения, в окнах которого горели лампы. Сверху в щель между домами опустились сумерки.

— Я зажгу свет, если не возражаете, коллега, — галантно произнес Никольский.

Парнишка вздрогнул, оторвался от страницы, сообразил, что это обращаются к нему и, покраснев, кивнул. Сергей Сергеич пощелкал выключателем.

— Не зажжете, — стесняясь, сказал мальчик. — Еще в прошлом году сломался.

Умело, двумя руками он снял с лампы розовый стеклянный колпак. Под ним оказалась полногрудая бронзовая русалка с извивающимся хвостом, который постепенно превращался в подставку. Мальчик привычно взял русалку за талию одной рукой, а другой повернул лампу в патроне. Сергей Сергеич усмехнулся. Свет ударил в глаза. Мальчик также аккуратно поставил колпак на место, и розовый круг очертил книги. Запахло горелой пылью. Лишь сквозь трещину свет слепил глаза.

Никольский сходил к Розе и взял другую пачку книг.

Библиотекарша, между тем, приготовила для него две карточки с надписями «Прочитано» и «Осталось».

— Вы великолепны сегодня, — вскользь бросил он ей.

Она улыбнулась, довольная, что он это отметил. Она действительно приложила к этому немало усилий, и они не пропали даром. Правда, директриса обратила на Розу внимание еще раньше. Она сказала, что на Розином месте она одевалась бы на работу скромнее: все-таки мы областное учреждение, а не театр. А на Розе ничего особенного не было, только юбка узкая, и, конечно, не длинная, что давало возможность оценить ее ноги, как определенное достижение природы. Без лишней скромности Сергей Сергеич понял, что усилия предприняты Розой для него. А раз так, это избавляет его от промежуточных трудностей. Хотя... он еще ничего не решил.

Никольский поработал пару часов и размагнитился. Свет абажура стал его раздражать. Он поежился от сырости, то ли действительной, то ли кажущейся. Надо бы пойти поужинать, — где тут самый лучший ресторан, чтобы была глупая музыка, оглушающая и безвкусная? Танцы и прочее.

Мальчик читал, не отрываясь.

Сергей Сергеич прослышал, что в местной драме поставили что-то солененькое. Не отправиться ли туда? Говорят, труппа здесь молодая, только что из столичного вуза.

Значит, есть и симпатичные актрисочки. А может, согласиться на приглашение доцента из пединститута, который мечтает очутиться у меня в докторантуре? Обещал изысканное местное общество, и мне уготована роль кумира на три часа.

У мальчика брови сдвинулись. Они сдвигаются, когда мальчик доходит до трудного места. Ресницы растерянно моргают, потом успокаиваются: понял, пошел дальше. Ничего, кроме того, что излагается на книжных страницах, его не занимает. А я не двигаюсь. Сколько осталось? Полстопы тут, да две горы на столе у Розы. А Роза тоже скучает.

Сергей Сергеич помучился еще, листая страницы, которые его не смогли увлечь. Решил, что будет читать завтра, а на сегодня хватит. Не гнить же ему, в конце концов, как старухе, графской наследнице, за чтением. И в голове должна быть форточка. Он сгреб со стола исписанные клочки бумаги и обнял стопу книг. Роза с готовностью протянула руки помочь ему.

— Устали?

— Просто есть еще дела...

Маникюр на ее ногтях был свежий, тщательно наведенный. Духи неплохие, не грубые. Он взял ее руку, поцеловал. Она с удивлением подчинилась, потом оглянулась, не видел ли кто. Он двинулся к выходу, потом вернулся и наклонился к ее уху, заговорщически подмигнув:

— Простите. Что за мальчик сидит напротив меня?

— Помогает носить книги. Он вам мешает? Я его прогоню.

— Нет-нет, не мешает. Напротив: заражает своим энтузиазмом. Просто я хотел полюбопытствовать, чего он тут штудирует?

— Он читает все подряд, — сказала она. — Ну, может, больше географическое и историческое. И то, что вы сейчас читаете, все уже прочитал. Только директрисе не говорите: это же спецхран. Он носит в хранилище и выбирает.

— И часто он здесь?
— Всегда.
— Всегда?
— После школы... И сидит до закрытия.

Роза смотрела на Сергея Сергеича, чуть улыбаясь, готовая ответить на любые его вопросы с максимальной заботой. Но он больше ничего не спросил. Выходя, он оглянулся: мальчик сидел под розовым абажуром, подперев щеку кулаком.

В театр Никольский не поленился заглянуть. Пьеса была из колхозной жизни. В первом акте смело разоблачали пьяницу-председателя. О том, как председатель будет во втором акте исправляться, Сергей Сергеич, примерно, догадывался. Молодые столичные актрисы, про которых ему сказали в обкоме, по-видимому, успели состариться на периферии, и на сцене царила откровенная халтура. Гость еле досидел до антракта и даже подумал, не улететь ли сейчас в Москву. Но там его никто не ждал.

Семьи у Никольского в данный момент вроде бы не было. Третья его жена ушла от него полгода назад, и нельзя сказать, чтобы его это огорчило. Дети от первых двух браков выросли, и общение с ними носило вежливый, но дистанционный характер. В Гомеле он специально взял билеты на послезавтра, чтобы отдохнуть от московской суеты. Так тому и быть. Он прогулялся до набережной Сожи, постояв молча, поглядел на ледоход. Но с реки дул сильный, мокрый ветер. Безопаснее двинуться спать, чтобы не просквозило.

С утра его потянуло в библиотеку. Входя в читальный зал, он даже подумал про себя не без гордости, что он, Никольский, труженик. Умеет и любит работать от зари до зари, как в молодости. На деле, он уже давно забыл, как пишут. Книги, которые издательства заказывали ему, известному партийному историку, он делил по главам между своими аспирантами, а те без смущения заимствовали материалы не для себя у других авторов. Это, кстати, гарантировало

правильность изложенных мыслей. Фолианты восемнадцатого века действительно ждали своего читателя, но в библиотеку Никольского потянуло не к фолиантам, а к Розе.

Она была за стойкой с утра и обрадовалась ему — он понял, обрадовалась. Он поговорил с ней немного, поделившись впечатлениями от вчерашнего спектакля. Они похихикали, он вздохнул, взял книги и ушел к розовой лампе с отбитым краем.

Книги были интересные, манера изложения непривычная для него, мыслящего готовыми блоками. Он зачитался. Жизнь, полная прозрачных интриг. Гравюры с умеренной вольностью в изображении игривых моментов. Монументальные физиономии сильных мира того. Неловкие объяснения политических авантюр через постельные подробности. Сергей Сергеич попытался провести параллели между царским двором и нынешними администрациями, при которых он делал карьеру. Боже мой, тогда был детский сад! Лучше не углубляться.

Минутая стрелка старинных напольных часов, что стояли у стены между огромных портретов Маркса и Энгельса, сделала несколько оборотов, когда Никольский оторвал взгляд от страниц. Он едва не рассмеялся. Мальчик в синей ковбойке сидел перед ним. Книжка заслоняла половину его лица. Когда он появился и бесшумно занял свое место, Сергей Сергеич не заметил.

— Молодой человек, — шепотом спросил Никольский. — Извините меня за любопытство. Что вы сейчас читаете, если, разумеется, не секрет?

Мальчик не сразу понял, о чем спрашивают, а поняв, протянул том. Это была книга конца прошлого века о походах Суворова с превосходными иллюстрациями. Никольскому она, разумеется, попадалась.

— Содержательная штука, — сказал он. — Для чего ее читаешь?

Мальчик не понял и пожал плечами.

— Ну, тему в школе проходите? Задано?

— Не-е...
— Зачем же?
— Не знаю.
— Может, просто интересно?
— Да, интересно.
— Что именно?
— А все.
— Вообще?

Никольский почесал в недоумении кончик носа и произнес мальчику стихи, которые обычно читал женщинам:

Загадок вечности не разумеем —
Ни ты, ни я.
Прочесть письмен неясных не умеем —
Ни ты, ни я.
Мы спорим перед некою завесой.
Но час пробьет,
Падет завеса, и не уцелеем —
Ни ты, ни я.

— Это вы написали? — спросил мальчик.

— Не совсем. Это Омар Хайям. Был такой поэт... Но объясни мне, ради Бога, зачем все-таки ты читаешь?

— А вы верите в Бога? — глаза у мальчика сощурились и заблестели.

— Ну, я сказал «ради Бога» условно, так сказать...

— А, условно...

Блеск в глазах погас. Чего хочет от него этот солидный человек, похожий на телевизионного комментатора с экрана.

— Там зачем же? — настаивал Сергей Сергеич.

— Просто я решил все книжки прочесть, вот и все.

— Все?! Я не ослышался?

Мальчик кивнул и стал читать дальше. Никольский тоже сделал вид, что читает, но мальчик сместил его мысли в сторону. Вы только подумайте: все книжки! Так ему и дадут прочесть все, что захочет. Даже мне все не дают. А ему надо, видите ли, все. Наследный принц! Хочет обучиться

сразу шестидесяти четырем искусствам. Как он научится приручать слонов? В теории? А складывать стихи — в этой провинциальной дыре? Сейчас нащупаем в нем слабую струну.

— А почему ты не играешь с ребятами? Ну, в хоккей, что ли...

— Неохота... Чо я там не видал?

Никольский не нашелся, как возразить и рассердился. Сопливый Нестор двадцатого века. Какому-то несмышленышу все интересно, а мне деятелю великой истории на все плевать? Мир идет в тартарары, а мальчик сидит с книгой. Все уничтожено, разрушено, сведено под корень до трын-травы. Целые библиотеки сожжены. Лучшие умы отравлены. Остатки догнивают, и самое существование России под сомнением. Скоро от отечественной цивилизации ничего не останется. А мальчик в этой дыре читает.

Сергею Сергеичу вдруг пришло в голову открытие, которым нельзя ни с кем поделиться. Что если великая историческая миссия нас, коммунистов, в том и состоит, что мы превращаем культуру в макулатуру, блага цивилизации — в дерьмо? Но что потом? Вырастут на этой почве новые культурные растения — или один бурьян? Может и навоз заражен? Но ведь мальчик-то читает все подряд. Значит, в голове его что-то сохранится для потомков. Если, конечно, он не собьется с пути. Но он обязательно собьется. Деться некуда. Тупик.

Никольский понес прочитанные книги, чтобы взять последнюю порцию.

— Хочу с вами попрощаться, — шепотом сказала Роза. — Я работаю до двух, а вы завтра уезжаете.

— Хм... Что если нам пообедать вместе?

Сказал небрежно, как бы невзначай, чтобы самому не обидеться, если откажется.

— Сейчас или..?

Тут он взял быка за рога:

— Немедленно!

— Тогда выйдем из библиотеки отдельно, ладно? Ждите меня возле магазина «Дары природы», это рядом.

— Вы — прелесть, я сразу догадался, — сказал он.

— А вы — бесчестный соблазнитель. Сдавайте книги, я вам поставлю штамп на выход.

В витрине магазина «Дары природы», который он углядел сразу, стояло облезлое чучело оленя с хорошо сохранившимися рогами. Над чучелом висел красный плакат: могучий профиль Ленина с алым бантом на груди. Текст гласил: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Сергей Сергеич прижался к витрине, чтобы его не толкали прохожие, и смотрел в сторону библиотеки. Он поймал себя на том, что волнуется, как молодой. Даже подумал: а вдруг она передумает? Но она тут же появилась, торопливо стуча каблучками по неровному асфальту.

— Заставила вас ждать? Пришлось убрать книги…

— Мадам, где в этом городе можно по-человечески пожрать?

— Нигде, поверьте! Пригласила бы вас домой, но у меня коммуналка.

— Тогда пошли ко мне в гостиницу. Уж что-нибудь в ресторане «Интуриста» дадут, а?

Он вынул из кармана пятерку, по-хозяйски открыл дверцу первой попавшейся машины и протянул деньги водителю:

Дружище, подбрось нас до отеля, здесь чуток.

— Вы с ума сошли, так швыряться деньгами, — прошептала она ему на ухо, когда они уселись на заднее сиденье.

Он приставил палец к ее губам. От нее пахнуло хорошей пудрой, он вдохнул этот запах глубоко, как наркоман, готовящийся перейти в другое измерение. Даже зажмурил глаза и мурлыкнул.

В ресторане было полно. Сергей Сергеич спросил гардеробщика, где кабинет директора, и, чуть обняв Розу за талию, попросил ее минуточку обождать. У директора были посетители. Пробравшись сквозь них, Никольский обогнул стол и тихо сказал на ухо директору, что он из ЦК КПСС. Это произвело некоторое впечатление. Тогда Сергей Сергеич попросил в виде исключения подать ему обед на две персоны в его обкомовский люкс номер триста один.

— Пришлите официанта посообразительней, — попросил Никольский. — Мы с ним найдем общий язык.

Он вернулся к Розе. Она красиво сидела в кресле, положив ногу на ногу.

— Пошли?

— Пошли, — немедленно согласилась она. — А куда?

— Ко мне. Пообедаем в номере.

— А это прилично для девушки из хорошей семьи?

— Вполне.

— Боже, какой номер! — воскликнула она, обегая обкомовский люкс. — Сколько же здесь комнат? Гостиная, кабинет, спальня. А эту дверь можно открыть? Ах, ванная. И все для вас одного?

Стоя в дверях, он великодушно улыбался.

— Наши враги называют нас номенклатурой, — сказал он. — Мы себя — тоже... глупо избегать благ, которые положены, не так ли? А вот и официант.

Они кратко обсудили, чего нет. Даму спрашивать было бессмысленно, и Сергей Сергеич заказал, что есть.

— И конечно, бутылочку «Столичной» похолодней, — он вынул две четвертных. — Сдачи не надо.

Обедали они с Розой, сидя на диване рядом за маленьким журнальным столиком. Никольский специально распорядился поставить поднос с шашлыками сюда, чтобы сесть рядом.

— Выпей с нами, — демократично предложил он официанту.

Третьей рюмки не было, и официант, не упрямясь, налил себе четверть стакана.

— Мы с женой первый раз в вашем городе, — продолжал Никольский конструировать ситуацию, чтобы не затягивать дела. — Город, я бы сказал, хороший.

— Жить можно, — послушно согласился официант.

— Ну, за ваш город и за мир во всем мире! — Сергей Сергеич смотрел на Розу. — Давайте — до дна!

Она выпила легко, безо всякого смущения, и ему это понравилось. Официант пожелал приятного аппетита и ушел. Они выпили еще по рюмке, не закусывая. И тоже легко. Никольский встал и запер дверь.

— А вы большой умелец, — пригрозила она ему пальцем и засмеялась.

— Если честно тебе признаться, Роза, я просто оболтус, — сказал он по-домашнему, легко переходя на «ты». — Прав мой приятель биолог Кузин, который сам себе сочинил эпитафию. Хочешь почитаю?

Прохожий! Здесь покоюсь я.
Ты слышал про такого?
Я дар земного бытия
Растратил бестолково.

Я был, к несчастью своему,
Обласкан муз любовью
И даже угодил в тюрьму
За склонность к острословью.

Курил табак, любил собак,
Они меня — тем паче.
Прохожий! Ты живи не так,
А как-нибудь иначе.

Иначе — как? — задумчиво сказала она, когда они проглотили еще по рюмке и начали есть. — Если бы кто объяснил...

— Иначе? — от вспомнил, что хотел рассказать ей давеча, в библиотеке, но забыл. — Старуха-графиня, о которой ты мне рассказывала, жила иначе. Кстати, я ее нашел.

— Нашли?

— Сам бы не смог. На лекции ко мне подошел полковник из органов с вопросом. Я попросил эту женщину разыскать. К сожалению, нашли не ее, а коммуналку, где она жила. Я туда съездил. Соседи похоронили старуху год назад. В ее комнате оказались старинные бумаги, письма, книги, фотографии и другое, как сказали соседи, разное барахло. Несколько сундуков, сто семьдесят шесть килограммов.

— Даже вес знаете?

— Соседи взвесили на пункте приема макулатуры. А еще, говорят, портретов маслом много было, свернутых в трубки, без подрамников. В бумажную макулатуру их не взяли, так они в помойку побросали. Опять смешно?

— Еще как! — согласилась Роза. — А могила?

— Ты просто читаешь мои мысли. Я поехал на кладбище. Могила графини провалилась, крест упал. Дал червонец могильщику, и он вкопал крест.

Сергей Сергеич налил себе и ей еще водки, сам выпил и стал молча жевать. Роза тоже молчала, вдруг смутившись. Сказать ему, что она ходила к старухе? Та ей давала кое-что почитать у себя дома. И снова прятала. А когда Роза пришла в очередной раз — графиню уже похоронили, а комнату заселили очередниками. Розе и в голову не пришло, что этот ответственный партийный человек потащится искать графиню.

— Судьба — копейка, — сказал он и еще выпил.

— Прохожий! Ты живи не так, а как-нибудь иначе, — повторила она задумчиво. — Хотела бы я жить иначе, например, как старая графиня.

— А может, не надо?

— Может. Но получается, что я все время надеюсь на «не так» и чего-то жду.

— Вообще или конкретно? — он испытующе смотрел ей в глаза.

— Сейчас — конкретно.

Она вдруг стала серьезной, резко выплеснула остаток водки на пол, встала и прошлась по комнате, чуть пошатываясь.

— Ждешь чего? — осторожно спросил он.

Она вплотную подошла к нему, сидящему на диване с но-

жом и вилкой, резким движением сняла с него очки и разглядывала его сверху вниз.

— Странный у вас цвет глаз, — сказала она, закончив обследование. — Вернее, странно, что у ваших глаз нет цвета... Скорей, пожалуйста!

— Что — скорей? — не понял он.

— Действительно, оболтус! Скорей поцелуйте, пока я не передумала.

Он подчинился указанию сверху и неуклюже поднялся с дивана.

... Светлая щель Между шторами на окне потемнела, когда Сергей Сергеич поднял голову с подушки. Роза спала, свернувшись калачиком рядом. Бутылка из-под водки стояла возле кровати. Выходит, они допили ее из горла. Нормальная женщина, благодарно подумал он: полная отдача души и тела, и никаких претензий. Сколько раз слышал о преданности еврейских жен и никогда не испытал на себе. Сам русак из русаков, и все мои жены были чистыми русачками. Значит, муж у нее уехал в Америку. Она отказалась. Когда надумала, они уже развелись.

А что если... Внезапно он положил ей руку на талию, притянул к себе и, чтобы разбудить, поцеловал. Она распрямилась и прижалась к нему, улыбаясь счастливой и беспечной улыбкой, как девочка, которую осчастливили поцелуем первый раз.

— Послушай, — сказал он. — А что если мы поженимся?

— Ты с ума сошел! — Она тоже перешла на ты. — Ни за что!

— Нет, я серьезно. Серьезно! Женимся, уезжаем в Израиль, в Америку, к черту, к дьяволу, лишь бы туда, где нет истории КПСС. Даже если ты еще любишь мужа, то вывези меня с собой к нему.

— Я его давно не люблю, но что ты там будешь делать, оболтус несчастный?

— Что угодно, только не то, что здесь. Например, косить траву. Буду косить траву! — громко выговорил он.

— Траву? — спросила она, проснувшись.

— Какую траву? — не понял он.

— Вы только что сказали — косить траву...

Весь предыдущий разговор состоялся у него в уме, и только «косить траву» вырвалось вслух.

— Который же теперь час? — спросила она испуганно.

— Половина десятого.

— Боже, в десять, к закрытию, я должна забежать в библиотеку.

— Зачем?

— Нужно. Отвернитесь, я оденусь.

— Не отвернусь. Я хочу посмотреть.

Она собрала свои одежки, раскиданные по полу, и убежала в ванную. Он встал, тоже оделся. На диване лежала ее сумочка. Он оглянулся на дверь ванной, вынул из кармана письмо и, опустив его в сумочку, защелкнул ее. Она вышла из ванной, продолжая взбивать руками волосы. Деловито спросила:

— Посмотрите на меня — все в порядке? А то я еще не в своем уме.

— Ты в абсолютном порядке. Пилотаж высшего класса.

— Правда? Спасибо. А вы как?

— «Он достиг высшего счастья на земле — отсутствия всяких желаний». Это не я, это римский историк Тацит.

— А вы?

Желаний у него не было. Но и счастья он тоже не ощущал.

— Прощайте, профессор.

— Я тебя провожу.

— Никогда! Здесь близко, десять минут. Я сама себя провожу.

Она тихо притворила за собой дверь. Он постоял минуту, колеблясь, догнать ее или остаться. Махнул рукой, в пиджаке, при галстуке, в ботинках завалился в кровать и мертвецки заснул.

Разбудил его вежливый стук в дерь. Никольский долго не мог понять, что к нему, с трудом продрал глаза. За окном

рассвело. Он встал, покачиваясь, поглядел на себя в зеркало, пятерней причесал шевелюру, погасил свет в коридоре, который горел всю ночь, и отпер дверь. Это был инструктор из обкома, которому поручили проводить лектора ЦК в аэропорт.

— Доброе утро, Сергей Сергеич, — бодро заговорил он. — Как спалось на гомельской земле?

— Отлично, спасибо.

— Не буду вам мешать собираться, жду внизу, в машине. Времечко поджимает.

Придется быстро спуститься. Если удастся, выпить кофе в аэропорту, а побриться и умыться в самолете. Он поднял с ковра бутылку водки. Хотя бы глоток, чтоб не трещала голова. На дне не осталось ни капли. Сергей Сергеич стал бросать пожитки в открытый чемодан.

В черную «Волгу» с двумя нулями он сел молча. Быстро покатили в аэропорт. Инструктор оказался говорливым, видно, натренировался сопровождать начальство.

— В обкоме очень высокого мнения о вашей лекции. Много вы сказали такого, о чем мы только догадывались. Ну, и реальные перспективы.

Никольский кивнул, рассеянно глядя в окно.

— Работать в новых условиях становится, конечно, трудней, — сказал инструктор.

— Трудней, — кивнул Никольский.

— Но зато интересней, — бодро сказал инструктор.

— Интересней, — подтвердил Никольский.

Инструктор поднес чемодан Сергея Сергеича к стойке для регистрации пассажиров. Рейс на Москву отправлялся вовремя. Они сердечно пожали друг другу руки.

— Приезжайте к нам еще!

Зарегистрировав билет, Никольский хотел войти в дверь, за которой спецслужбы проверяли багаж и тело.

— Вам без проверки, — сказала дежурная. — Во-он там, через комнату для депутатов Верховного Совета.

Тут Сергея Сергеича кто-то потянул за рукав.

— Здрас-сте! Вам просили передать...

Перед ним стоял мальчик с чубом, зализанным теленком. Никольский сразу его узнал. Мальчик протягивал сверток — что-то, завернутое в газету. Сергей Сергеич пожал плечами.

— От кого?

— От мамы.

— А кто мама?

— В библиотеке работает.

— Роза?

Только теперь до него дошло.

— Что это?

— Мама сказала, после поглядите. Ну, я пошел...

Никольский усмехнулся этой провинциальной сентиментальности: подарок на память.

— Ладно. Спасибо. Привет маме. Желаю тебе прочитать все книги на свете, как ты хочешь.

— Все книги не хочу. До свиданья.

Мальчик-то на нее похож, подумал он. Сразу мог бы догадаться. Сверток оказался тяжелый. Едва Никольский сел в самолетное кресло, он развязал веревочку и развернул газетную обертку. У него на коленях оказались книги — три книги, автором которых считался он сам, С.С. Никольский. На обложках были наклейки с шифрами и штампы Гомельской областной библиотеки.

— Ненормальная баба, — пробормотал он вслух, ни к кому не обращаясь. — Нет, она точно ненормальная..

Тут на колени ему выпал из книги конверт с отпечатанным в углу текстом: «Гомельский обком КПСС». Конверт был разорван, и Сергей Сергеич его узнал. Никольский тут же вытащил из него две пятидесятирублевки, которые вчера вечером сунул в этом конверте Розе в сумочку.

— Сумасшедшая! Черт дернул связаться с такой дурой. Я же хотел, как лучше. Как лучше хотел...

Он резко поднялся и между усаживающимися пассажирами и сумками стал пробираться по проходу к туалету. По дороге он сунул деньги в карман пиджака. Возле туалета он остановился и все три библиотечные книги с остервенением швырнул в мусорный ящик.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

Первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через пятьдесят лет после трагических и загадочных событий московским писателем, который рискнул сопоставить официальный миф с историческими документами и показаниями последних очевидцев.

Правда о Павлике Морозове, официальном пионере-герое № 1, убитом кулаками, противниками колхоза за то, что мальчик разоблачил своего отца, врага советской власти, тщательно камуфлировалась в течение полувека. Писатель Юрий Дружников отправился в Сибирь, на родину Павлика, а затем объехал одиннадцать городов в поисках оставшихся в живых родственников, очевидцев, свидетелей. Он фотографировал места, людей, документы, сохранившиеся в частных архивах, и записывал показания свидетелей на пленку.

Оказалось, что герой-доносчик не был пионером, колхоза тоже не было. Сын донес на отца вовсе не ради советской власти. И убит мальчик был не кулаками. Их в деревне вообще не существовало. Автору книги удалось разыскать и сфотографировать подлинных убийц, нити от которых тянулись к начальнику Особого сектора личного секретариата Сталина.

264 стр., 75 фотографий, цена 6 дол.
Книгу можно заказать в издательстве OPI
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 1TU, England
или в книжном деле
A. Neimanis
28 Bauerstrasse
8000 Munich 40, West Germany

А. ЛЕИН

ПУТИ НЕВОЗВРАЩЕНЬЯ

М.М.

Не мечтается, не спится и не пишется,
В комнате бессонница не гость,
В темноте костер луны колышется
В окружении замерзших звезд.

Облако подкрашенное лунностью
На спине задумчивой реки.
Замечаю я, простившись с юностью,
Чувств моих скудеют родники.

Тишина спокойствием банкротствует,
Растеряв иллюзии свои,
Около меня тревога бодрствует,
Путаясь в сомнениях моих.

На дорогах памяти колышутся
Привидения минувших лет...
Не мечтается, не спится и не пишется
Красное вино разлил рассвет.

* * *

Игрок, задира, шумный враль,
Притихший или снова праздный
Играет с городом февраль
Всегда особенный и разный.

Сегодня снег, вчера был дождь,
Метель придти грозится завтра,
Венецианский юный дож —
Мороз сквозь оттепель на завтрак.

А в полдень грустный он, как бард,
Перебирает ветра струны,
Он в неизбежность смотрит — в март,
Своей кончины слыша трубы.

Завороженная игра,
Трубы настойчивей призывы...
До новых дней прощай, февраль,
До новых игр веселых, зимних.

* * *

О, как мы к надеждам доверчивы
В растрате души своей сил,
Глядя в одиночество вечера,
Не верим, что он наступил.

Мы веруем с детской беспечностью,
Не слыша подсказки ума,
День каждый кончается вечером,
Как осень хоронит зима.

Идя по судьбе переменчивой,
Стремленья уже износив,
О, как мы к надеждам доверчивы,
В растрате души своей сил.

* * *

Тишина как внимательность
Ожиданьем полна,
Словно глаз надзирателя
Смотрит на ночь луна...

* * *

Вечер, спелая лунность,
Моря прибой в разгуле,
Лета уходит юность
Жарким дыханьем июля.

Волны бегут белогривы
В береговую жаждость,
Месяц набухшей сливой
В облака падает жадность.

Сыпется в море лунность,
И в распененность гула
Лета уходит юность
Жаркой тропой июля.

РАЗЛУКА

Ни тебя нет больше, ни меня,
Друг без друга мы с тобой сироты,
Поезда зеленая змея
Уползла в сугробы поворота.

Мы с тобой не крылья для разлук,
Мы с тобой единое понятье,
Замыкает судеб наших круг
Только наши радости и счастье.

Ничего не мило без тебя,
Горизонт в вечерней позолоте,
Поезда зеленая змея
Уползла в сугробы поворота.

* * *

Поставлен на августе крест
Листопадом шальным сентября,
Осиновой дрожью лес
Поклонился осенним ветрам.

Треугольник тоски — журавли,
Укоризненный крик полей,
Униженье самой земли,
Когда бьет ее дождь как плеть.

Эмигранты спешат журавли
На далекий и разный юг.
Облака — на мели корабли
С полинялой синью кают.

* * *

По лестницам чужого интеллекта,
За мыслями холодными из книг
Мой разум, как души моей двойник,
Оудья мой, рентгенолог и проектор.

Не за броней словесною цитат,
Запрятанных за глянцевой обложкой
Я собираю опыт свой по крошкам,
Как месяц ночью звезды наугад.

И за плечами памяти и лет
Дороги и пути невозвращенья,
Где со стихами перевоплощенья
Тетради отдыхают на столе.

* * *

Рассвет взмахнул рукой
Над облаком умытым,
У ивы над рекой
Спина в радикулите.

И ей не разогнуть
Опущенные плечи,
Ложатся ей на грудь
Слова спешащей речки:

«Не старость, не года
Тебя вот так согнули,
Такою ты всегда
Склоняешься, тоскуя».

И в зеркале воды,
Средь облаков гулящих
Дрожит зеленый дым
От веток вниз глядящих.

* * *

Тихо. Не спится. Светает.
Звездные в небе крошки.
Слышу: каштан отцветает
Там вдалеке за окошком.

Белая легкость цветения
Падает грустью и болью,
Белые легкие тени —
Чистой зари изголовье.

С неба уходит месяц,
Звезд подбирая крошки.
Кружево белых брошек
В листья каштан повесил.

* * *

Когда-нибудь мне скажут, что я вор,
Что я украл у времени беспечность,
Заботы не заваливал на плечи
И не вступал со случаем я в спор.

Я был, как без команды корабли,
Плывущие по ветру, по теченью,
Без одержимости и увлеченья
Изменчивые волны их пасли.

Прозрение со зрелостью пришло,
Как трезвость с опозданьем
Теперь мечты, как люди на вокзале,
Спешащие в дорогу с багажом.

* * *

На небе вспыхнула звезда
И в темной ночи растворилась,
Вот так уходят поезда
В страну невозвратимость.

Так в багровеющий закат
Хоронит время день умерший,
И как всегда погибших в спешке
Земли объятья для солдат.

Родится новая звезда,
Для новых войн взрослеют дети,
И беспрерывны поезда
В невозвратимости столетий.

* * *

И шепот листьев ночь ласкал,
Заботы дня уже заснули,
Как желтый парус в облаках
Луна далекая мелькнула.

Без опоздания рассвет
Раскинет снов последних нити...
Сквозь тщетность прожитости лет
Мы небытью вернем кредиты.

Неся в себе самообман,
Что наша жизнь не быстротечна,
Жизнь отдаем свою мы в банк,
Которому названье — вечность.

Ах, время, время! Как летит,
Совсем не зная пресыщенья,
И гарантирован кредит
Без опозданий возвращенья.

* * *

В утро день уже вышел,
Сквозь разбросанность снов,
Как назойливый нищий
Дождь опять за окном.

То он лужи морщинит,
То их гладит потом,
Словно пьяный мужчина
Дождь опять за окном.

И в заплащенность улиц,
В торопливость зонтов,
Как людей пересуды,
Дождь идет за окном.

* * *

Еще не весна, но уже не зима,
Пока еще неоднозначность,
Ныряет рассвет то в холодный туман,
То в синюю неба прозрачность.

Качаются сосны под ветром шальным,
Как будто гребцы на галере,
Огромный шершавый и грязный налим
Шевелится города серость.

Еще не весна, но уже не зима,
И робкая входит апрельность
На улицы, где открывают дома
Людского тепла беспредельность.

* * *

Закатилось солнце
Вдаль за горизонт,
Воду из колодца
Вечер тихо пьет.

Убаюкал ветер
Листьев разговор,
Облака, как дети,
Небо — старый двор.

Залохмачен воздух
В темный ночи дым,
Зашептались звезды
В зеркале воды.

Выпорхнул из леса
Дикий крик совы,
Опустился месяц
На ковер травы.

Вспуганною выпью
Промелькнула тень,
Ночь и эту выпьет
Наступивший день.

* * *

Воспоминаньями умоюсь,
Очищусь детскою мечтой,
И износившуюся совесть
Вечерней высвечу свечой.

В уюте отдыха, покоя,
В гангрене лени, полусне
Мне неподвластный сердца нерв
Живет стихами, как в запое.

И в незнакомость уходя,
В пути запутавшись раздумий,
Воспоминанья — хрупкость мумий
Спят в саркофаге «никогда».

* * *

Старый год на пути забвения,
Декабря отзвенит мопва,
Как по небу стихотворения
Стаи птиц пролетят — слова.

Своры гончих — ветра холодные
Развлекаются на снегу,
Словно пугала огородные
Дерева с чернотою рук.

А столетия в повторениях,
С новой шляпою голова,
А по небу стихотворения
Стаи грусти летят — слова.

Там, где даль качает синим боком
Белую прозрачность облаков,
Ветры спят за пазухою Бога
И дожди, и простыни снегов.

Там, где вечер день уже хоронит,
Там, где ночь для вечера — погост,
Ходит месяц, как по огороду,
Собирая спелость ягод-звезд.

И туда, в загодочность немую,
Там, где пьет вино ночи заря,
Опущусь я легким поцелуем,
За бытье свое благодаря.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУКШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУКШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги — 15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIQHWOOD AVENUE
LEONIA. NJ 07605. USA
Tel.: (201) 592-6155

Андрей ГОРЛОВ

ЗЕМНЫЕ ЧУДЕСА

Мне бы только сверкающий меч
Чтобы волны морские рассечь,
И над валом огромным воды
Я воздвигну сверкающий храм,
И холодные мертвые льды
Мне надежды откроют сезам...

1983

* * *

Я устал; сквозь кожу шьет,
Бьет наотмашь, хлещет ветер,
В спину тычет, гонит, шлет
К дому, к дому поздний вечер,
Огоньки во тьме горят —
То ли люди, то ли звери,
Я — бреду, потупив взгляд...

СТАЛИНГРАД

Их память хранит
Один лишь гранит,
Один лишь остывший гранит.
Заржавленный танк
Где левый был фланг,
Где правый — бетон серых плит.

Отчаянный флаг,
Ты помнишь атак
Сверкающий смерч средь руин?!
Ты помнишь свой шаг,
И черный овраг,
И скрежет, и грохот от мин?

Но тихо вокруг,
Бессмертный мой друг
Покоится здесь без креста.
И горько слеза
Закрыла глаза...
Могильные это места.

1986

* * *

Третьи сутки туман
На вершинах лежит,
Желто-белый дурман
Усыпляет, молчит.
Он прикроет меня —
Или я упаду,
Или может быть я
До вершины дойду?

1983

* * *

Где-то там, за горизонтом
Берег прячется пустынный,
Там волна хрустальным фронтом
С тихим вздохом гребнем длинным
Набегает на песчаный
Золотистый дикий пляж.
Где-то там, за синим морем
Солнце светит ярким светом...
Снег далекий, снег искристый
Серебрит лишь горный кряж.

* * *

Она пришла...
Два раза постучалась.
Но дверь была закрыта на замок.
В тот день ее фигурка мне встречалась
В оранжевом накинутом манто.
«Соскучились по мне?» —
Она спросила,
«Соскучился?» — звучал ее вопрос.
«Еще бы!» — я ответил через силу...
Точнее мне ответить не пришлось.

* * *

Золотая рыбка, золотая рыбка!
Долго я ходил
С протянутой рукой,
Золотая рыбка, золотая рыбка!
Жаль, что я бродил
С разорванной сумой.
Подаянье нищему —
Редкая удача,

Не бросают тыщ ему,
Вот ведь незадача.
Что ж вы, ветры, свищете
Бойкие напевы?
Счастья не отыщете
В нищенской суме вы.

1984

СТОИЛО ЖИТЬ

Впереди — алмазные россыпи!
Но тяжелый крутой подъем,
Камнепады, лавины и осыпи
Ждут тебя на пути твоем.
Но с дороги своей не сворачивай,
Пусть твой шаг будет четок и прям,
Хлеба черствого корку заначивай,
Будь хитер, будь жесток и упрям.
Удержись от глотка последнего
По безводной пустыни идя,
Среди зноя палящего летнего
Сбереги его — для себя.
Ты под солнцем, палящим безжалостно
От лежанья в тени удержись
И, стирая ступни свои яростно,
Лишь вперед, на вершину стремись.
Если труп при дороге качается,
Поклонись, но не сдерживай шаг
Здесь надежда твоя начинается,
Подбери оброненный здесь флаг
И иди — пусть, дорогой истерзанный,
Весь в пыли ты, и глотка хрипит
И свой след оставляешь изрезанный,
Кровью харкая в пыльный гранит.
Но иди — прочь сомненья и горести,
Прочь коварный, доверчивый взгляд,

Прочь спокойствие духа и почести,
Прочь безвольной наивности яд!
Цель одна и надежда заветная,
Только это должно ворожить —
Вдруг рассеется тьма предрассветная,
И ты скажешь: «Мне стоило жить».

1985

ЛУННЫЙ СВЕТ

Башни, как тени, шорох от ветра,
Гулкие своды тают во мгле,
Месяц сквозь окна бросает отсветы,
Желтым пятном отражаясь в стене.

Мир под луной ускользает на запад,
Прячет сокровища ночи луна.
Блики скользят по безлюдному замку,
Падает светлая с неба струна.

1982

* * *

Я сижу на краю
Я давно не пою
Я смеяться давно не могу
Только кровь на губах
И песок на зубах
И горечь от дыма и пепла во рту.
И не снятся мне сны
И вокруг не видны
Лица тех, с кем хотелось идти
Только слезы в глазах,
Только кровь на губах
От бессмысленных драк по пути...

1984

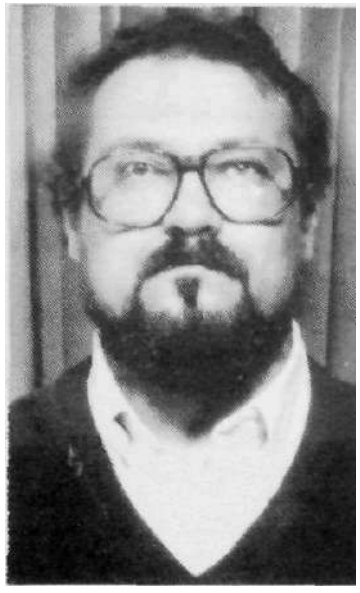
* * *

Как жаль — уходит лето...
Мгновения земных чудес
Передо мной, как два билета
В один конец, в другой конец...

Я, словно в старой вагонетке
Над пропастью проделал путь
И уронил свою монетку
Туда, откуда не вернуть.

Я отыскать ее пытался —
Глазами б только проводить,
За трос стальной рукой хватался
Но все ж не смог остановить.

Так глупо проскочил транзитом
То место, где хотел побыть,
Так странно потерял сквозь сито
Ту вещь, что лучше б сохранить...



Петр БОЛДЫРЕВ

ОБРАЗ ВРАГА

Ален Безансон:

«Не имея намерения разыгрывать из себя экономиста, я собираюсь предложить лишь исходные положения, или принципы, но такие, по крайней мере, чтобы специалист по политической экономии мог бы на них опереться, затем развить их и подробно разработать, чтобы в конце концов попытаться придти к каким-то количественным оценкам»*.

Эти слова полностью соответствовали и моим намерениям, когда я принимался за данную статью. И если мне удалось их реализовать, хотя бы частично, я буду вполне удовлетворен. И мне, подобно Безансону, не останется ничего другого, кроме надежды на появление специалис-

* А. Безансон. Анатомия одного призрака: политическая экономия реального социализма. В сб. «Русское прошлое и советское настоящее». OPI, London, 1984, сс. 279-80.

та-политэконома, который заинтересуется и подведет солидный экспериментально-цифровой фундамент под теоретические соображения, мной высказанные.

1

Специалисты, оценивающие рыночную экономику и сравнивающие работу различных отраслей общественного производства, в том числе военной и гражданской, часто оперируют понятием «экономика Робинзона Крузо». Моделью здесь, как видно из самой метафоры, является поведение человека, поставленного лицом к лицу с природой, старающегося выжить и, по возможности, преуспеть. Суть же модели в том, что изначальная ограниченность наличных природных и трудовых ресурсов диктует непреложное экономическое правило: все, что производится, производится за счет другого. И альтернативы здесь, в обозримых пределах наших экономических возможностей, пока нет. Послушаем, что говорит по этому поводу известный американский экономист Генри Хазлитт.*

Для упрощения проблемы Хазлитт предлагает представить Робинзона на его необитаемом острове. Он нуждается одновременно и одинаково остро во многих вещах. Ему нужна вода и пища, кров, одежда, защита от хищников и дикарей. Но он, очевидно, не может получить все это вместе и в одночасье, но лишь попеременно и по частям. Ибо если он, допустим, собирает воду, то он в это время не ловит рыбу, не охотится, не шьет себе одежду, не сооружает жилье. А если охотится, то не собирает воду...

Если представим теперь группу или семью Робинзонов, то их положение, конечно, легче. Появляется, правда, больше ртов, но зато и больше рабочих рук. Можно практиковать разделение труда и специализацию работников.

* Henry Hazlitt. Economics in One Lesson, 3rd ed. N.Y.. 1979, pp.i04-I05

Тогда в одно и то же время одни будут собирать воду, другие охотиться, третьи строить жилище и т.д. Но и в этих облегченных условиях нельзя себе позволить, чтобы одна работающая «бригада», скажем, охотничья, бросала вдруг свое занятие и кидалась помогать другой «бригаде», скажем, собирателям воды. И лишь на том основании, что таким образом вся компания будет иметь больше воды. Ибо что топку в излишке воды, если в результате все останутся без пищи. Или какая польза от излишка пищи, если плата за него — отсутствие воды.

Аналогичное правило — или, если угодно, «закон Робинзона», — распространяется на любое рационально представимое общественное производство. Ибо наличные ресурсы везде и всегда ограничены, их все время приходится альтернативно возмещать. Вот почему в совокупном экономическом «эквилибриуме» (системе) производство, допустим, карандашей всегда идет за счет производства, например, бумаги. В том смысле, что ресурсы, затраченные на первое пропадают для второго. И если вы хотите увеличить производство бумаги, вы должны воздержаться, по крайней мере временно или частично, от производства карандашей.

Взаимоотношение военного и гражданского секторов производства, взятых в целом, подчиняется тому же правилу. Нет изолированного, «самостийного» производства «пушек», как нет такового и в отношении «масла». В общей экономической калькуляции любая отрасль производства, не исключая вооружения, может быть расширена только за счет всех других отраслей, отнимая у последних капитал, трудовые ресурсы, землю и переадресуя все это на самое себя. И в то же время не обязательно снижая общую, суммарную эффективность производства, так как все здесь зависит от сравнительной рентабельности затронутых отраслей. Так что если производство «пушек» рентабельней производства «масла», то от «перекачки» ресурсов на пушки рентабельней становится и вся данная экономическая система. В том смысле, что большая часть ее, превращаясь в военное или околовоенное производство, становится рентабельней. А менее рентабельный, или совсем нерентабельный сектор — гражданское производство — сокращается.*

Образуется порочный круг. Растущая прибыль, полученная от расширения рентабельного военного производства, неизбежно идет на дальнейшую экспансию этого же производства,. Уровень жизни населения, соответственно, ползет вниз, несмотря на победные фанфары по поводу роста общественного производства. В этом парадоксе и выразилась та опаснейшая ловушка, в которую надолго провалилась экономика СССР.

2

Экономическая неэффективность гражданского сектора советской экономики стала уже притчей во языцех. Поистине, ее прототипом не может быть Робинзон. В противном случае, иронизирует Безансон, «нужно представить себе планирующие органы, руководство профсоюзов и администрацию предприятий в виде Пятницы, подчиненной Робинзону как непостижимому и абсолютному повелителю. Кроме того, нужно представить себе, что сам Робинзон состоит на службе социализма».**

Робинзон — это прототип частнособственнической предпринимательской системы, «благоустраивающий свой остров с помощью тех ресурсов, которыми он располагает, и собственного труда». Робинзон не гоняется за утопиями, за «журавлем в небе». Он держится за единую и единственную экономическую реальность, за «синицу в руках».

---

* Под рентабельностью здесь берем, вслед за Хазлиттом, простейшую экономическую величину, — разницу между стоимостью, или ценой произведенного товара и издержками производства. Ясно: чем рентабельней, эффективней производство, тем эта разница больше.

* * Безансон, там же, с.340.

«Синица» — это капитализм, рынок, товарная экономика, ориентированная на потребителя. «Журавль» — это социализм, план, экономика, ориентированная на производителя. Компартию не интересует «синица» как таковая, но лишь постольку, поскольку оказывается невозможным без ее эксплуатации изловить «журавля».

Именно из необходимости такой эксплуатации вытекает чисто большевистское искусство управления советской экономикой, стремящееся, как учил еще Ленин, использовать в целях социализма его главного врага. И он же, Ленин, был первым, кто продемонстрировал это искусство на практике, отвергнув в 1921 году планы перманентной революции Троцкого, взамен декретировав нэп. Революция же Троцкого вела к полному уничтожению капитализма, но ставила тем самым под смертельную угрозу «завоеванный в боях» социализм.

Вторым мастером, настоящим ленинцем, проявил себя Сталин, в кульминационный период им же затеянной тотальной коллективизации деревни «вовремя остановившийся перед «головокружением от успехов», которое было головокружением над пропастью небытия».*

Третьим претендентом на те же лавры и на ту же роль (если опустить интерлюдию с Хрущевым) оказались нынешние советские «перестройщики». Они вновь ухватились за капитализм как за палочку-выручалочку тонущего социализма, допускают социалистические паллиативы капиталистического рынка, поощряют суррогаты свободного предпринимательства вроде индивидуальной трудовой деятельности, рентабельности социалистического предприятия, широкого хозрасчета и т.п. А буквально на днях появился новый сногсшибательный термин — социалистический(!) фермер. «Социалистический» — это значит сидящий между двух стульев. Это советский колхозник, берущий землю у государства лишь в аренду, т.е. отчужденный, как и раньше, от краеугольного камня любого свободного

* Там же, с.297.

предпринимательства — права частной собственности. А без последней, какая уж тут рентабельность, какой реальный, а не суррогатный и сиюминутный хозрасчет?

3

Однако партии Ленина-Сталина с катастрофически возрастающими трудностями удается сохранить все эти суррогаты, этот неестественный баланс рынка и плана, капитализма и социализма в вотчине социализма. Они, как гений и злодейство, оказываются вещами несовместными.

Рынок с его конкуренцией, как описывает нобелевский лауреат по экономике Фридрих Хайек*, органически не терпит партийных (и любых иных) директив. Он по природе своей свободен и не имеет ничего общего с фиктивными плановыми показателями, высосанными из пальца, рождающимися не из экономической конъюнктуры, а из самих себя. Рынок, наоборот, есть именно процесс раскрытия подлинной, точной, объективной экономической информации, а рыночная конкуренция — ее тончайший зонд.

Если перефразировать знаменитые слова Ренана о нации, то рынок — это вечный, никогда не останавливающийся «экономический плебисцит». Отказаться от рынка — значит оскопить экономику. Вне рынка экономика неподвижна, она мертва.

И бесполезно пытаться вызвать рынок из небытия, по указке или заклинанием. Рынок — не волшебная дубинка из русской сказки о Емеле: «по щучьему велению, по моему хотению» он по чужим спинам, как план, гулять не пойдет. Его не декретируешь законом, не введешь постановлением Пленума, никакими партконференциями его не оживишь. Его, как говорится, «аршином общим не измеришь», у него «собственная гордость», «особенная стать». Ибо

* F.A. Hayek. Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, 1948, pp.92-106. Also New Studies in Philosophy, Politics. Economics... Univ. of Chicago Press, 1978, pp.179-90.

слишком чувствительна к политическому и идеологическому вмешательству и легко ранима оказывается деликатная «телекоммуникативная» (выражение того же Хайека) система рынка. Такую систему, если раз разрушишь, потом трудно чем-то заменить.

Вот почему плановая социалистическая экономика как альтернатива рынку (не в бюрократических бумажных отчетах, а в реальном своем функционировании) и оказалась ровно настолько дезорганизованной и нерентабельной, насколько она тужилась выполнять план. Она сохранила кое-какие реликты рациональной организации и хотя бы бледную тень рентабельности, поскольку не выполняла плановые задания, а апеллировала к последним остаткам здравого экономического смысла, ошельмованного советской новоречью как «пережитки капитализма» и «происки классового врага». А также поскольку опиралась на некоторую, еще доступную объективную информацию, источником которой, вопреки монополии плана, был нелегальный «черный рынок». Эта «вторая экономика», фактически была первой и единственной экономической реальностью, более или менее заслуживающей этого названия в СССР.

Впрочем, не совсем единственной. Несколько неожиданно она делила это уникальное место с прямо противоположным, привилегированным полюсом советской экономической системы — военным производством. Тем производством, к которому, по логике системы, тяготеют и стараются приспособиться все остальные отрасли производства. И все программы социалистического планирования. В чем же особенность, даже исключительность этого производства в Советском Союзе?

4

Военное производство в условиях плановой внерыночной экономики действительно занимает совершенно особое место. Именно тем, что при фактическом отсутствии легального рынка оно-таки в рынок включено. И в рынок вполне легальный. Имеется в виду международный рынок оружия — с его настоящим рыночным спросом и предложением, с реальной стоимостью и ценой. Вот почему производство «пушек» в Советском Союзе куда как эффективней и выгодней, чем производство «масла». И вот почему военное производство — это тот стержень, вокруг которого еще как-то существует и кормится советский экономический бедлам. Послушаем характеристику этого витального при социализме стержня у Безансона:

«Военное производство является приоритетным, эффективным, ставящим перед собой реальные цели... Управление военной экономикой было первым экономическим вопросом, за которое взялось правительство Ленина... Эта эффективность не является недосягаемой в рамках советской системы при условии, что речь идет о поддержании конкурентоспособности, выраженной в конкретных терминах. Например, требуется произвести столько-то танков, обладающих такими-то характеристиками. Поставленные цели являются ограниченными, ясно сформулированными, определяющимися уже существующими западными образцами: утопичности здесь меньше, чем в любом другом секторе советской экономики. Поскольку стимулирующие факторы максимальны, а политическое предписание намечает вполне достижимую (ибо уже где-то достигнутую) цель, то неудивительно, что в секторе 1 (военном — *П.Б.)* сосредотачивается техническая рациональность системы».

И далее, для нашей темы еще более важное:

«Дело в том, что продукция военной промышленности характеризуется количественно определимой р ы н о ч н о й с т о и м о с т ь ю (выд. мной — *П.Б.),* в то время как «гражданская» продукция таковой не обладает. Изделия военной промышленности являются объектом конкуренции — если не коммерческой, то, по крайней мере, технической. Их технические характеристики и показатели измеримы, их можно продать и они действительно составляют основную статью советского экспорта промышленных изделий. Прочие изделия, не испытывающие давления конкуренции, копирующие (и копирующие плохо) соответствующие западные образцы, продать значительно труднее, на мировом рынке они присутствуют в ничтожных количествах, и поэтому невозможно приписать им определенную рыночную стоимость».*

Мы выписали эти две длинные цитаты по той простой причине, что в них, собственно, вся суть. Рыночной стои-

* Безансон, там же, сс. 301, 302.

мостью, а следовательно и достоверной экономической информацией в условиях плановой экономики, обладают (помимо «второй» экономики» на «черном рынке») только «пушки». А социалистический, гражданский сектор способен получить такую информацию и, следовательно, повысить свою рентабельность лишь косвенно, через военный сектор, приобщившись, обслуживая его. Отсюда центральное, «солнечное», руководящее положение военной промышленности в общей системе социалистического производства. И рациональнейший в рамках этого производства стимул эту промышленность развивать. Ибо чем больше средств вкладывается в эту наиболее рентабельную сферу, тем меньше их расходуется непроизводительно, бесхозяйственно в гражданской сфере. И тем больше — в объеме всей экономики — получается отдача на вложенный капитал.

Так и получается при социализме: чем больше — в силу роста военного производства — вовлекается в него отраслей гражданского производства, тем более рентабельным становится само это производство.

5

Но и этими, в основном, внутренними причинами не исчерпывается экономическая выгода для Советского Союза от приоритетного развития военного производства. Есть еще причины внешние, не менее, если не более важные. Речь идет о так называемом «соревновании» капитализма и социализма, об угрозе для последнего со стороны «империалистической агрессии», «мировых сил реакции», «милитаризма» и т.д. А на деле — о необходимости для компартии, чтобы выжить, иметь, тщательно оберегать и заботливо лелеять, как у Орвелла в «1984», не только «образ Большого Брата», но и якобы вечно угрожающий социализму «о б р а з в р а г а».

Исчезни этот «образ», дальнейшее приоритетное развитие военного производства с идеологической и психологической точек зрения обессмысливается. И СССР теряет жизненно необходимый для него выход на международный рынок оружия, превращается в автаркичного, гнилого изнутри голема на глиняных ногах, бронтозавра, обреченного на естественное вымирание в силу все возрастающей неэффективности собственной экономики, резкого роста, за счет сужения военного сектора, и без того уже принявших катастрофические размеры непроизводительных растрат.

Вот почему так необходим для социализма военный сектор и, следовательно, «образ врага». Для него это единственный способ предотвратить или хотя бы оттянуть процесс своего экономического разложения и сделать это путем вздувания затрат на производство вооружения, втягивая в это дело Запад, ослабляя и истощая таким образом западный экономический потенциал.

Для капиталистической товарной экономики именно гонка вооружений и международный рынок оружия — первейший враг. Необходимость производить и продавать оружие — вот что подтачивает экономику Запада. Только по сравнению с плановой социалистической экономикой международный рынок оружия — экономический шедевр. — самим фактом того, что это все же рынок. Но по сравнению с внутренним, исключительно развитым и тонко налаженным капиталистическим рынком, внешний рынок оружия — примитивный и грубый механизм. Он работает плохо, с перебоями, не только из-за слишком большого «перепада» между развитием производителя-поставщика оружия (стран Запада) и его потребителя (стран 3 мира), но и из-за постоянной «политизации» экономических отношений между ними, вмешательства в экономические расчеты дипломатических и прочих внеэкономических соображений. Так что изъятие военного производства из внутреннего рынка западных стран — это малоприятная для них, разрушительная процедура. Она неизбежно, в соответст-

вии с «законом Робинзона Крузо», ведет к снижению их экономической эффективности, и потерям и без того ограниченных, требующих рационального использования средств.

Вот почему, согласно анализу американского экономиста из университета в Джорджии, профессора Дуайта Р. Ли «в экономически эффективных демократиях существует сильное политическое давление в пользу того, чтобы подчинить траты на военное производство интересам гражданского потребления».* Давление, обратим внимание, именно политическое, ибо не хватает экономических рычагов, слаба чисто экономическая «управа» на военный сектор, стоящий как бы над потребительским рынком.

А если бы и этого давления не существовало, то, пожалуй, капиталистическое производство в один прекрасный день сравнялось бы с социалистическим, — по бесхозяйственности, нерентабельности, расхищению ресурсов, растратам и т.д. Но пока разница сохраняется. И разница существенная. Приведем лишь одну из многих общеизвестных цифр.

Имею в виду сравнение роста заработной платы и производительности труда. Этот рост производительности труда для советской экономики, например, за пятилетку 1951-55, был 40%. Но реальная заработная плата выросла за тот же период лишь на 10%, т.е. росла в 3-4 раза медленней. Для остальных пятилеток эта пропорция в общем и целом сохранялась. Спрашивается, откуда такая разница и почему? Да потому что общий рост производительности труда обеспечивает не вся советская промышленность, но лишь те ее отрасли, которые работают «на войну». И происходит это за счет всех других отраслей, которые работают на нужды людей и именно поэтому при социализме коллективно захиревают. В точном соответствии с основным экономическим законом социализма, сформулирован-

* Dwight R. Lee. Soviet Military Strength Based on Economic Weakness. In the Freeman. Ideas on Liberty, August 1988, vol.38, #8, p. 297.

ном с «гениальной простотой» еще тов. Сталиным:

«Нам нужен не всякий рост производительности труда. Нам нужен определенный рост производительности труда, а именно, такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического сектора над сектором капиталистическим».*

Умри, Дантон, лучше (чем тов. Сталин) не скажешь! Так оно и прошло сквозной линией через всю экономическую историю СССР. Но что, спрашивается, делать, если жизненный уровень населения обратно пропорционален сталинскому «перевесу»?

При капитализме все наоборот. Сталинский «перевес» при капитализме, к счастью, не действует. Здесь именно гражданский сектор, работающий на народное благосостояние, прибылен по сравнению с работающим на вооружение и потому убыточным военным. И чем первый прибыльней, тем убыточней последний. Разница между ними иногда настолько велика, что когда выражена в цифрах и попадает в поле зрения общественности, то воспринимается как дурной сон или плохой анекдот. Над ним можно было бы и посмеяться, если б не выглядело все так плачевно. Взять хотя бы официальный индекс цен на различное оборудование, заказываемое американским правительством для военных нужд у частного сектора. Этот список был обнародован в 1987 г. вашингтонским Комитетом по борьбе с правительственными растратами. И над ним, наверное, до сих пор смеются и чертыхаются как наши консерваторы, так и либералы.

Оказывается, согласно списку, оптовая цена производителя, скажем, за пластиковую крышку в гражданском секторе равна 1 доллару. В военном секторе она стоит правительству 1000(!) долл. А, например, дверная обивка стоит в гражданском секторе 5.67, в военном — 94.50

* И.В. Сталин. Соч., т. 12, с. 79.

долл. Отвертка — соответственно 3 цента и 91 долл. Молоток — 15 и 435 долл. А непритязательный гаечный ключ, так вообще, 12 центов и 9609(!!) долл. Как говорится, хоть стой, хоть падай. Не удивительно, что средний американец — потребитель и налогоплательщик — протестует во все горло, усиливает давление на свое правительство, чтобы снизить хоть до минимально разумного предела долю столь абсурдно непроизводительных военных затрат.

В СССР в таком абсурдном положении находится не военный, а гражданский сектор. Это и ведет к его постепенной деградации и разорению. И, соответственно, к экономической деградации населения. Но именно это укрепляет военную машину и государственную мощь. И дает социализму неоценимое преимущество в так называемом «мирном соревновании» с капитализмом. Как констатирует тот же проф. Ли: «Советский Союз может быть менее эффективен, чем США, в производстве военного оборудования в абсолютном выражении. Но в относительном выражении это производство стоит меньше Советскому Союзу, чем США. Ибо в малоэффективном советском гражданском секторе экономики военное производство вытесняет гражданской продукции несравненно меньшей рыночной стоимости, чем в высокоэффективной гражданской сфере экономики США».*

Вот оно, диалектическое единство противоположностей, диалектика сталинского закона «перевеса» и «закона Робинзона Крузо»! Она, как и подобает «диалектике», плодотворно работает на социализм.

6

Ослабляется от такого «единства», и очень существенно, капитализм, что прекрасно сознают убежденные диалектики — советские руководители. И поэтому тратят на вооружение до 17% валового национального продукта, как сами признались во время недавнего визита в СССР американского министра обороны Ф. Карлуччи. Многие, правда, считают, что раза в два больше — до 40%, как утверждал, например, академик Андрей Сахаров всего лишь лет десять назад.

* Lee, ibid.

Впрочем, новые советские руководители, да и сам Горбачев, не обязательно скрывают и лгут. Скорее всего, они также, как и все их предшественники, жертвы ими же созданной бессмысленной, слепой экономической системы, оторванной от правдивой экономической информации и замкнутой на фиктивные плановые показатели. Доказательством чего служит августовское этого года (в беседе с прибалтийской интеллигенцией) признание Александра Яковлева. Признание, которое стоило бы любому западному (и не только западному) политическому деятелю всей его карьеры. Любому, но только не кремлевскому. А именно, что начиная в 1985 году перестройку, руководители ЦК КПСС даже и не подозревали об истинном положении дел в стране. А когда, спрашивается, подозревали? Да никогда, с тех самых пор как развалили рынок и перешли к строительству социализма, согласно пустой тавтологической формуле «от каждого по способности, каждому по труду».

Формула эта противоречит здравому смыслу по той простой причине, что ясно ведь и без марксизма-ленинизма, что выше головы не прыгнешь: естественно, что каждый человек работает по своей способности работать. А как же еще? А получать должен — по тому же здравому смыслу — не за абсурдный труд ради самого труда, не за производство ради производства, а за реальную пользу для другого человека, потребителя его труда.

Простая вроде бы истина, однако, до сих пор при громогласно объявленном «новом мышлении» (и, кажется, даже в большей степени, чем до него) не укладывается она в «диалектических» головах кремлевских руководителей. Иначе как объяснить, скажем, следующие пассажи:

«Политика перестройки все ставит на свои места. Мы в полной мере восстанавливаем принцип социализма: от каждого по способности, каждому — по труду, добиваемся социальной справедливости...»

Или:

«То, что подбрасывается нам с Запада, из другой экономики, для нас неприемлемо. Мы уверены, что социализм, если по-настоящему привести в действие его потенциал, соблюдать его основные принципы, включить в полном объеме интересы человека, использовать преимущества плановой экономики, способен на гораздо большее, чем капитализм».

Оба пассажа принадлежат не какому-либо «застойщику» брежневской эпохи, а самому что ни на есть главному «перестройщику» Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И взяты они не из какого-то случайного конъюнктурного интервью, а из его программной книжки-бестселлера, выпущенной только на русском языке тиражом около 300 тыс. экземпляров, и переведенной на многие иностранные языки.*

И вот оказывается, что до сих пор неведомо в Кремле, что труд человеческий должен оплачиваться по реальной рыночной стоимости произведенного товара, а не на основе произвольной стоимости, заложенной в план. И не на основе очередного произвольного зигзага генеральной линии партии, определяемой, между прочим, теми, кто из всей политэкономии социализма усвоили крепче всего одно: производи как можно больше пушек, гони их как можно дороже! Непрерывно нагнетай и наращивай тот самый сталинский, нацеленный на «преимущества плановой экономики» «перевес».

7

Мы надеемся, что из сказанного становится более ясной глобальная стратегия современного социализма. А заодно и внешнеполитические цели перестройки. Они вытекают из специфической комбинации нынешнего состояния марксистско-ленинской идеологии («нового мышления» руководителей) и объективной экономической ситуации в СССР. И комбинация эта складывается так, что ставит под сомнение реальную значимость призывов Горбачева к «новому этапу международных отношений», к признанию необходимости в ядерный век уничтожения «образа врага». Во имя якобы высшей цели — «возвращения человечеству бессмертия».

Реальное бессмертие человечеству не подаришь и не вернешь. Оно им, в сущности, никогда и не обладало. Человечество по самому определению (или по судьбе, если угодно) смертно. Признается это не только с религиозной точки зрения, (эсхатологическая доктрина конца мира), но и с точки зрения иной, научной — теория физической конечности вселенной, к которой, кстати, примазываются по своему классики марксизма, например, Энгельс*

А вот «образ врага» — с уничтожением страха перед ядерным оружием — восстановить будет легко. Даже, я бы сказал, он восстановится спонтанно. Особенно в нынешнем духовном климате так называемого «секулярного гуманизма» и его совсем уж нелепой крайности — атеизма, когда ослаб, если не исчез совсем, компенсирующий страх греха, и даже греха убийства. А если нет его, этого страха, да плюс отсутствует страх конца рода, то появляется третий компенсирующий страх — перед «образом врага». Согласно естественному и всеобщему закону психологической компенсации.

Этот страх и нужен более всего советским стратегам. Ведь тогда СССР в полном согласии с основным законом социалистического производства, но с еще большей энер-

* М.С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. М., Политиздат, 1987, ее. 26, 84.

* Имеется в виду его известное положение (кажется, из «Диалектики природы») о материи, которая некогда с железной необходимостью истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух. Энгельс, правда, добавлял, что когда-нибудь, где-нибудь в другом месте и в другой форме она его снова породит.

гией станет наращивать, взамен ядерного, свой и без того свирепый и устрашающий, конвенциональный арсенал. И с настолько большей интенсивностью, насколько конвенциональное вооружение дороже ядерного. А оно, надо сказать, очень прилично дороже, по всем без исключения статьям.

Социалистическая экономика от такой гонки будет становиться, в сравнении с капиталистической, все сильнее. Будет как бы наверстывать свое отставание, компенсировать его военным производством. И это даже при сохранении военного равенства или даже военного отставания от капитализма. А капиталистическая, включившаяся в ту же гонку (а что еще останется ей делать!), будет становиться, по сравнению с усиливающимся социализмом, все слабее. Даже при достижении на каком-то уровне военного превосходства над социализмом.

Советские руководители уже предприняли в этом обнадеживающем для них направлении первые шаги. Они успешно заключили с США первый в истории договор об уничтожении целого класса ядерных вооружений. Советское правительство продолжает давить на Запад в том же направлении, ставя перед человечеством новую «зияющую цель», — полное и безговорочное уничтожение всего ядерного оружия к концу 20-го века.

Параллельно продолжает наращиваться советское производство обычного вооружения, что и было подтверждено очередной раз во время упоминавшейся московской поездки Франка Карлуччи. Один из сопровождавших его американских чиновников поделился с членами Североатлантического пакта следующей «обнадеживающей» информацией: «К сожалению... СССР по-прежнему делает упор на укреплении танковых, артиллерийских, саперных и воздушно-десантных частей, всегда считавшихся наступательными. Мы, со своей стороны, заявили, что США всячески приветствовали бы любые доказательства перехода СССР к оборонительной тактике и к реальному сокращению военных расходов».*

Справедливости ради следует оговориться, что СССР не одинок в этом своем упоре. Не только советские руководители, но и западные левые либералы не собираются сдавать позиции и переходить «к оборонительной тактике и реальному сокращению военных расходов». По-видимому, это и является основной причиной того, что в избирательную программу кандидата в президенты США от демократов Майкла Дукакиса был включен пункт о «перемещении внимания с модернизации стратегического, т.е. ракетно-ядерного оружия США на так называемые обычные его виды». Добавим к этому, что на вопрос, как Дукакис относится к «феномену Горбачева», обычно следовал ответ: губернатор настроен в поддержку позитивных сдвигов, происходящих в Советском Союзе. Включая, очевидно, и вышеозначенный «упор».

8

Советские «позитивные сдвиги» и «упоры» как раз и являются приглашением к вальсу Запада с намеком на конвергенцию социализма и капитализма по социалистическому образцу. Ее главная цель, как и во все советские времена, все та же, сакральная: довести-таки слишком зазнавшегося своим высоким жизненным уровнем Запад до своего, социалистического уровня. А может быть, и ниже. Одним словом, слишком хорошо знакомое: «догнать и перегнать». Что с точки зрения всех советских руководителей от Ленина до Горбачева всегда было лишь вопросом времени — «история работает на нас».

Внешнеполитический аспект горбачевской перестройки и состоит в этом выигрыше времени, направленном на камуфляж, на традиционный для России маскарад под названием «мистификация иностранцев».

---

* Цит. по статье «Советская военная доктрина остается прежней», газ. НРС, 9 августа 1988 г.

В «мистификации» подобного рода все образы подходят, все символы хороши, включая... библейские. Например, для внутренего употребления, на тему «не хлебом единым...» с добавлением «и даже не современными материальными благами». Так, довольно цинично, стал обращаться с недавних пор к своему изрядно оголодавшему народу не кто иной как сам Горбачев. Такие призывы безотказно действуют на наивных и отчаявшихся людей из числа советской интеллигенции. Сомнительно, однако, чтобы они вдохновили и заставили перестраиваться широкие подсоветские массы, наверняка с огромным облегчением обменявшие бы на материальные блага свое слишком затянувшееся при социализме «крестьянское искусство голодать». Столь глубоко исследованное в одноименном очерке известным советским правозащитником Львом Тимофеевым, немедленно отправленным после этого на несколько лет поголодать в ГУЛАГ.

Советские руководители упорно продолжают подсовывать своим соотечественникам камень вместо хлеба , если все еще позволительно употреблять здесь библейский язык. А если отойти от него и перевести это «не хлебом единым» с евангельского на марксистско-ленинский, то получим следующее, переведенное самим же Горбачевым.

«Критерий тут один, — говорит он, называя в другом месте перестройку революцией сверху и снизу, — все, что укрепляет социализм — ко всему этому мы будем прислушиваться, со всем этим будем считаться. А с чуждыми социализму тенденциями будем бороться, но, повторяю, в рамках демократического процесса».*

Вот именно, «будем бороться». Но, позвольте, какая же это революция, какая же это борьба без «образа врага»?

Находим мы в приведенном высказывании и традиционную диалектику: борьба, мол, борьбой, революция революцией, да «в рамках демократического процесса». И чтобы разобраться, что имеется в виду в данной конкретной

* Горбачев, там же, с.55.

ситуации и в применении к Западу, мы должны еще раз обратиться к «закону Робинзона Крузо» и вновь подчеркнуть его двойственную роль. По собственной своей природе он работает, конечно, исключительно на капитализм; но в сложившейся ныне ситуации он работает амбивалентно, — на капитализм, но и против него. Происходит это из-за разрушающего влияния на мировую экономику социализма, органически неспособного ни сосуществовать с капитализмом, ни избавиться от него.

И поэтому там, где «закон Робинзона Крузо» работает против капитализма — увеличение затрат на вооружение — социализм всегда будет «в рамках демократического процесса» добиваться сокращения производства сравнительно дешевого ядерного оружия. А там, где «закон» этот работает на капитализм (сокращение военных расходов), как постановил Горбачев — там «будем бороться: будем всячески препятствовать сокращению дорогостоящего обычного вооружения, наращивать его производство, гальванизировать «образ врага».

Итак, социализм отнюдь не собирается отменять «образ врага» ради спасения человечества и мира. Напротив, он собирается и дальше, но более изощренно использовать его во имя спасения самого себя.

Вот какую альтернативу перестройки, вот какое ускорение предлагает сейчас советское «новое мышление» всему миру: от робинзоновского (и кантовского) образа «вечного мира» — к Ленинско-сталинскому вечному «образу врага».

ОТ РЕДАКЦИИ

Статья Петра Болдырева «Образ врага» не может не привлечь внимания читателей, И прежде всего потому, что автор предлагает нам новый, нетривиальный подход к анализу советской экономики. Он стремится показать, что сталинская тоталитарная система на протяжении всей своей истории не только стремилась к

необузданной гонке вооружений, но более того — развитие военной, милитаристской промышленности прямо отвечало ее экономическим интересам. Тогда как в условиях демократического общества мы видим обратную картину — гонка вооружений находится в прямом противоречии с интересами свободного рынка.

Но будучи справедливой в принципе, предлагаемая автором концепция не может быть автоматически перенесена в современные условия СССР. Вряд ли соответствует фактам его утверждение, что гонка вооружений сегодня там осуществляется с той же интенсивностью, что и при Сталине, что «образ врага», который так рьяно использовался в прежние времена, продолжает играть ту же роль и сегодня. Несмотря на всю половинчатость советской перестройки, мы не согласны с тем, когда сама перестройка рисуется лишь как очередная сталинская мистификация, призванная скрыть от мира подлинные цели советского руководства.

Можно с разной степенью доверия относиться к мирным, демократическим инициативам Горбачева. Но нельзя не видеть, что продиктованы они не просто его благими пожеланиями, но прежде всего тяжелейшим хозяйственным кризисом, переживаемым советской экономикой. Сегодня она уже не в состоянии соревноваться с Западом ни в мирных, ни в военных отраслях. По-видимому, это обстоятельство достаточно трезво оценивается Горбачевым, который любыми путями пытается вывести страну из экономического тупика.

Автор не приводит никаких данных в подтверждение тезиса о продолжающейся в СССР гонке вооружений, а лишь ссылается на заявления Горбачева о том, что он не отступит от завоеваний социализма. Однако, анализируя ход событий, мы не можем опираться лишь на коммунистическую риторику советского лидера — тем более остается неясным, в каких целях он ее использует: чтобы неуклонно следовать ей, как это делал Сталин, или, прикрываясь ею, осуществить преобразования, которые на деле приведут к отказу от социализма. Пока что реформы Горбачева не выходят за рамки авторитарной советской системы, но это верно лишь для сегодняшнего дня, и трудно сказать, что будет завтра. Все чаще создается впечатление, что реальная ситуация выходит из-под контроля режима. События в стране развиваются с такой молниеносной быстротой, что нам остается только гадать, к каким последствиям они приведут уже в ближайшем будущем.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 13 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С №1 ПО №100

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.
Для подписчиков — скидка 15%
Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:
Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

Владимир СОЛОВЬЕВ

2000 ГОД: МИР БЕЗ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Не в начале своего пути стоит Россия, а в конце.
Константин Леонтьев.

История движется неравномерно, рывками, у нее нет контроля скоростей. После стремительного десятилетия — с начала Второй мировой войны до победы союзников над Германией, захвата Советским Союзом Восточной Европы и победы коммунистов в Китае, наступил затяжной, на несколько десятилетий, период исторического застоя. Либо стабильности — зависит от того, как оценивать этот период: с точки зрения отдельного человека или с точки зрения всемирной истории.

История словно бы остановилась, запыхавшись от бега времени — даже ей понадобилась передышка, даже ее силы были временно исчерпаны. Либо исчерпаны силы народов, активно в истории участвовавших — русских, китайцев, японцев, европейцев, евреев, американцев. История поработала на славу — скорее, правда, как разрушитель, чем созидатель, унеся с собой десятки миллио-

нов человеческих жизней, но в любом случае, она заслужила отдых.

Локальные конфликты в Корее или в Алжире, в Венгрии или в Индокитае, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке — не в счет: они носили периферийный характер и геополитических сдвигов не произвели. Пусть даже ирано-иракский конфликт или кампучийский холокост обошлись в миллион человеческих жизней каждый, но исторической роли они не сыграли, ни к какому перераспределению мировых сил не привели. В историческом плане, самое большее — это был бег на месте . Л.Н. Гумилев ввел понятие «пассионарности», т.е. повышенной способности определенных народов поглощать больше энергии из окружающей среды, чтобы употребить ее затем на подвиги либо преступления. Иначе говоря, некоторым народам суждено играть активную роль в истории, другим пассивную. Конечно, принадлежность к истории — это не вечная приписка, одни народы прекращают свое историческое функционирование, продолжая существовать биологически и даже сохраняя иногда государственные формы, другие силой выхватывают у них историческую эстафету. Увы, ни одна нация добровольно не отказывается от своей исторической миссии, переход к «растительному» существованию — болезненный и кровавый. Опасность для историка-футуролога в том, чтобы не похоронить нацию заживо, как случилось, к примеру, в начале этого века с Тойнби, который назвал евреев «исторической окаменелостью», тогда как именно в этом столетии им суждено было сыграть одну из главных, если не ключевую роль. Что говорить, легче быть пророком, предсказывающим прошлое (историк, по определению Шлегеля), чем историком будущего...

Можно было бы даже сказать об остановке Истории, если бы не подозрение, что она просто ушла в подполье, копит силы, работает пока что подспудно, используя локальные конфликты как своего рода репетиции и гото-

вясь к новому выходу на сцену. Похоже, что исторический процесс опять набирает скорость. И к началу нового тысячелетия История снова явит свой трагический лик человечеству, вовлекая массы и материки, круша государства и народы, меняя границы и перекраивая карту мира.

С окончания Второй мировой войны прошло уже больше четырех десятилетий, и мир, каким он сложился в ее результате, безнадежно устарел — вместе с Историей на сцену рвутся новые герои, в то время как прежние не желают ее покинуть, хотя свою роль уже отыграли. Глобальное, геополитическое изменение мира уже началось, и потому мы должны быть готовы к неожиданному, парадоксальному развитию событий, чтобы не быть застигнутыми врасплох, как это произошло с человечеством в конце тридцатых годов. Тем более, как и тогда, нам вряд ли уготована роль только зрителей...

Какие же главные факты будущей истории проглядывают уже в сегодняшнем дне?

Прежде всего — это судьба советской империи. Второе — банкротство коммунистической философии, которая на многие годы определила политическое и экономическое развитие по крайней мере трети человечества. И наконец, радикализация и экспансия мусульманства, к которому принадлежит каждый третий человек на земле. Совсем недавно казалось, что три эти силы — Россия, коммунизм и ислам — ищут пути сближения, в частности в арабском мире. Однако кровавое столкновение двух идеологических мифогем — коммунистической и мусульманской — привело к беспрецедентному поражению Советского Союза в Афганистане, которое будет иметь далеко идущие последствия.

К сожалению, внешняя аналогия «Афганистан-Вьетнам» мешает разглядеть в отступлении СССР начало крутого поворота в мировой истории. Империя не может находиться в статичном состоянии — она либо расширяется, как это происходило с Россией в последние четыре столетия, либо

сжимается, как шагреневая кожа, и это верный признак ее надвигающегося конца. Еще Василий Ключевский обратил внимание на русскую традицию экстенсивного развития: «История России есть история страны, которая колонизируется». Афганистан был последней потугой России к традиционной экспансии. Потуга эта была закономерной, естественной — нелепо задним числом объяснять ее чьим-то просчетом и зачислять к числу авантюр либо ошибок. В таком случае, ошибка — захват Прибалтики, среднеазиатские походы Скобелева, покорение Кавказа, присоединение Крыма, борьба за Украину — вплоть до захвата Москвой Новгорода! А как быть с «собиранием земли русской» первым из русских князей Иваном — Калитой? Нельзя объявить ошибкой многовековой исторический процесс, даже если считать русскую историю аномалией. Кремлевские руководители действовали накануне Рождества 1979 года, исходя из того же имперского инстинкта самосохранения, который был стимулом для Сталина, Екатерины, Петра Первого либо Ивана Четвертого, хотя при нем страна еще не называлась империей. Однако — нашла коса на камень, все равно, что иметь в виду под последним: свободолюбие афганцев или поставки им современного оружия. А попадись русским народ менее свободолюбивый, и будь американский президент менее последовательным, чем Рейган, все было бы иначе? В том-то и дело, что суть не только в камне, но и в косе: коса уже не та! Военную неудачу в Афганистане следует рассматривать в контексте тотального кризиса, в котором очутилась страна-захватчик.

Ничто не вечно под луной, деградация русской империи связана не с бездарными лидерами типа Брежнева, на которого (вместе с его родственниками, что уж и вовсе нелепо) валят все грехи, но с самим ходом исторического процесса.

Русский народ перенапряг силы, создавая и приумножая свою империю — как сказал тот же Ключевский, «го-

сударство пухло, а народ хирел». Сейчас этот процесс захирения дошел до такой степени, что имперскому народу уже не под силу содержание собственной империи, она ему в тягость — глиняные ноги русского колосса больше не удерживают его непомерного веса. Другой вопрос — а что ему под силу?

Что мы наблюдаем сейчас в СССР — в текущий период гласности и перестройки? Мы можем растекаться по древу и перечислять — от «Доктора Живаго» до XIX партийной конференции, от образования Народного фронта в балтийских республиках до контрпереворота Горбачева осенью 1988 года, от — до, от — до... События нас, однако, опередят, и когда выйдет номер с этой статьей, многие из них устареют, их место займут новые: скажем, «Правда» перепечатает эту статью или в киосках «Союзпечати» появится в свободной продаже «Время и мы». Однако ни один из этих фактов повлиять на исторический процесс не может (я уж не говорю, изменить его).

Возьмем самый крупный из них — XIX партконференцию. Там, к примеру, договариваются о достижении полного единства советских наций — и это на фоне событий в Нагорном Карабахе, в Литве, в Эстонии, в Латвии, в Средней Азии! Ханжество? Лицемерие? Партийная демагогия? Двойное мышление? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? Ну, как тут снова не вспомнить так и не опубликованный пока что труд Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли»: смешение этносов и их культур приводит лишь к этническим химерам. Химеры — это все, что остается умирающей империи даже в период гласности?

Короче, фактов сейчас в России переизбыток — одним они дают повод для эйфории, другим для отчаяния. Но последуем за Спинозой: философ не должен ни плакать, ни смеяться, а понимать. Удел историка — тот же. Историк будущего — если у истории есть будущее — вряд ли даже упомянет XIX партийную конференцию, не говоря уже

о появлении в московских киосках этого номера «Время и мы» (если таковое состоится). Но несомненно обратит внимание на тот факт, что на территории, занимаемой в конце XX века советской империей, происходило два встречных процесса — деградация тогдашней великой нации (русских) и возрождение так называемых малых. И первыми из современников, кто обнаружил этот феномен, были шовинисты из общества «Память».

Не из любви к парадоксам либо раритетам упоминаю я здесь «Память». Как бы вздорна ни была их аргументация о жидо-масонском заговоре против русского народа, сама их тревога о судьбе последнего более чем обоснована. Другое дело: вместо того, чтобы смотреть в корень, они скользят по поверхности. Их ошибка — банальная, типичная: они винят во всем инородцев, в то время как корень зла в самих русских. Если даже не считать нацию «феноменом биосферы», все равно она не способна менять свою сущность так же быстро, как меняются обстоятельства вокруг нее (даже, если эти обстоятельства для нее гибельны, и в лице своих передовых представителей нация это осознает). Лучший пример — евреи, которые за два тысячелетия диаспоры не изменили своих коренных свойств. Русские моложе, но отмечаемая нашими историками повторяемость, рецидивность русской истории привела к появлению устойчивых, консервативных черт в их национальном характере и историческом бытие. К примеру, русское гостеприимство. Либо русская смекалистость. Несомненно, свойственное русским поэтическое восприятие природы. Одновременно — обломовщина, алкоголизм, фатализм. Вот Евтушенко — он так и назвал свою статью в «Литературной газете»: «Притерпелость». Советская пресса сейчас пестрит вполне откровенными высказываниями об «этнической психопатологии», о «национальном стереотипе поведения», о «магии оборонного сознания», о «русской хандре», о «русской психее» и т.д. А нам уж и сам Бог велел говорить начистоту, без околич-

ностей, ибо наша гласность началась не с прихода к власти М.С. Горбачева, а с переезда из мира осознанной необходимости в мир абсолютной свободы.

Хочу быть верно понятым — речь идет не о «плохо» и «хорошо», ибо наши недостатки суть продолжение наших достоинств, и наоборот. И относится это к любой нации — итальянцам, русским, евреям, арабам, французам. Возьмем хотя бы многократно отмеченную склонность русских к созерцательности. В литературе, в искусстве, в религии она дала великолепные результаты — от Нила Сорского до Николая Федорова, от Андрея Рублева и Дионисия до Павла Кузнецова, от Евгения Баратынского до Михаила Пришвина. Но если созерцатель — не поэт, не философ и не художник, то имя такому созерцателю — Обломов. Нет спора, герой романа Гончарова вызывает живейшую симпатию, душевно он более одарен, чем Штольц, но для пользы дела (коли мы о ней радеем), для России такие вот обломовы — сущая беда. Конечно, не все русские — обломовы, но исключения только доказывают правило, и никому не придет в голову упрекать Гончарова в том, что он не нашел антипода Обломову среди русских, а дал ему немецкое происхождение. А уж тем более никто не назовет русофобом ни Гончарова, ни его комментатора Добролюбова.

Другое дело, что «русская психея» — и это мы обязаны оговорить — складывалась в течение тысячелетия и является результатом исторических катаклизмов: принятие христианства из византийских рук, Золотая Орда и ее политическое наследство, вотчинный характер власти, крепостное право, революция, Сталин и т.д.

Не будем уподобляться схоластам и выяснять, что было раньше — яйцо или курица? Факт остается фактом — от нынешней перестройки экономически и политически выигрывают «иноплеменники»: прибалты, кавказцы, народы средней Азии, а русские пока что не выиграли ничего, если не считать бума в печати, который с исторической точки зрения особого значения не имеет. Более того, русским, в перспективе, должно стать еще хуже, если союзные республики перейдут хотя бы на «экономический хозрасчет», не говоря уже о полном отделении. Что там Прибалтика! Даже безгласный прежде Узбекистан, с одной стороны требует, чтобы в его сторону повернули русла северных рек (чему, естественно, противятся русофилы), а с другой, не желает больше снабжать всю страну хлопком. На хлопковых плантациях мечтает он высадить фрукты и виноград, а бюджет пополнять за счет паломничества туристов к мусульманским святыням в Бухаре, Самарканде и Хиве. Вообще, если ближайшая угроза для Москвы — потерять Прибалтику, то более дальняя (но и более опасная, если не смертельная для империи) — переход советских мусульман во враждебный русским лагерь. Пример Афганистана заразителен прежде всего для среднеазиатского и кавказского мусульманства — уже сейчас оно составляет треть имперского населения. А здесь еще Китай — пусть даже Горбачев встретится с Дэн Сяопином, эта встреча будет политической и исторически ничего не предотвратит. Встречался же Гитлер с Молотовым, а Сталин с Риббентропом — меньше чем через два года Германия напала на Россию. Впрочем, о том, что возмездие грядет именно с Востока, предупреждал еще мой тезка и однофамилец, Владимир Соловьев, почти 100 лет назад:

О Русь! Забудь былую славу,
орел двуглавый сокрушен,
и желтым детям на забаву
даны клочки твоих знамен.

Возвратимся, однако, из будущего в настоящее, благо анализ — наша машина времени — позволяет нам легко совершать эти перемещения. Нужно ли пояснять, почему русские так неохотно пользуются открывшимися им при Горбачеве возможностями, а эстонцы или грузины, наоборот — так активно? Здесь разница того же свойства, что между Обломовым и Штольцем. Помимо прочего, у рус-

ских и нерусских противоположные национально-эгоистические задачи, русские хотят сохранить империю, нацмены мечтают о ее гибели. Так, на Кипре во всех конфликтах греки твердят свое «эносис» — единство, а турки «таксим» — раздел. Единственная поправка: в СССР слово «раздел», а точнее «отделение» произносится по крайней мере на 14 языках.

Предпринятая Кремлем ради спасения экономики децентрализация ослабляет связи национальных окраин с Москвой, ускоряет процесс политического распада империи-конгломерата, этой бомбы замедленного действия. Русские остро, болезненно воспринимают новости из Армении или Эстонии. Дабы избавить их от негативных эмоций, Москва запретила подписку на русскоязычные газеты ряда союзных республик, хотя от замалчивания фактов последние не перестают существовать. Есть еще более радикальный способ — убивать горевестников, но от него отказались уже в древности ввиду очевидной неэффективности. Совсем наоборот, советские нацмены проявляют поразительное равнодушие к тому, что происходит в Москве. М. Лауристен, один из лидеров Народного фронта Эстонии, так объясняет нелюбопытство своих земляков к событиям в метрополии: «То, что там происходит, это политика, а то, что у нас — история».

Любопытно, что «история» началась с первого пограничного пояса советской империи — входящих в ее состав республик, и не захватила пока что второго пояса — стран Варшавского пакта. Может быть потому, что обжегшись на молоке, народы этих стран дуют на воду? Или же давление на союзные республики — русификация, эксплуатация, колонизация — было сильнее, а потому и их национальное возрождение происходит стремительнее, по закону отдачи? Либо в нас говорит зрительское нетерпение, и мы торопим события в Восточной Европе? Невероятно, если бы сейчас, после унизительного поражения в Афганистане, Кремль решился на применение силы. Случись в имперских провинциях нечто подобное восстанию в 1953 году в Восточной Германии, Венгерской революции 1956 либо Пражской Весне 1968: успех военной операции был бы сомнителен, зато последствия для экономических реформ несомненно смертельны.

Конечно, на ближайшие годы у вэлферной державы, каковой является СССР, есть некоторые запасы оптимизма, связанные с западными кредитами или с пропагандистскими приемами: в конце концов, у Кремля большая традиция в подделке статистики. В ЦРУ, к примеру, даже считают, что нынешние советские руководители сознательно занижают экономические показатели брежневской эпохи, дабы козел отпущения был более наглядным. «Эх, если бы козла отпущения да можно было еще и доить!» — воскликнул однажды Ежи Лец. Увы, доить его нельзя, да и вообще возможности брежневского козла отпущения исчерпаны. Спустя четыре года после прихода к власти — по американским стандартам президентский срок! — Горбачев уже лично ответствен за вверенную ему страну-вотчину, с него и спрос. А что касается западногерманских кредитов, то они уравновешены трезвым и бескомпромиссным подходом к «империи зла» со стороны республиканского правительства США, хотя словесные филиппики теперь не в ходу.

Здесь важно, однако, понять, что ни помочь, ни повредить советской империи извне невозможно. Но и изнутри невозможно тоже. Каковы же альтернативы ее распада? Фактически их три: вестернизация (панацея реформ), ресталинизация (сталинизм без Сталина) и русификация. Эксперимент с первой, не дав желаемых результатов, подходит к концу; последняя была бы невероятной, учитывая многонациональный состав империи и скорее бы ускорила распад, чем оттянула его. Что касается промежуточного варианта — ресталинизации, то я положил его в основу своего футурологического романа «Операция «Мавзолей Ленина»* и считаю, что он неизбежно будет

* Русский оригинал романа «Операция «Мавзолей Ленина» вышел в издательстве «Либерти».

испробован — уж слишком соблазнителен! Однако эффект этого «Фаустова пакта» может быть только кратковременным по причине крайне невыгодной для русских геополитической расстановки сил.

К ней нам и предстоит напоследок вернуться: Россия — не ось земная, не все вокруг нее крутится, а в последнее время все меньше и меньше. Представлять будущее человечества в апокалипсических тонах только из-за того, что с лица земли исчезнет советская империя, нелепо.

Выбор у Горбачева (либо у любого другого кремлевского правителя, который придет ему на смену) не так уж велик. Россия может выжить, только отказавшись от имперских завоеваний и прежней мировой роли, то есть сбросив с себя бремя имперских забот. Так чудом выжила Турция среди руин Оттоманской империи. Собственно Россия без восточноевропейских и прибалтийских стран, без Украины, без Кавказских республик, без мусульманской Средней Азии, с государственным православием взамен марксизма (вероятный, но не обязательный вариант), перестанет быть сверхдержавой. Она сравняется по значению с Англией и Францией, хотя экономически будет и более отсталой, чем те. И все равно, по сравнению с сегодняшней ситуацией, это не так уж плохо. Правда, кремлевским вождям нужно обладать поистине революционным мышлением, чтобы это понять и на это пойти добровольно. Впрочем, такие катаклизмы, как распад империи, редко носят добровольный характер.

Если вновь рожденная Россия поставит свои национальные интересы выше традиционного русского антисемитизма, то она неизбежно вступит в союз с Израилем. Демографическое давление мусульманского мира представляет для обеих стран реальную угрозу быть поглощенными полностью или частично, как в Средние века случилось с Испанией и Португалией. Противоположную сторону, сохранив прежний антогонизм с Россией, займет Китай. Похоже, что к концу тысячелетия он совершит

действительно «великий скачок» в экономике и станет сверхдержавой, отбросив рудиментарный марксизм и не имея, в отличие от СССР, имперских противоречий.* Другие претенденты на роли сверхдержавы — побежденные во Второй мировой войне — Япония и объединенная к тому времени Германия (взамен победителя — России).

По сравнению с нынешним четким разделом мира на две сферы влияния, будущая мировая дислокация будет более дробной, фрагментарной, полицентричной — потому хотя бы, что супердержав станет четыре: США, Германия, Китай и Япония. Несомненна борьба этих стран если не за мировое господство, то по крайней мере за влияние, особенно в мусульманском мире. Не исключен реваншистский ренессанс в Германии и Японии и даже новый альянс между этими бывшими союзниками: обеим странам будут тесны их границы, тем более они вряд ли забыли территориальные потери в результате Второй мировой войны. И кому бы ни принадлежали их бывшие (или спорные) территории — России, Польше или Франции, эти страны будут во всех отношениях слабее, чем Германия и Япония.

Излишне добавлять, что нынешним сверхдержавам не удастся воспрепятствовать таким технологически развитым странам, как Япония и Германия, присоединиться к мировому атомному клубу, который к тому времени будет куда многочисленнее, чем ныне. Невозможно представить, чтобы Израиль, Пакистан, Индия и Южная Африка имели атомное оружие, а Япония и Германия — нет.

Короче, мир, каким он станет к концу тысячелетия, будет не только совершенно иным, чем прежний, но и более, что ли, изменчивым. Как это не поразительно, но с исчезновением советской империи он не станет более безопасным, хотя конфронтация между странами будет носить чисто национальный характер и идеологический камуфляж будет отброшен.

---

* Всего несколько процентов нацменьшинств, остальные сплошь китайцы, в том числе за пределами Китая, в сопредельных странах.

Григорий СВИРСКИЙ
ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни герое в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов.

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA
К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку

Валерий ЧАЛИДЗЕ

БОЛЬШИНСТВО И МЕНЬШИНСТВО

Долгое время советская пропаганда утверждала, что национальный вопрос в СССР решен, но никто не пытался всерьез объяснить, что может означать это бессмысленное утверждение. Скорее всего это была попытка спрятаться от острейших противоречий, существующих в стране, населенной более чем ста народностями, и одновременно запретить людям обсуждать эти проблемы. На Западе было многое известно о национальных конфликтах, и эти конфликты были для многих источником надежд на возможную дестабилизацию Советского Союза. Эти надежды не оправдались уже в течение 70 лет и сам этот факт показывает, что советское руководство умеет управлять страной даже без изучения существующих проблем. Я не могу здесь развить эту мысль, но ее полезно помнить.

В течение десятилетий было много разговоров о том, какие цели должен иметь Запад в отношении внутренних

В этой статье я не рассматриваю вопроса о национальном самоуправлении ввиду его самостоятельного значения.

проблем СССР. Одни были ориентированы на либерализацию, другие на дестабилизацию. Эти два подхода казались противоречащими друг другу, и каждый подход имел своих защитников. Я всегда считал, что дестабилизация Советского Союза — вещь опасная, но в то же время я понимал, что эти два подхода не столь различны, как это казалось их приверженцам.

В 1983 году в книге «Будущее России» я писал, что любые попытки демократизации СССР приведут к усилению сепаратистских движений среди национальных меньшинств. Уже теперь видно, что смелые попытки Горбачева реформировать страну быстро привели к тому, что о национальных противоречиях говорят все больше, и можно ожидать активизации сепаратистских движений.

Однако сепаратизм — это далеко не главная проблема в национальных отношениях в СССР. Для всех или для, большинства нацменьшинств в СССР ясно, что им придется остаться в составе Союза неопределенно долго. Большинству людей нерусской национальности, я думаю, даже не приходит мысль об отделении от Союза. Но они хотят, чтобы их национальная культура развивалась свободно, чтобы их национальные особенности были ограждены от унификации, они хотят иметь голос в решении своих проблем.

Попробуем кратко перечислить типы национальных проблем в СССР, не претендуя на полноту. Я исхожу из данных правозащитного движения и публикаций советской прессы. Начавшаяся в СССР перестройка позволила гласно говорить о многих проблемах, однако до решения или даже до полного освещения хотя бы некоторых из них еще далеко.

Русификация — универсальная проблема для всех нерусских национальностей СССР. Насаждение русского языка в средней и высшей школах, в государственных учреждениях и в торговле вызывало неоднократные протесты. Мне неизвестно, насколько хорошо соблюдаются

гарантии использования национальных языков в суде, но сам факт таких гарантий весьма важен.

Насаждение русского языка проводится уже многие десятилетия, но до 1978 года по конституциям союзных республик национальный язык являлся государственным в каждой союзной республике. Когда в конце 70-х годов меняли республиканские конституции, национальные языки утратили статус государственных, и только для закавказских республик была оставлена прежняя формулировка — после демонстрации протеста в Грузии.

Политика национально-русского двуязычия остается официальной политикой, о чем в 1987 году заявил Лигачев.

Вместе с русификацией, которая подрывает развитие национальных культур, в СССР проводится политика искусственной поддержки национального образования и культуры. Эта искусственная поддержка наносит большой вред действительному развитию национальных культур. В целях пропаганды многим нацменьшинствам предоставлялись льготы при получении высшего образования, ученых степеней, при публикации книг. Политически эти льготы мотивированы. В результате национальные культурные кадры многочисленны, что украшает статистику, но низки по качеству. На самом деле, в сочетании с коррупцией во многих национальных областях политика льгот содействует разрушению культуры.

Коррупция и так называемая «вторая экономика», которые я характеризую как гибрид мафии с феодализмом, способствуют большей практической автономии, особенно в азиатских республиках, включая Грузию и Азербайджан (у меня нет данных об Армении). Однако от этого выигрывают лишь слои, вовлеченные в эти структуры. Основной массе населения они несут дополнительный гнет и дополнительную эксплуатацию. Так, например, узбеки вынуждены были производить рекордное количество хлопка для выполнения плана, данного Москвой, и одновременно становились рабами местной феодальной мафии.

Стремление к большей автономии через коррупцию показывает, какие уродливые формы могут принимать национальные противоречия. В то же время это свидетельствует, что московское правительство далеко не всегда справляется с возложенными на себя функциями надзора за законностью в стране и защиты населения от преступных структур. Теперешние известные разоблачения показывают, что не только в национальных областях Азии, но и в Москве многие продаются и покупаются.

Весьма серьезны национальные проблемы, связанные с охраной природы. Экологическая ситуация в СССР вообще близка к критической, но это является оправданием безжалостной и бездумной эксплуатации природы в национальных областях. Народы этих областей лишены возможности самостоятельно планировать свою экономику. Поэтому на русском правительстве лежит повышенная ответственность за экологическую безопасность национальных меньшинств. Высыхание Аральского моря, отравление земель и населения пестицидами в Узбекистане и Молдавии, критическое отравление воздуха в Армении, засоление почв в Средней Азии, разрушение орошаемых черноземов — это лишь отдельные примеры экологических преступлений.

Или взять атомную энергетику. После Чернобыльской катастрофы стало ясно, что советские нормы безопасности в атомной индустрии не соответствуют международным стандартам. Атомные станции на Украине, например, вызывают беспокойство местного населения, равно как и атомная станция в сейсмически опасном районе в Армении.

Согласно Международным пактам о правах человека, ратифицированным Советским Союзом, «ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования». Как бы ни толковать эту гарантию, ясно, что лишение народа принадлежащей ему земли является нарушением этой нормы. Выселенные со своей земли крымские татары, месхи и немцы Поволжья до сих пор не возвращены. В отношении крымских татар недавно была предпринята попытка замаскировать проблему. Между тем, было бы справедливо не только вернуть эти народы на их земли, но и выплатить им компенсацию за перенесенные лишения, как это сделано Соединенными Штатами в отношении японцев, интернированных в лагеря во время войны.

Под угрозой лишения принадлежащих им средств существования находятся кара-калпаки и народы севера. Из-за критического засоления почв и вод вокруг высыхающего Аральского моря встал вопрос о переселении кара-калпаков. Из-за индустриального освоения и нефтяного загрязнения Арктики народы Севера постепенно лишаются пригодных для оленеводства земель.

Острой является проблема отношений малых народов с основной национальностью республики, куда они входят, хотя опубликованных на этот счет данных немного. Наиболее известны разногласия между абхазцами и грузинами, межнациональные столкновения в Якутии.

Границы между территориями союзных республик не всегда соответствуют этническому составу населения Наиболее известна проблема Нагорного Карабаха, где армяне находятся под властью азербайджанской республики. Ранее сообщалось о положении в Саингило — области в Азербайджане, населенной грузинами. Не исключено, что в будущем искусственные границы дадут о себе знать в отношениях между народами Средней Азии.

Теперь несколько слов о религии. Для многих народов СССР исконная религия — это духовное убежище, помогающее людям противостоять унификации и притеснению национальной культуры. Это особенно заметно в Литве, Средней Азии, Западной Украине. Советское руководство понимает эту роль религии, и потому обычный советский атеизм в национальных областях приобретает антинациональные черты.

Борясь с национальными и религиозными традициями, власти пытались насаждать новые, политизированные ритуалы, связанные с семейными и сельско-хозяйствен-

ными событиями. Неясно, приведет ли перестройка к отмене подобных суррогатов.

В отношении многих народов советский режим проявляет культурный империализм, считая, что сложившийся образ жизни этих народов не достаточно цивилизован. Так был фактически разрушен традиционный уклад жизни многих народов Сибири и Севера. Результаты не замедлили сказаться в распространении алкоголизма, забвении национальных обычаев и исконной религии. Другим примером являются меры против кочевого образа жизни казахов — они отрицательно сказались на укладе жизни и на экологической обстановке в Казахстане.

Неверно, однако, считать, что источником всех этих бед является имперский характер русской власти. До революции в России было много национальных проблем, было национальное и религиозное неравенство. Однако Российская империя обычно не разрушала сложившийся образ жизни этнических меньшинств, уважала традиции и часто предоставляла народам больше автономии.

После революции была установлена власть, заявившая, что она следует марксизму. Хотя очень скоро от марксизма осталась одна фразеология, антинациональные черты советской власти сохранились. И это объясняет, почему вместе с притеснением и унификацией культуры национальных меньшинств страдала и русская культура, подавлялись и русские традиции.

Хотя русские являются имперской нацией, их положение тоже не завидно. Притесняемые русскими народы могут искать духовное убежище в своих традициях, истории, культуре. Русским негде искать убежища от своей собственной власти, которая притесняет их традиции, культуру, религию.

Потому и обнадеживает теперешнее пробуждение русских национальных чувств среди части русской интеллигенции. Я имею ввиду выступления в защиту природы, в защиту правдивой истории, в защиту национальных памятников и религии. Здесь не обходится без экстремизма — известны антисемиты из общества «Память», которые запугивают своих слушателей старым призраком жидо-масонского мирового заговора. Это очень яркий пример того, как национальные противоречия могут быть использованы в целях политической демагогии. Есть наблюдатели, которые даже подозревают, что в случае углубления кризиса, власти начнут заигрывать с «Памятью», используя некоторые ее демагогические приемы. Мне кажется, что для таких подозрений сегодня нет оснований, но всегда полезно слушать и помнить тех, кто предупреждает об опасности.

Я также думаю, что не следует судить о движении по его экстремистам, ведь среди русской публики есть широкий спектр взглядов на русскую национальную проблему. И если дать людям свободно высказываться, то через год-другой этот спектр проявится и станет видно, что экстремисты занимают лишь крайнюю часть этого спектра. Большинство же озабоченных патриотов русской нации, я полагаю, проявят достаточно ответственности, чтобы занять позитивную позицию, и будут стараться возродить свою национальную культуру, религию, традиции, а не тратить время на поиски козлов отпущения. Быть может, русским будет легче уважать культуру меньшинств, если они научатся беречь культуру собственную.

Благодаря гласности, о национальных проблемах будет слышно больше и больше. Справится ли перестройка не только с обсуждением, но и с решением этих проблем — сказать трудно. Но даже широкое, гласное обсуждение — ценный шаг на пути преодоления существующих противоречий.

Борис АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Землетрясение в Армении не только потрясло мир, но и вызвало мысли о бренности человеческого бытия. Если игра природы в течение минут способна погубить многие десятки тысяч людей и полмиллиона оставить без крова, то велика ли цена всей нашей цивилизации? Много ли стоит достигнутый ею научно-технический прогресс? Потрясение оказалось настолько велико, что средства массовой информации — ни в СССР, ни на Западе — пока что не обсуждают геополитические последствия случившегося: газеты и журналы полны описаний самой трагедии, равной которой трудно найти в последние десятилетия. Но, оправившись от шока, Горбачев и советское руководство не могут не ощутить катастрофической ситуации, в которой оказалась страна.

Вряд ли есть смысл говорить об ответственности советского режима за случившееся — руководители СССР сами признают, сколь роковую роль сыграло плохое ка-

чество домов в районах землетрясения, отсутствие сейсмической службы, негодная организация спасательных работ — словом, советская система проявила себя во всей красе. Но факт свершился, и даже если большая доля вины падает на режим, то ведь жертвами-то стали сотни тысяч рядовых советских граждан, которым мы не можем не выразить глубокого сочувствия.

С другой стороны нельзя сбрасывать со счетов и то, что катастрофа в Армении произошла не в худшую пору советской истории, а когда худо-бедно советское общество встало на путь демократизации. Поэтому, задаваясь вопросом о последствиях землетрясения, давайте соотнесем их с тем, какое влияние они окажут на происходящую в СССР перестройку.

Обозреватели по-разному оценивают экономический ущерб, нанесенный землетрясением: 7-9-12 миллиардов долларов: все зависит от того, в какой степени принимать в расчет многочисленные косвенные убытки. Но степень катастрофы не может быть оценена приведенными выше гигантскими расходами, которые должны покрыть стоимость нового строительства, точнее строительства новых городов, затраты на восстановление здоровья людей, на компенсации жертвам землетрясения, на создание новых производств и подготовку для них специалистов.

Чтобы понять ситуацию, в которой оказался Советский Союз, надо принять во внимание, что это, не знающее себе равных в новейшей истории землетрясение поразило страну и без того раздираемую экономическим кризисом, которая и без того не была способна накормить свое население, преодолеть жилищный кризис, страну, раздираемую все нарастающими национальными конфликтами.

К последствиям катастрофы мы еще вернемся, а пока зададимся предельно конкретным и жестким вопросом: из каких все же источников Советский Союз сможет покрыть нанесенный ему гигантский ущерб? На что он сможет опереться?

Сразу же оставим в стороне вопрос об энтузиазме масс, хотя не исключено, что руководители СССР не преминут прибегнуть к «сознательности народа», к его «морально-политическому единству», «к чувству патриотизма». Все это будет делаться скорее по инерции, ибо опыт перестройки не мог не подсказать Горбачеву, сколь зыбки эти, так называемые «моральные стимулы», на которые он пытался опереться на первых порах. Да и о каком морально-политическом единстве можно говорить, если в столицу Армении — Ереван — введены танки, ибо армяне сейчас еще более настойчиво, чем в прошлом, требуют присоединения к ним Нагорного Карабаха.

Если трезво взглянуть на вещи, то объективно у Советского Союза существуют только два источника: это, во-первых, долгосрочные кредиты Запада и, во-вторых, существенное сокращение военных расходов. Все тот же трезвый подход, однако, не позволяет переоценивать первый источник. При всем сочувствии реформам Горбачева, остается неясным, пойдут ли деловые круги Запада на крупные займы Советскому Союзу, ибо им трудно ответить на вопрос: когда и в какой форме СССР окажется способным эти кредиты вернуть. Не много надежд и на филантропию, ибо с уходом трагической остроты момента на Западе будет иссякать запал сочувствия. На смену романтике придет рутина, и соответственно будет крепнуть настроение, что выход России из трудностей есть дело самой России.

Что касается военных расходов, то обстоятельства, по-видимому, вынудят Горбачева встать на путь их сокращения, причем куда более существенного, чем то, о котором он говорил с трибуны ООН. Но и здесь его возможности ограничены. Во-первых, это не может не встретить сопротивления самой армии (пример: недавний уход в отставку начальника ее генерального штаба) и, во-вторых, необходимость трудоустройства миллионов бывших военнослужащих сама по себе породит плохо предсказуемые хозяйственные трудности.

Безусловно, случившееся в советской Армении — стихийное бедствие. Но социальная психология советских масс такова, что они вряд ли смогут принять вещи такими, как они есть (слишком часто они слышали о всяких «объективных трудностях»). Тем более, если учесть, что и без того низкий уровень жизни понизится еще более, и, разумеется, еще более усилится жилищный кризис. В этих условиях озлобленное население будет искать конкретных виновников его тягот.

Предвидя это, нынешнее руководство пытается снова вызвать призраки Брежнева, по вине которого возводились негодные и неспособные устоять перед землятресением здания. Но трудно представить, что Сталин и Брежнев могут безгранично долго исполнять роль козлов отпущения.

По мере ухудшения ситуации национальные окраины (и прежде всего народы Кавказа) будут требовать к ответу Москву сегодняшнюю, горбачевскую, патронаж которой, по их мнению, привел Армению к тяжелой трагедии. Вероятно, встанет с еще больше остротой не только вопрос о Нагорном Карабахе, но и вообще о дальнейшем пребывании Армении в составе Советского Союза. И не только Армении: национальные, центробежные конфликты — это пороховая бочка, которая способна вот-вот взорваться, и землетрясение в Армении может стать детонатором этого взрыва.

В первые после катастрофы дни (когда весь мир устремился на помощь Советскому Союзу) среди его населения возник эмоциональный подъем, своего рода нервное возбуждение, если это понятие применимо к ситуации большой страны. Но, по мере роста рутинных тягот, эмоциональный подъем неизбежно сменится массовой депрессией и ощущением исторического тупика.

Ясно, что подобные настроения — не лучший фон для осуществления горбачевских преобразований. Вряд ли в этих условиях окажется возможной и контрреформа справа, некий фашистского типа путч, об угрозе которого мы

время от времени читаем на страницах советской и западной прессы. Опыт нацистской Германии показывает, что для такого переворота в обществе должны действовать определенные динамичные силы и — что еще важнее — эти силы должны быть поняты динамично настроенным населением (каким было население Германии в середине тридцатых годов). Присутствует ли подобный динамичный дух в сегодняшнем Советском Союзе?

Попробуем теперь представить, по какому пути пойдет дальнейшее развитие России. Сами по себе эсхатологические представления о распаде империи еще не говорят о конце ее народа и гибели общества в целом, но сомнительно, что оно, в той или иной форме, сохранится как коммунистическое общество. Демократическое обновление и, в частности, образование свободного рынка перестанет быть предметом выбора коммунистических руководителей, но станет жестокой, исторической необходимостью, которую они обязаны будут принять. И это будет настоящая, социальная революция, которая не в речах советских вождей и не на страницах газеты «Правда» принесет новую жизнь народам СССР.

было бы рискованным прогнозировать, как и с чего начнется эта революция. Не исключено даже, что она уже началась сегодня, когда руководители Кремля, не без риска для коммунистических порядков, предлагают свою страну как арену действия для свободного западного капитала. Пока они это делают нерешительно, с тысячей оговорок, полагая, что свободный рынок может быть управляемым из Москвы «полурынком». Но пропасть, перед которой оказалась современная Россия, вряд ли оставит место для половинчатости, независимо от намерений Горбачева и его соратников. Конечно, трагическим парадоксом является то, что путь к обновлению оказывается проложенным через катастрофы, подобные землетрясению в Армении. Но это является еще одним подтверждением того, что в своем развитии история не желает считаться ни с какими моральными оценками.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. —7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. -12 долларов.
И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. - 12 долларов
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.

Готовится к печати:
В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEINS ANTIQUARY
594 Chestnut Ridge Rd.
Orange, CT 06477, USA.

КУДА ИДЕТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

В конце октября в Барселоне состоялся международный семинар: «Перестройка. Куда идет Советский Союз?». Организаторами этой весьма представительной западно-восточной встречи были Барселонский институт гуманитарных исследований, Барселонский международный центр информации и документации «СИДОБ» и фонд Пабло Иглесиаса.

Из Москвы на семинар приехали экономисты Анатолий Бутенко и Алексей Шестопал, главный редактор журнала «Огонек» Виктор* Коротич, экономист, журналист и писатель Николай Шмелев, публицисты Андрей Нуйкин (зам.директора Института кинематографии), Юрий Карякин, Анатолий Стреляный (в недавнем прошлом — заведующий отделом публицистики «Нового мира»), писатель Фазиль Искандер, поэт Роберт Рождественский, белорусский романист и публицист Алесь Адамович.

Из литераторов и ученых, живущих в эмиграции, участвовали: историк Михаил Рейман (Западный Берлин), известный в прошлом деятель Пражской Весны Зденек Млынарж (Вена), литературный критик Раиса Орлова-Копелева (Кельн), редактор журнала «Страна и мир» Кронид Любарский (Мюнхен), редактор журнала «Синтаксис» Мария Розанова-Синявская (Париж), писатель Андрей Синявский (Париж), лауреат премии Макартура Валерий Чалидзе (США), литературовед Ефим Эткинд (Париж) и другие.

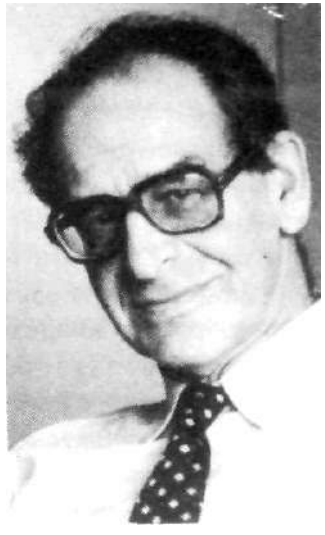
В семинаре приняли активное участие ученые, исследователи Советского Союза из разных стран: Алек Нове (Великобритания), К.С. Кроль, Жак Сапир, Шарль Уревич, Жерар Дюшен, Мари Лавинь (Франция), Витторио Страда (Италия) и многие другие. В заключение семинара выступил с обширным докладом на тему «Европа и СССР» министр иностранных дел Испанского королевства Франциско Фернандес Ордоньес.

Первая группа докладов прошла под общей шапкой: КОРНИ, ПРИЧИНЫ, ИСТОРИЯ. Вторая была объединена темой: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА. Третья — ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ. Четвертая называлась: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ДВИЖЕНИИ.

Доклады советских участников Барселонской встречи отличались от тех, которые иногда приходилось слушать на Западе несколько лет назад, полной откровенностью, честностью, даже — драматизмом. Читатель может судить об этом по публикуемым ниже материалам.

Доклады и выступления приводятся с некоторыми сокращениями.
*Виталий — *Д.Т.*

НА ВСТРЕЧЕ В БАРСЕЛОНЕ



Ефим ЭТКИНД

ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ

1

Все, что происходит в искусстве и литературе Советской России, продолжает вызывать изумление и, конечно, радость у всех, кому дорога культура этой страны и кто с тоской и отчаянием наблюдал много десятилетий подряд за оскудением и даже умиранием этой еще недавно полной буйных сил культуры. В стране, давшей миру живопись Малевича, Кандинского, Шагала, театр Мейерхольда и Вахтангова, кино Эйзенштейна и Довженко, — в этой стране, бурлившей новыми идеями, изобретавшей новые художественные языки, на десятилетия воцарился леденящий кровь «социалистический реализм».

Последние удары по российской культуре, поднявшей голову в годы послевоенного обновления, были нанесены сталинско-ждановским ЦК в 1946 году, когда одно за другим несколько партийных постановлений проломили череп литературе, театру, музыке, кинематографу. Оплевывая Анну Ахматову и Михаила Зощенко, лучшего писателя

той поры, Жданов от имени партии провозглашал: «...Задача советской литературы заключается не только в том, чтобы отвечать ударом на удары против (...) гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления».

Брошюра с докладом Жданова подписана к печати 30 сентября 1946 года — 40 лет тому назад. В 1986 году в СССР уже не было речи о поголовном маразме и растлении, будто бы царящих в буржуазном мире — уже одержала верх трезво-человеческая точка зрения на культуру. Наступила новая эпоха Возрождения: возрождения тех ценностей, которые стремились уничтожить предшественники сегодняшних правителей.

Сперва, в двадцатые годы, во имя фантасмагорической «пролетарской культуры» сбрасывали в небытие классику и классиков прошлого века; затем, в тридцатые, сталинская бюрократическая империя истребляла все, что намекало на революционность, а также на любое индивидуальное, далекое от имперско-бюрократической пошлости начало. В годы сороковые-пятидесятые продолжался процесс сталинизации культуры, который, после короткого «оттепельного» перерыва углубился в 70-80 брежневские годы, когда наша культура окончательно зашла в тупик глубочайшей провинциальности.

И вдруг — после стольких десятилетий умирания и кладбищенской тишины — загудел набатный колокол Возрождения. Возвращаются недавно гнившие в запасниках полотна Филонова и Шагала. Возвращаются десятки фильмов, запрещенных за последние двадцать и более лет. Возвращается Мейерхольд, казненный в подвалах Лубянки, и вместе с ним — драматурги, поэты, романисты, историки, мыслители, религиозные деятели, философы прошлого века. Они ошеломили зрителей и читателей: у многих, открывших для себя новую Россию XX столетия, захватило дыхание. Другие пришли в бешенство, увидя в

призраках прошлого смертельно опасных конкурентов. Дело дошло до того, что один из авторов недавнего безвременья, Петр Проскурин, привыкший издавать свои соломенные эпопеи миллионными тиражами, назвал увлечение воскресшими писателями «некрофилией».

Как ни горько это признать, но русская интеллигенция за долгие годы вынужденного сотрудничества с режимом — в разное время — смирялась с исчезновением осужденных или просто отвергнутых по фальшивым политическим обвинениям поэтов: Волошина, Георгия Иванова, Гумилева, Цветаевой, Ходасевича, Бальмонта, Белого, Клюева, Корнилова, П. Васильева, Б. Лифшица, О. Мандельштама, Вл. Нарбута, Э. Хармса, А. Введенского, Н. Олейникова; прозаиков: Б. Пильняка, А. Веселого, И. Бабеля, И.Катаева, И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева, М. Алданова.

И позднее Солженицына, Некрасова, Аксенова, Войновича, Владимова, Гладилина, Коржавина, Бродского, Лосева, Л. Чуковской, А. Галича...

Никогда еще Россия не была так богата одновременно живущими талантами. Никогда еще Россия не была так безжалостна к собственной культуре. Рядом с понятием геноцида, опозорившего наше столетие, можно смело поставить другое — «культуроцид». Только два государства повинны в этом чудовищном преступлении: нацистская Германия и сталинско-брежневская бюрократическая империя.

Увы, в России «культуроцид» оказался страшнее, чем в Германии: немецкая литература успела эмигрировать, более двух тысяч писателей уехали из-под власти гитлеровских партийных чиновников. К тому же и длилась-то фашистская диктатура 12 лет, с 1933 до 1945 года. Из России уехали сравнительно немногие, а длилась империя, умерщвлявшая нашу культуру, по меньшей мере 60 лет; на самом деле — дольше. Могло ли что-нибудь уцелеть? Теоретически — не могло. А ведь уцелело! И это само по се-

бе — феноменальное явление, необъяснимое чудо. При этом чудо вовсе не то, что часть русской культуры сохранилась в эмиграции, а то, что в условиях тотального террора и смертельной опасности, навлекаемой каждым свободным словом, внутри страны, сохранялись живые силы российской культуры.

Списки, приведенные выше, могут быть продолжены, они кажутся бесконечными; все названные писатели были, каждый по-иному, оторваны от публики, физически уничтожены или изгнаны, или принуждены ко лжи и молчанию. У некоторых ложь проникала в их плоть и кровь, принимая для самого ее носителя все атрибуты истины, и тогда губительно воздействовала на талант. Возьмите судьбу А. Толстого, Вл. Луговского, И. Эренбурга, К. Федина.

Поучительно сравнить карту русской литературы советской поры, какой она была, скажем, в 1938,1948,1978 и 1988 годах: наблюдателю представятся изменения, подобные геологическим катаклизмам. Сорок лет назад, в 1948 году, среди так называемых «ведущих писателей» числились: А. Софронов, А. Суров, Ф. Панферов, М. Бубеннов, В. Бабаевский, Н. Вирта, Г. Николаева, А. Сурков — ни один из них не удержался в памяти читателей и истории русской словесности.

В том же 1948 году поэзия изучалась без Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, Заболоцкого, Б. Корнилова, П. Васильева, зато с участием фильсифицированных Блока, Маяковского, Багрицкого, иногда Хлебникова и прославившихся отнюдь не своим поэтическим талантом В. Лебедева-Кумача, А. Софронова и даже А. Суркова. Да куда дальше, если десять лет назад в числе классиков советской литературы числился Брежнев, автор военных очерков «Малая Земля».

Из последних возвращений отметим три, недавно еще представлявшихся немыслимыми: Вас. Гроссмана, А. Галича и А. Солженицына.

Вас. Гроссман. Теперь хорошо известна история конфискации в 1962 году всех экземпляров романа «Жизнь и судьба», после которой М. Суслов заявил пришедшему к нему на прием автору: «Ваш роман может быть опубликован не ранее, чем через 200-300 лет». Прошло около двадцати, и великая книга Гроссмана увидела свет на Западе. Мы, издавшие ее, полагали, что Суслов в известном смысле прав: «Жизнь и судьба» в СССР никогда не сможет появиться. Слишком решительно и глубоко отвергает Гроссман самые основы режима, сближаемого им с фашизмом XX века — нацистским. Не прошло восьми лет со дня публикации Гроссмана на Западе, как «Жизнь и судьба» появилась в советском журнале «Октябрь», выходящем тиражом в 250000 экземпляров, и панегирические статьи о ней — в миллионной «Литературной газете». А теперь речь и вовсе о небывалом: о посмертном представлении Василия Гроссмана к Ленинской премии. И о еще более невероятном событии: предстоящей публикации в «Октябре» предсмертной повести Гроссмана «Все течет...» (1963), где создателем антидемократического строя в России назван тот лидер русской революции, который, по Гроссману, изобрел «синтез социализма с несвободой» — В.И. Ленин.

Александр Галич. В 1972 году его, известного драматурга и киносценариста, со скандалом исключили из Союза писателей и кинематографистов и вскоре выдавили в эмиграцию, где он и умер в 1977 году, в трагическом одиночестве, запрещенный на Родине, не упоминаемый даже в списках врагов. Прошло десять лет. В Москве состоялись вечера памяти Галича с исполнением его песен, идет спектакль по Галичу под названием «Когда я вернусь...»; публикуются в журналах его песни, еще недавно осужденные. Газеты и журналы пишут о Галиче чуть ли не как о классике советской поэзии и о герое антибрежневского сопротивления.

Александр Солженицын. Надо ли напоминать, какие бранные слова по его адресу печатали газеты? Из них

«литературный власовец» и «предатель» были еще мягкими. Сегодня еженедельник «Книжное обозрение» (5 авг., 1988) публикует большую статью Е. Чуковской под заглавием «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». Статья кончается словами: «Пора прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России, офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, рязанским учителем, всемирно знаменитым русским писателем Александром Солженицыным и задуматься над примером его поучительной жизни и его книгами». В следующем номере «Книжного обозрения» (10 августа) многочисленные письма читателей, превозносящие гражданское мужество Солженицына и выражающие раскаяние тех, кто 15 лет назад, когда Солженицына арестовали и выслали за границу, за него не вступился.

2

Рано говорить о новых произведениях и молодых авторах. Ничего крупного возникнуть не успело — за два-три года литература не рождается. Но лавина, обрушившаяся на советского читателя, грандиозна: подобного культурного события не было, как мне кажется, за всю историю человечества. Во Франции тоже была Революция, было даже несколько революций, но предшествовавшая ей словесность не представляла собой столь огромного явления национальной жизни; запреты не носили столь категорического характера, их нарушение не было так опасно.

В России же в течение нескольких советских десятилетий царила муляжная цивилизация; многие из прозаиков, поэтов, драматургов, которые таковыми официально назначались, были фигурами фальшивыми, призванными изображать литературу.

Когда-то Шкловский назвал Константина Федина, генерала от прозы, подкупающе старомодного графомана — «чучелом орла». Это — блестящее определение. Чучелами

орлов, или, скажем, королевских тигров были, независимо от степени дарования, многие писатели довоенных и послевоенных лет. Чучелами оказывались и большие писатели, перетолкованные критиками под псевдодействительность: Горький, Маяковский, Шолохов. Чучелами выглядели даже писатели-классики, упрощенные и фальсифицированные по рецептам вульгаризованного марксизма. Оказывается, уже во второй половине XIX века обнаруживались симптомы «загнивания буржуазной культуры, которые с предельной ясностью вскрылись в эпоху империализма и пролетарских революций».*

Как все очевидно и просто! Расцвет — загнивание, прогресс — реакция, вперед — назад, буржуазия — пролетариат. Эта бинарная схема сыграла роковую роль для культуры России. Если не «пролетарский», то «буржуазный», а значит — враждебный. Если не «расцвет», то «загнивание», а значит... Враждебный же подлежит уничтожению. Впрочем, нашим врагом является писатель не только враждебный, но и нейтральный: «Кто не с нами...», — провозгласил, будто бы, Горький.

Согласно любому учебнику литературы были враги внешние и внутренние. Внешними считались эмигранты; самым мягким их определением было «отщепенцы». Все они — непременные творческие импотенты; отъезд равнялся писательскому параличу. Долгие годы с одинаковым презрением писалось о Бунине, Куприне, Ходасевиче, — если, по какому-нибудь особому поводу, разрешалось их упоминать. В «Истории русской поэзии» («Наука», 1969) в указателе не фигурируют имена ни Ходасевича, ни Адамовича, ни даже Цветаевой.

Характерен указатель к «Краткой литературной энциклопедии» (т.9, М., 1978); в нем нет В. Некрасова (которому посвящена большая статья в пятом томе); нет в указателе А.А. Галича (хотя статья о нем опубликована в томе 2,

* Доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». ОГИЗ, Госполитиздат, 1946, стр. 35.

стлб.45), нет А.Д. Синявского (хотя его подпись стоит под рядом статей, например, о Гумилеве), нет В.Е. Максимова (статья о нем — в томе 4, столб.527-528, и здесь сказано, что он «отстаивает мысль о нравственной стойкости человека»), нет и Е.Г. Эткинда (чья подпись стоит под рядом статей и чье имя названо, например, в статье «Перевод художественный», т.5, стлб.664). Это простейшая и, добавлю, глупейшая форма дезинформации; она глупа потому, что любому читателю обнаружить ее ничего не стоит.

Другая форма — просто неупоминание отвергнутого автора. Так, в «Литературном энциклопедическом словаре» (М., СЭ, 1987), после Солера Пуига, кубинского писателя, и современного французского прозаика Филиппа Соллерса нет имени нобелевского лауреата Солженицына.

В этом «Энциклопедическом словаре» 1987 года, специально писательском, нет ни Виктора Некрасова, ни Марка Алданова, ни Георгия Иванова, ни Мих. Осоргина, ни Александра Галича, ни Владимира Высоцкого, ни Тэффи.

Николай Гумилев в этом словаре присутствует, однако текст о нем звучит так: «Гумилев Николай Степанович (1886-1921; расстрелян как участник контрреволюц. заговора), рус.поэт...». Упомянутый энциклопедический словарь особенно интересен: на нем стоит дата: 1987, и он подписан к печати 14 июля 1986 года. Фальсификация зашла так далеко, что даже в 1986-1987 годах почти ничего не изменилось; почти — потому что в книгу все же успели вставить Хармса, Введенского, Гиппиус, Мережковского и еще нескольких «проклятых».

Итак, 1987 год — год ошеломляющих публицистических статей, невероятных публикаций прозы и стихов, чудесных воскрешений. В то же время это и год архаичного, сугубо советского «Литературного энциклопедического словаря». В таком духе все и продолжается. Советская литературная реальность двоится и выглядит миражом. Возьмем лишь два примера: Виктора Некрасова и Иосифа Бродского.

О Викторе Некрасове пишут все больше и все эмоциональнее. В августе 1987 года, в газете «Московские новости» Вячеслав Кондратьев о нем впервые пишет как об авторе книги «В окопах Сталинграда», без которой нет советской военной прозы. Две недели спустя в той же газете появляется некролог Некрасова, подписанный Кондратьевым, Лакшиным, Окуджавой и Баклановым, где о заслугах покойного говорится еще тверже, хотя эмигрантский его период (1974-1987) игнорируется — это пора ошибок и неудач.

В августе 1988 года главный редактор «Юности» Андрей Дементьев уже сообщает в «Литературной газете» о появлении в его журнале повести Некрасова «Городские прогулки»: «Мы считаем, что эта публикация — большая радость для всех, любящих истинную литературу». И ниже еще о Некрасове: «Мы в редакции его читали взахлеб, для нас его возвращение — праздник. Станет ли это праздником для молодых? Уверен: если они чувствуют слово, если относятся к нему трепетно, обязательно станет». (ЛГ от 10 августа 1988 г., стр. 7). Но чуть ранее, в мае, вышел другой советский журнал «Отчизна». Здесь напечатан очерк «Мышеловка» (Л. Колесов, В. Брянцев), где читаем об эмигрантах, которым, как заявляет в тексте некий деятель ЦРУ, «обратного хода в Россию нет». Среди них — бывшие агенты гестапо, коллаборационисты, диверсанты. «Ну, и наконец Виктор Неверов. Тот воевал под Курском, написал об этом книжку, а потом обиделся на то, что его новые произведения отказались печатать, махнул на Запад. Законченный алкоголик. Но мы его держим для душевных разговоров с колеблющимися соотечественниками...» («Отчизна», май 1988, стр.47). Камуфляж — Неверов вместо Некрасова, Курск вместо Сталинграда — никого обмануть не может.

Кто же такой Виктор Некрасов в сегодняшнем Советском Союзе: прекрасный писатель, возвращение которого — праздник, или предатель и разложившийся алкоголик, ко-

торому «обратного пути в Россию нет»? Мне скажут: в сегодняшней России — свобода слова: Дементьев думает одно, а Колосов с Брянцевым — другое. Чепуха! Перед нами два мнения, отражающих генеральные тенденции: «Отчизна» — тенденцию, близкую КГБ, «Юность» — позицию либерально настроенной литературной общественности. К счастью, эти направления противостоят друг другу. Одно из них, — архаическое, сталинско-брежневское, по-прежнему (или, как говорят в народе, «по-брежнему») клеймит эмигрантов как отщепенцев и предателей. Другое, современное, видит в писателе-эмигранте жертву административно-чиновничьего произвола минувших лет. Оба направления сосуществуют: которое одержит победу? Содержание нашей нынешней жизни, все наши тревоги сводятся к вопросу о том, кто возьмет верх «Отчизна» или «Юность»?

Другой пример: Иосиф Бродский. Ряд журналов публикует стихи нобелевского лауреата 1987 года, напечатана даже его Нобелевская лекция («Книжное обозрение»), в «Огоньке» — интервью с ним. Поэт Александр Кушнер, один из крупнейших в наше время, пишет в журнале «Нева», что Бродский с первых шагов «поражал такой силой подлинного лиризма, таким оригинальным и глубоким поэтическим голосом, что притягивал к себе не только сверстников, но и тех, кто был намного старше...», например, Анну Ахматову. Но в том же марте, в газете «Комсомольская правда», напечатано нечто иное. Автор статьи, подписавшийся «Научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького П. Горелов», начинает с того, что нобелевские лауреаты бывают разные: вот «...имена, положим, Й. Агнона (лауреат 1966 года) или А. Зингера (1978),.. вообще ничего не говорят советскому читателю». Почему же для сопоставления с И. Бродским избраны именно эти двое? Очень просто: оба они евреи; Шмуэль Йосеф Агнон писал на иврите, Айзек Башевис Зингер пишет на идиш, Иосиф Бродский, по Горелову, примыкает к ним: он такой же, как

они, «космополит», он сам себя уподобил Одиссею, стремящемуся на свой остров. А что такое «остров»? «...Это временное, случайное вынужденное пристанище, «не родина», нечто чуждое и потому безразличное для героя — «все острова похожи». Знакомая интонация глумливого отчуждения...»

По-видимому, Горелов не читал гомеровскую Одиссею и потому не понимает, о чем идет речь у Бродского. Конечно, море бросает Одиссея с одного острова на другой, но стремится-то он на свой остров, на родную Итаку, а все остальные — по дороге — ему чужды:

Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь...

Что делать, если и в самом деле — «хрюканье свиней... трава да камни». Но при чем тут «антипатриотизм»? Статья Горелова озаглавлена оборванной цитатой из Бродского «Мне нечего сказать...» и сопровождается письмами корреспондентов из разных стран; например, спецкор из Бонна сочувственно цитирует русский журнал «Вече» (Мюнхен), назвавший стихи Бродского «словоблудием» и далее написавший: «...где уж нам, простым русским лапотникам, чушью и падалью не питающимися и глазки наивно не закрывающим понимать великого Бродского!» Итак, для красной «Комсомольской правды», как и для коричневого «Вече», Бродский — чуждый русскому духу графоман, создающий «чушь и падаль». Скажем прямо: объединяет их антисемитизм, в одном случае откровенный, в другом — чуть замаскированный.

3

Близость друг к другу двух тоталитарных систем — те-

перь ни для кого не тайна. Совсем недавно об этой близости было страшно даже заикнуться; теперь, после того, как опубликован роман Вас. Гроссмана «Жизнь и Судьба», аналогия все чаще приходит на ум. Издатель Гроссмана, редактор журнала «Октябрь» Анатолий Ананьев на обсуждении романа в «Литературной газете» заявил: «Это сейчас мы храбрые — открыто говорим о сталинских преступлениях, о годах невиданного террора. А тогда, в дни работы В. Гроссмана над романом, кто решился бы сравнивать два режима — гитлеровский и сталинский — по тем параметрам, по которым сходство так очевидно нам всем теперь?..» Значит, два фашизма: именно это имел ввиду Гроссман; именно это иллюстрирует автор «Комсомольской правды» П. Горелов, повторяя зады расизма, да и сама газета, солидаризируясь с «Вече».

Впрочем, А. Ананьев не первый издатель «Жизни и Судьбы» — первым был Вл. Димитриевич (L'Age d'Homme), опубликовавший роман Гроссмана сначала по-русски, а потом по-французски под редакцией С. Маркиша и моей и с моим предисловием (французское издание разошлось в количестве 125 тысяч экземпляров). В предисловии этом — за восемь лет до публикации в журнале «Октябрь» и до высказываний Ананьева — я писал: «Удивительный парадокс — именно в Сталинграде оба режима, казавшиеся противоположными, окончательно уподобились друг другу (...). В тот самый миг, как один из противников сокрушил другого, стало очевидно, что они близнецы» (стр.VIII). Я попытался, опираясь на Гроссмана, дать объяснение этому сходству — тому, что, Гроссман называл «фашизмом расовым» и «фашизмом классовым».

А. Ананьев обещает в скором будущем напечатать последнюю повесть В. Гроссмана «Все течет...», причем на том же обсуждении оговаривается: «В будущем году мы намерены осуществить эту публикацию, требующую большой, кропотливой работы (...), Гроссман не может быть урезан ни в чем, ни в запятой». Я, предшественник А. Ананьева, с

этим полностью согласен. Однако, почему же в «Октябре» Гроссман оказался урезан — и не только в запятых? Вот примеры. У Гроссмана читаем следующее рассуждение Мадьярова: «...наша человечность всегда сектантски непримирима и жестока. От Аввакума до Ленина наша человечность и свобода партийны, фанатичны, безжалостно приносят человека в жертву абстрактной человечности» («Жизнь и Судьба», 1980, стр.180; ж. «Октябрь», 1988. 2, стр.48). Последняя фраза опущена. Другой персонаж, Чернецов, говорит несколько ниже: «За тысячу лет Россия была свободна немногим более полугода. Ваш Ленин не наследовал, а загубил русскую свободу» (книга, с. 201); разумеется, последняя фраза снята. А, собственно, почему? Ведь автор не отвечает за то, что говорят его персонажи, тем более, что у Гроссмана всегда спор, всегда столкновение противоположных мнений.

Тема Ленина для Гроссмана — одна из важнейших; она станет центральной в последней его работе, в повести «Все течет...», где автор «Жизни и Судьбы», не испугавшись полицейских гонений, проявит подлинное небывалое для советского писателя бесстрашие и напишет:

«Победа Ленина стала его поражением.

...Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии».

И, наконец, заключительная, беспощадная формула В. Гроссмана:

«Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, — все то, что принесло победу ленинскому делу, — рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе». («Все течет», стр.180-181).

Не найдет читатель «Октября» и другого, слишком уж актуально звучащего места из 11 главки части III романа. Речь идет о том, что под Сталинградом решались судь-

бы всего столетия. Гроссман говорит (выделенные курсивом строки в «Октябре» отсутствуют):

«Решалась судьба калмыков и крымских татар, балканцев и чеченцев, волей Сталина вывезенных в Сибирь и Казахстан, потерявших право помнить свою историю, учить своих детей на родном языке.* Решалась судьба Михоэлса и его друга актера Зускина, писателей Бергельсона, Маркиша, Фефера, Квитко, Нусинова, чья казнь должна была предшествовать зловещему процессу евреев-врачей, возглавляемых профессором Вовси. *Решалась судьба спасенных советской армией евреев, над которыми в десятую годовщину народной сталинградской победы Сталин поднял вырванный из рук Гитлера меч уничтожения».*

То, что это место, важнейшее для Гроссмана, оказалось обкорнанным, постыдно, хотя и объяснимо. Еще не решена проблема крымских татар. Еще не сказана полная правда о гибели Михоэлса, которого якобы раздавил грузовик, а на самом деле убили агенты КГБ. Еще не решились открыть тайну убийства в 1952 году почти всех еврейских писателей, хотя уже появились статьи, обличающие провокаторов, которые фабриковали дело врачей. Еще не решились признать тот факт, что Сталин продолжил начатый Гитлером геноцид: как говорит Гроссман, он над евреями «поднял вырванный из рук Гитлера меч уничтожения».

Пределы свободы отчетливо видны в публикации романа В. Гроссмана. Нельзя обличать Ленина. Нельзя во весь голос говорить о еврейских делах. Нельзя ставить судьбу крымских татар в один ряд с судьбой уже вернувшихся в родные места балканцев и чеченцев. Нельзя полным голосом говорить о национальной политике советской власти — это табу еще усилилось после армяно-азербайджанского конфликта. Наконец, нельзя ссылаться на заграничные публикации, предшествующие своим в метрополии. И уж тем более — на иностранные статьи о ныне возрождаемом произведении. «Жизни и Судьбе», кроме моего предисловия, были посвящены многие десятки

**Балкарцев*. См. Василий Гроссман. Жизнь и судьба. М., "Книжная палата", 1990. Ч.3, гл. 11. http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt *Д.Т.*

статей во Франции, Германии, Италии и проч., в Швейцарии вышла монография С. Маркиша о Гроссмане.

По поводу романа Пастернака «Доктор Живаго», появившегося в Италии, а потом и везде на Западе (за 30 лет до его появления в «Новом мире»), написаны сотни исследований. Однако новомирские публикации играют в такую недостойную игру, будто ничего никогда не было. О Гумилеве, Ходасевиче, Г. Иванове, а тем более Набокове — большая многоязычная литература, но советские «первооткрыватели» этих авторов все это не замечают, игнорируют.

Восхищаясь свободой слова в нынешней советской России, нельзя не видеть ее границ. Эти границы с каждым днем раздвигаются. От недели к неделе, а уж тем более от месяца к месяцу. Вчера «Октябрь» выбросил главу 32 из второй части романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» — рассуждение автора о природе антисемитизма; сегодня уже появилась особая *публикация той* же главы в том же журнале (№ 9); завтра — завтра может появиться «Все течет...». Процесс этот движется неуклонно вперед — в целом. Однако время от времени он останавливается, уступает неожиданно напоминающей зловещие прежние времена команде, буксует, некоторое время застывает в неподвижности — прежде, чем снова рвануться вперед и (до сих пор так было) за краткий срок преодолеть вынужденную задержку. Все мы с трепетом следим за движением и, замирая от тревоги, наблюдаем остановки. Тревога наша объяснима: ведь до сих пор никаких законодательных гарантий у нынешней свободы слова нет. До сих пор еще любой произвол может парализовать нашу молодую свободу. Незыблемые правовые препятствия на пути произвола: вот главное, в чем сегодня нуждается русская культура. Если таких препятствий не будет, ее постоянно будет трепать лихорадка страха.

Виталий КОРОТИЧ

МЫ УСТАЛИ, НО НЕ СТАЛИ ЦИНИКАМИ

В один из своих недавних приездов в Москву Государственный секретарь США дал интервью «Огоньку». Последний из заданных нами вопросов был несколько дерзок. Мы спросили, не размышляет ли господин Шульц о новом кресле, которое может понадобиться ему еще в этом году — ведь президент сменится. Государственный секретарь засмеялся: «Я мечтаю не о кресле, а о диване. Очень хочется перевести дух, в таком темпе вершится современная жизнь. Прилечь на мягком диване и перевести дух...»

Он, конечно, шутил, но об усталости сегодня говорят многие. Вначале — о неисчерпаемости сил и надежд, но — все чаще — об усталости тоже.

События, происходящие сегодня в стране, обусловлены тем, что мы устали от Сталина. Не случайно и в лидеры страны вышел человек не только нового мышления, но и нового поколения. М.С. Горбачев — первый руководитель наш, никак административно не связанный со сталинским

временем. Все другие — хоть кем-то заметным, но были уже при Сталине. Горбачев — нет. Перестройка — восстание против сталинщины, сталинского неуважения к человеку, против признания нас «винтиками» и больше никем. Мы устали от того, что нас столько раз завинчивали против резьбы.

Мы устали от бессмысленности приказов, которых никто не выполнял, от обещаний, в которые никто не верил. Устали, но не стали циниками. Отвергнув сталинскую самодержавность, мы должны были принять ответственность на себя и начать многое не только обсуждать — делать по-новому. Как? Ответственность за сегодняшний день всегда более сложна и обязывающа, чем абстрактная ответственность за светлое будущее. К этой-то конкретности многие из нас не готовы.

Советские люди выстроили гигантские заводы и создали гигантские колхозы, построили самые большие ракеты и корабли, но почему-то не стали от этого массово счастливы. Даже перед лицом лучшего грядущего из возможных.

Собственно говоря, тот рай, что был обещан нам административными выдумщиками, существовал в далеких далях. Бюрократия создавала себе рай куда более притягательный, нынешний, паразитируя на народном энтузиазме. В этом сущность и многих современных конфликтов: один из них это между нежеланием уже хорошо устроившихся жить по-иному и массовым стремлением к справедливым переменам.

Счастливое будущее — цель достойная и высокая. Но хоть куда-нибудь годное настоящее тоже чего-то стоит.

Сталинский административный социализм, счастливая жизнь из-под палки нет-нет и напоминают о себе действиями руководителей, желающих осчастливить нас запрещением думать самостоятельно, изъятием всякой свободы из кругов нашей жизни, объявлением общечеловеческих ценностей исключительно буржуазными, а значит ненужными советскому человеку.

Сколько я помню своих бабушек и дедушек — они стойко сносили тяготы, веря в мое счастье. Отец и мать мои пребывали (мать до сих пор пребывает) в твердой уверенности, что если уж не я, то внуки мои поживут на славу. В стране стало даже почти неприличным самому стремиться к жизненным благам.

Перестройка четко сформулировала программу, сулящую не только отдаленные перспективы. Причем, преобразования свершаются не в одном лишь материальном плане. Мы учимся не бояться правды; привыкаем к реализму повседневному, жестокому, к смыслу мудрой русской пословицы: «Как потопаешь, так и полопаешь».

Но в стране слишком многие привыкли есть, не топая. Перестройка — это еще и возвращение к норме. К пониманию того факта, что ненормально иметь на каждые 6-7 работающих одного начальника, которого эти работающие кормят. Иногда мы сами не представляем своих масштабов; к концу лета у бюрократов начали отнимать более 400 тысяч персональных автомобилей. Это как бы между прочим, но цифра-то какова! Так и надо: по шагу, по капле двигаться в избранном направлении. Люди становятся сильнее, дружелюбнее, увереннее в себе. Если вы встречались с советскими вчера и сегодня, то ощутите это со всей четкостью.

Сейчас уничтожается еще один сталинский миф: что окружающий нашу страну мир преимущественно враждебен. Годы террора оправдывались (это можно было объяснять и оправдывать!) именно тем, что никто, кроме нас, о мире и благе человечества даже не помышляет. И при этом даже у нас в стране шпион на шпионе. Перед прошлой войной шпионы были преимущественно немецкими и японскими; после войны, как правило, американские. Одного, Пауэрса, мы сбили, но сколько их проникло и внедрилось — не сосчитать! Увы, универсальны не только стремление к демократии, но и маккартизм, или называйте это явление, как угодно.

Возвращаемся к норме. Шпионов убавилось. Учимся жить в мире. Разоружаемся. Уходим из Афганистана. Но, тем не менее, редакция получает письма: «А что, если мы совсем разоружимся, а капиталистические страны на нас нападут?» «Скажите, вы не нападете на нас, если мы будем разоружаться?».

Нормальные люди начинают лучше понимать друг друга. Но я отчетливо вижу как наши с вами сторонники жесткой линии тоже хорошо понимают друг друга и едва ли не в открытую сотрудничают. Американцы шлют крейсер к берегам Крыма, а наши сообщают, что СПИД придумали в кабинетах ЦРУ. Ваши бюрократы не дают визы кому-то и наши кому-то не дают визы. Потом они, наверное, плачут от радости и взаимного понимания.

Не знаю, как было с этим у вас, но я говорил уже, что наша бюрократия строила державу «под себя». Сегодня им и их потомкам очень удобно жить, поэтому они идут против перестройки в штыки. Уже поднимаются. Серия недавних статей, подозрительно одновременно вышедших в советских газетах и журналах и впрямую оспаривающих демократический курс Горбачева — первый хорошо скоординированный залп. Надо отвечать им. Отвечаем. От благодушия первых месяцев перестройки, от наивной веры в то, что народ дружно и бескорыстно объединится вокруг таких замечательных лозунгов, мы приходим к ощущению, что за перестройку придется побороться и еще как.

Очень трудно вам обо всем этом рассказывать. Это все равно, что спорить, кто лучше движется — рыба или заяц. Каждый в своей среде. Но так же, как рыбы с зайцами формируют живой — в разных средах существующий — но цельный мир, так и мы с вами образуем человечество. И все понятнее, что если нам будет хорошо, то и вам будет неплохо. Если мы выиграем перестройку, если отстоим гласность, то и ваши «инквизиторы» не воскреснут, как они во всем мире воскресают сейчас, поддерживая друг друга.

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ И «ПОСТЕПЕНОВЦЫ»

Когда с самой высокой советской трибуны было впервые заявлено, что восьмидесятые годы Советский Союз встретил в предкризисном состоянии, некоторые из нас решили, что это было сказано слишком мягко, хоть, по судебным меркам семидесятых годов, и за этот клеветнический вывод полагался срок. Нам казалось, что мы уже давно живем в стране, охваченной глубоким всесторонним кризисом, который вот-вот разрешится чем-то неопределенно-ужасным.

Однако Михаил Горбачев с его советниками был, пожалуй, прав. До кризиса, до такой температуры, при которой перестают действовать все обычные рычаги управления, не дошло даже сейчас, спустя три с лишним года.

О предкризисном состоянии и ни о чем большем свидетельствует то, как вяло и поверхностно совершаются преобразования, которые были обещаны народу после того, как в привычной обстановке траурной помпезности про-

водили в последний путь незадачливого генсека Черненко. Положение в народном хозяйстве ухудшается, но еще не достигло такой степени, когда бы реформаторы были вынуждены отказаться от разрушительного по самой своей природе централизованного командного планирования.

Продолжают держать на привязи и печать.

Разрешено, правда, многое. Разрешено такое, о чем до Горбачева и не мечтали: разоблачать Сталина, критиковать индустриализацию и коллективизацию, воспевать кое-кого из виднейших оппозиционеров, расстрелянных в тридцатые годы, без обязательного восторга разбирать произведения почти всех руководителей Союза писателей СССР (вольность, которая пишущую братию пьянит не меньше, чем то, что газеты могут писать о некоторых крупных забастовках и массовых выступлениях). Однако руководителям печати напоминают, что открыто спорить с газетой «Правда» нельзя, поскольку она центральный орган партии, а то, что ЦК и Политбюро критике не подлежат — это уж разумеется само собой.

Что ни день, то выдвигаются и другие «нельзя». Так что настроение многих из нас по-прежнему определяется не столько тем, что нам сегодня позволено, сколько тем, что — запрещено. Что запрещено, то и болит. Вернее, наоборот: что больше всего болит, то и запрещено.

Резко осуждены первые попытки не совсем апологетического разбора деятельности и взглядов Ленина. «Как мало надо верить в его правоту и величие, — сказал мне один из твердых ленинцев, каковых у нас еще немало, — чтобы бояться, что его авторитет не выдержит свободного критического анализа на родине ленинизма!» Нельзя обсуждать вопрос о сокращении армии, без чего ее не оздоровить. Нельзя подробно и правдиво писать о том, что происходит в Польше и Румынии, как, впрочем, и в любой другой братской стране. Нельзя вслух мечтать о независимой массовой печати и многопартийности. Пресса призвана всячески способствовать укреплению руководя-

щей роли одной партии, но статью, в которой вы пытаетесь показать, что не партия правит тем же Госпланом, а Госплан — партией, и возгласите: коль она одна и правящая, так пусть все-таки правит, — статью, продиктованную такой заботой о повышении роли КПСС, не пропустят.

Особенно строгий запрет наложен на вопросы: есть ли у наших руководителей программа действий, на выражение опасений, что вместо стратегии нам еще долго будут предлагать тактику — тактику малых шагов в неопределенном направлении.

Создается впечатление, что власть считает, что запланированный ею уровень гласности и свободы слова достигнут. Испугались первых признаков того, что происходило в Испании сразу после Франко: повального обнажения. Испугались — и с наивно-хмурой старательностью взялись пресекать.

Вначале с готовностью искали оправдания каждому неверному высочайшему шагу: «новым людям трудно», «надо их понять», «у них противники», «надо маневрировать» и т.д., и т.п. Первое, что требует справедливость и сейчас, — действительно попробовать объяснить наметившийся застой благими намерениями. Но все-таки... Что она, собственно, дает и может дать — политика жесткого, подчас открытого недоброжелательного сдерживания общественного темперамента? — все чаще спрашиваем мы друг друга. Приближает она кризис или отдаляет и даже предотвращает его? Кто может это сказать? Вопрос тем более трудный, что не всякий кризис однозначно нежелателен. Болезни, протекающие бескризисно, бывают чреваты особенно тяжелыми, необратимыми последствиями. Кризисы расчищают строительную площадку. Лучший из близких нам примеров — Польша. ПОРП в своей перестройке пошла уже намного дальше, чем КПСС, но спрашивается: сумела бы она это сделать, если бы не знаменитые польские кризисы?

Бесспорно, кажется, одно. Какими бы добрыми ни были

намерения тех, кто отвешивает нам свободу слова наравне с другими дефицитными товарами, цена, которую страна платит за это дозирование, очень велика. Речь идет об определенном разочаровании. Слов нет, паника может оказаться зряшной, но беда от этого не уменьшается, паника есть паника. Беда в том, что в таких делах, как демократизация, невозможно остановиться, даже если очень этого хотеть. Или вперед, или назад, на одном месте не потопчешься. Попытка удержаться на одном месте оборачивается откатом назад. Особенно неприятно, если это происходит вопреки тому, что задумывалось, — тогда маятник может отлететь слишком далеко. С мыслью, не произошло ли это, многие начинают каждый новый день.

Государство, которое в конце двадцатого века решает за гражданина с высшим образованием, что ему читать, подвергает себя исключительному риску. Об этом говорят у нас в эти дни, в эти минуты, когда из уст в уста передаются будто бы сказанные в Кремле или на Старой площади слова: «Солженицын нам не нужен». Об этом говорят не экстремисты, а вполне уравновешенные, но думающие люди, обеспокоенные тем, не становится ли политика постепенности самоцелью. Эта политика вызывает не только уныние, но и любопытные, подчас весьма дельные возражения. В одной из рукописей, которая не может быть сейчас напечатана, я прочитал призыв самым серьезным образом задуматься над опытом тех стран, где «застойное прошлое» преодолевалось другими, чем у нас, методами и темпами. «Смогла бы Германия, — пишет автор, молодой экономист, — поверженная, морально опустошенная, за одно десятилетие превратиться в «локомотив Европы», если бы она не пошла на сокрушительный разрыв с идеологией, политикой и системой тоталитарной власти? Что было бы, если бы эта страна стала бы шаг за шагом, медленно, по крупицам, отторгать от себя «не оправдавшие» и опорочившие себя элементы авторитарной идеологии? Экономическое чудо ФРГ было обеспечено решительной сменой

идеологии и конституированном экономического либерализма в чрезвычайные сроки».

Нам, похоже, предстоят трудные времена. Для того, чтобы провести подлинно радикальные реформы, предкризисной ситуации оказалось мало. Остается надеяться на кризис. Хотелось бы, чтобы был он благодетельным, творческим. Но знать бы, каким он будет!

Когда это мое выступление прочитали мои друзья, они сказали, что я должен считаться с тем, что буду неправильно понят. Журналисты, мол, объявят, что я не просто предвижу кризис, а призываю его, причем, в понятие кризиса вкладываю-де нечто очень страшное. У нас возникла дискуссия, и я сказал, что могу привести примеры из сегодняшней нашей жизни, которые можно рассматривать как первые признаки предстоящего благодетельного кризиса. Газеты сообщают о случаях, когда колхозы и совхозы то здесь, то там явочным порядком выходят из-под власти государственного ведомства, управляющего агропромышленным комплексом. Есть и заводы, которые отказываются подчиняться своим министерствам и с вызовом объявляют об этом во всеуслышанье. Кто мог еще вчера предположить, что борьба за демократизацию может принять такие «кощунственно-революционные», с точки зрения правоверного тоталитариста, формы? Непослушание отдельного лица, протест группы людей, даже всего рабочего персонала предприятия — это одно, это знакомо, но бунт предприятия со всей его администрацией, с партийным, профсоюзным и комсомольским комитетами — другое, небывалое, непредвиденное. Это поистине творчество масс, низов, здесь администрация и персонал не противостоят друг другу, а солидарно и действительно по-революционному берут себе права, нужные им для эффективной деятельности. Причем, это бунтующее творчество одобряется высшим политическим руководством, которое, как кажется, само временами изнемогает под давлением ведомственного империализма. Я встречал у нас

образованных ленинцев, которые именно с этим явлением связывают чуть ли не все свои надежды. Но кто знает, сколько колхозов и совхозов, сколько заводов должны взбунтоваться, чтобы количество перешло в качество и обрело характер кризиса, который многократно ускорит процесс выработки и принятия кардинальных экономических и политических решений?

Само собой разумеется, мне было сказано, что я экстремист. Это одно из недоразумений последних лет: называть экстремизмом мнение о том, что разрыв с прошлым должен быть резким, что пропасть надо преодолевать в один прыжок. Показательно для наших нравов: эту точку зрения многие «постепеновцы», особенно руководящие, считают не просто ошибочной, но и предосудительной, опасной, заслуживающей прямо-таки наказания. А ведь она выражает отнюдь не одно лишь нетерпение и прочие юношеские чувства. Она исходит из анализа, не мене строгого и спокойного, чем тот, на который опираются «постепеновцы». Кто может с уверенностью сказать и дать гарантию с приложением подписи и печати, что постепенность не будет означать постепенного накопления трудностей и недовольства, которое в один несчастный день все равно обернется тем, чего сейчас хотят избежать посредством тактики малых шагов? А раз такой гарантии нет, то думаю, что было бы дальновидно со стороны властей пустить эту мысль в печать: пусть бы общество как следует с нею повозилось — это подготовило бы население к вполне вероятным резким переменам. Народ надо готовить ко всем вариантам. Вопрос о способах и сроках революционных преобразований — слишком серьезен, чтобы считать его уже решенным. Я допускаю, что жестоко ошибаюсь, считая убедительными взгляды и предложения «экстремистов-рыночников» (экстремисты — не рыночники меня не интересуют, это по части психиатров). Но мне хотелось бы, чтобы и «постепеновцы» допускали, что они могут ошибиться, тем более, что их разочарование, в случае моей правоты, будет еще более горьким.

Юрий КАРЯКИН

ЭТО НАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Реформы Горбачева — это наша третья перестройка. Первая началась — по инициативе Ленина — еще в марте 1921 года (нэп). Основные ее контуры, главные ориентиры ее программы определены в последних ленинских работах, в его политическом Завещании (кстати, там уже есть и само это слово — перестройка — в значении, близком к нынешнему).

Это Завещание в одном важнейшем, конкретном пункте было вообще преступно скрыто от партии, от народа. Речь идет о предложении снять Сталина с поста Генсека.

Что касается самой ленинской программы перестройки в ее социально-экономическом и политическом содержании (кооперативный план, демократизация партии и государства, национальный вопрос, «перемены в нашем политическом строе»), то она была сначала извращена, а потом и вовсе отменена Сталиным и сталинцами.

Вторая перестройка началась после смерти Сталина и продолжалась с известными колебаниями, непоследовательностью до середины 60-х годов. Ее тихое удушение происходило под знаком реабилитации сталинщины. Результат удушения — то, что названо было сначала «застоем», а теперь — «кризисом».

И вот перестройка третья. Дважды убитая, она вновь воскресла. Воскресла под знаком окончательного искоренения сталинщины, под знаком возвращения к ленинским ориентирам, принципам, под знаком их развития. Но это наш последний исторический шанс. Здесь сплелись самые большие наши надежды и самые большие опасения. Одно из двух: либо она удастся, и тогда мы превратимся в нормально функционирующее социалистическое общество со своими нарастающими стимулами саморазвития, то есть наконец, найдем себя, либо потеряем себя окончательно, и тогда наш народ, наша страна, наши идеи потерпят такое поражение, которое окажется буквально катастрофическим.

Маркс писал об одной важнейшей особенности социалистических революций: они «постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются на ходу, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, затем чтобы еще раз начать это сызнова, с жестокой основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли всосал свежие силы и снова выпрямился могучее прежнего, все снова и снова отступают перед неопределенностью своих целей, пока не создастся положение, отрезающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно:

«Здесь Родос, здесь прыгай!
Здесь роза, здесь танцуй!»

Но история сделала две поправки к марксовой закономерности. Во-первых, главным противником социализма

оказалось его казарменно-бюрократическое извращение. Во-вторых, искоренение этого извращения оказалось вопросом судьбы самого социализма, более того, вопросом жизни и смерти всего человечества.

Прибавим сюда еще чувства национального достоинства, национальной гордости и чести народов нашей страны, которым к тому же грозит небывалое отставание, небывалое унижение в случае гибели третьей перестройки.

Чтобы перестройка сделалась действительно необратимой, надо, по-моему, прежде всего трезво, бесстрашно и даже, если угодно, жестоко представить себе, осознать, что будет, если она погибнет. Представить, осознать так, чтобы этот путь, путь отступления, провала, катастрофы, стал въяве отвратителен всему нашему обществу, а потому — закрыт, отрезан, заказан.

Что будет, если перестройка погибнет? Будет Чернобыль! Универсальный — экономический и политический, социальный и национальный, идеологический и духовно-нравственный. И произойдет это как бы по плану, в результате вполне сознательных, целеустремленных усилий тех, для кого нет ничего выше корыстных интересов и привилегий, кто знать не желает, к чему все это ведет, тех, о ком сказано:

«...страх увидеть бездну
Сильнее, чем страх в нее шагнуть.»

Может быть этот подход покажется кому-то запугивающим, алармистским и даже «апокалипсическим». Однако, именно это настроение, эту установку и необходимо преодолеть, переломить. Речь на самом деле идет лишь о мужестве увидеть бездну, чтобы в нее не шагнуть.

Все думают, говорят, пишут: обратима или не обратима перестройка? Ну, так и будем последовательны до конца. Решать задачу при наихудших из всех возможных условиях — это и есть высшее мужество. Сейчас перестройке нужно самое трезвое, самое беспощадное выжигание всякого самообмана и всякого самообольщения.

Витторио СТРАДА

СТАЛИН БЫЛ, И ЭТО ТРЕБУЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ

Не составляло бы труда присоединиться к хору официального советского антисталинизма и принять участие в демонизации Сталина, превратив его в козла отпущения за все зло в России и в мире. Это сделать несложно, но исторически и политически это была бы некорректная и вводящая в заблуждение акция, потому что Сталин только укрепил коммунистический тоталитаризм, но создал его не он. Основы этого тоталитаризма были заложены большевистской революцией и ее великим демиургом — Лениным, а фашистский тоталитаризм лишь обезьянничал, противопоставив себя одновременно либерализму и коммунизму. Никто не утверждает, что Ленин и Сталин одно и то же, но нет операции обманчивее той, которая стремится установить между ними абсолютную идейно-политическую разницу. Дело не в детерминистском установлении генеалогии, автоматически ведущей от Маркса к Ленину и от Ленина к Сталину, а в понимании политических

и интеллектуальных предпосылок и структур, которые заложены в конкретных условиях исторического развития.

Сейчас модно рассуждать об «альтернативах» и «неосуществившихся возможностях» советской истории, как будто Сталин оказался и так долго удерживался у власти случайно. На самом же деле, как всегда в истории, всякая утвердившаяся линия развития предполагает наличие более или менее широкого пучка потенциальных возможностей, которые не получают реализации, и историк, конечно же, должен выявить все, что имелось в зачатке. Однако это только в целях объяснения того, что превратилось в законченный организм, иначе нашему историку лучше поменять профессию и заняться исторической фантастикой или же стать придворным идеологом власти, которая заинтересована в манипулировании прошлым.

Историческая генетика принципиально отличается от биологической, но она может, пользуясь собственными методами, объяснить, почему Маркс породил Ленина, а Ленин — Сталина, и в целом коммунистический тоталитаризм.

Что касается России, проблема в том, чтобы выяснить, почему именно в этой стране идеи Маркса нашли наиболее благодатную почву и почему здесь, в отличие от Западной Европы (где эти идеи постепенно лишались своей тотально-революционной силы, превращаясь наравне с другими в простые интеллектуальные стимулы), — так вот, почему здесь эти идеи развили весь свой потенциал, и деструктивный, и конструктивный, и, развитые Лениным, стали решающей силой в нашем столетии. Этой тематике я посвятил многочисленные исследования, говорить о которых здесь нет возможности. Напомню только, что уже в начале века в русской демократической и социалистической культуре высказывались предостережения о возможности, так сказать, «сталинского» исхода ленинизма. Это известно всякому, кто знаком с дискуссиями вокруг ленинских «Что делать?», «Партийная организация и партийная литература», «Материализм и эмпириокритицизм» и вобще с критикой Ленина со стороны Петра Струве, Георгия Плеханова, Юлия Мартова и других. Серьезная и честная критика сталинизма невозможна в отрыве от той критики, которой ленинизм подвергался еще задолго до и после 1917 года.

Тоталитаризм не был вызван дьявольскими кознями горстки неизвестно откуда взявшихся лиц с криминальными наклонностями. Если бы это было так, нам пришлось бы отказаться от поисков каких бы то ни было рациональных объяснений. Феномен тоталитаризма коренится в русской, немецкой, а также итальянской культуре и — более широко — в культуре европейской. Если же ограничиться Россией, то здесь его зарождению способствовала, помимо культурных влияний, идущих от Руссо до Гегеля и Маркса, специфическая ситуация недоразвитости или относительного отставания (в сравнении с европейским Западом) ситуация, внутри которой сформировалась, как я это определяю в своей работе о «Что делать?», «народническая (популистская) логика». Это логика исторического развития и исторического действия, предполагающая сознательное и планомерное ускорение культурного развития и такую власть, которая, подобно Архимедову рычагу, позволила бы осуществить подобный проект. Ленин придает этой логике, в марксистском духе, универсальный характер. Он усматривает в русской революции пружину мировой революции, а затем, когда эта последняя оказывается миражом, превращает Россию в лабораторию и штаб. На этой почве и стал возможен «сталинский феномен». Поэтому-то нельзя превращать Сталина просто в преступника: спору нет, он был преступник, но он был и революционер, и вне революционной коммунистической культуры становятся необъяснимы ни он, ни его культ, причем не только в России, но и в мире.

В истории коммунистического тоталитаризма различаются три периода: период формирования, при прямом

участии и под руководством Ленина, период расцвета, выразителем которого был Сталин, и третий, сегодняшний, период кризиса системы, а вернее, исторического кризиса всего мирового коммунизма. Я называю третий период «поздним тоталитаризмом» и вижу в нем предпосылки перехода к пост-тоталитаризму. В этом переходе я усматриваю историческую задачу и России-СССР, и демократической Европы, и немарксистского социализма. Только если осуществится такой переход от «позднего тоталитаризма» к пост-тоталитаризму, Европа сможет обрести новое дифференцированное единство и можно будет окончательно достигнуть нового мирового равновесия. Произойдет ли такой переход в СССР и в подчиненных ему странах и как он произойдет, нельзя предсказать.

Сегодня в советской идеологической публицистике говорят о «социалистическом плюрализме», понимая под этим терпимость к многообразию позиций, если только они не выходят за рамки «социализма». Это, несомненно, известный прогресс по сравнению с губительной монолитностью, царившей в СССР в течение сишком долгого времени. Но очевидно, что пределы, полагаемые рамками «социализма», делают этот плюрализм весьма слабым и зыбким, потому что остается неприкосновенной власть, полагающая пределы, то есть устанавливающая, что есть «социализм». Но ведь в том-то и дело, чтобы подойти к определению социализма с позиций полной свободы, а значит, полагая себя вне его. Таким образом, пока имеет место лишь парадоксальный «тоталитарный плюрализм».

Жизненное пространство плюрализма — либеральная демократия, которая может обогатиться, как это произошло в европейской культуре и политике, идеями и требованиями социализма, но она не может отказаться от собственных принципов свободы. Единственный, подлинный плюрализм — это плюрализм демократический, который может критически относиться к социализму и его конкретным проявлениям, но одновременно является и условием

возможности всякого социализма. Противоречие советского «позднего тоталитаризма» как раз и заключается в «социалистическом плюрализме», который, чтобы быть плюрализмом, должен превратиться в демократический плюрализм, то есть пост-тоталитарный. В этом смысле особое, актуальное значение приобретает изучение русской либеральной традиции — от Чичерина до Струве, от Новгородцева до Гессена.

Другое противоречие — в специфически культурной сфере. Мы радуемся возрождению русской культуры, в частности, литературы. Но если сравнить это возрождение с культурной жизнью демократических стран, в особенности, с культурной жизнью дореволюционной России, то бросаются в глаза существенные ограничения, в плену которых все еще находится сегодняшняя русская культура. Критический дух, являющий другой аспект творческого духа, не терпит внешних преград. Значит, ослабления цензуры недостаточно: необходимо вернуть культурному сознанию его полную критическую свободу. Первое условие этого — уничтожение тех уродств, какими являются «идеологическое государство» и «государственная идеология». Правда, сегодня в СССР можно не быть или не объявлять себя марксистом, но диктатура марксизма-ленинизма остается и ее растлевающее воздействие намного сильнее, чем это принято думать.

Дело, разумеется, не в том, чтобы положить начало антимарксистской кампании, и даже не в том, чтобы «отправить Маркса на чердак», хотя бы потому, что без знания и понимания Маркса невозможно знать и понимать современный мир, на который Маркс оказал весьма заметное воздействие. Речь идет о понимании того, что эпоха, в которую марксизм спесиво выдавал себя за единственный Субъект, способный научно интерпретировать действительность, уже давно отошла в прошлое и что марксизм превратился в Объект, который в свою очередь должен быть интерпретирован. Причем не догматической и

высокомерной наукой, какой он объявил себя, а открытым критическим знанием, полагающим своей и нравственной и интеллектуальной задачей понимание нашей эпохи и нашего мира в их возрастающей сложности.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу это — исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде, чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — $18, по предварительным заказам — $15. Заказы и чеки высылать по даресу: Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605.

В 1957 году я выступил в газете «Труд» с фельетоном «Докажите, коли сумеете», за который был привлечен к партийной ответственности. На заседании Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС (которое вел лично Шверник), мне объявили строгий выговор. И с этого времени начинается период моих долгих мытарствоваиий. Шоферская многотиражка «За рулем автомобиля» и ее колоритный коллектив, возглавляемый редактором Никитой Ивановичем Болотниковым, и еще целая галерея редакторов журнала «Советские профсоюзы», куда я затем попал... — о советской журналистской кухне, через которую я прошел, и еще о многом другом пойдет речь в предлагаемых читателю главах.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

НИКИТА ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ

Главы из книги «Покинутая Россия. Журналист в закрытом обществе»

Внешне Никита Иванович, работавший раньше редактором Истринской районной газеты, оказался весьма колоритной личностью с бритой, похожей на кофейник головой и таким же длинным, напоминающим ручку кофейника, красным носом — типичный руководитель районного масштаба: председатель райпотребсоюза, начальник райфо или чего-то в том же духе. Говорил он в нос, с дребезжащим прононсом, по-видимому, из-за не удаленных в детстве аденоидов. Сидел в небольшой, заставленной столами редакционной комнате, окруженный со всех сторон, как петух цыплятами, еще тремя, очевидно, только что взятыми на работу молоденькими сотрудниками. При моем появлении все трое стали с интересом наблюдать за развитием событий возле редакторского стола.

События развивались довольно медленно — Никита Ива-

Начало в номере 102.

нович долго читал мою автобиографию и личный листок по учету кадров, которые всегда были у меня наготове. И наконец своим дребезжащим голосом изрек:

— Виктор Борисович! Все бы у вас неплохо, но, не скрою, одно обстоятельство приводит меня в смущение. Я имею в виду выговор от Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Как бы кое-кто повыше не прицепился к этому обстоятельству и от страха — извините за вульгаризм — не наложил в штаны! В общем, я, конечно, доложу начальству...

Трое литсотрудников следили за нашим диалогом.

— Лев Борисович, Илья Сергеевич, товарищ Якимов, работа продолжается, — обвел их недовольным взглядом Никита Иванович и вышел из комнатки. Я последовал за ним. И следом вылетели все трое сотрудников.

В коридоре по очереди они протянули мне руки:

— Якимов — ответственный секретарь этой мощной газеты! — Якимов был в узеньком пиджачке, тощий, с папироской в зубах и лицом алкоголика, что никак не соответствовало его интеллигентной и чуть насмешливой речи.

— Овсяников Левон, — протянул руку следующий, с быстрыми, стреляющими по сторонам глазами. — Шофер первого класса. Газетчик по зову сердца...

Пока я разглядывал третьего, он успел шепнуть мне, что шеф — сволочь страшная, стукач и прочее, «но ничего — обломаем...»

— Илюша, — наконец неуверенно подал руку третий, совсем еще ребенок, курчавый, с полными детскими губками, про которого я в первую же минуту подумал, что ему нет семнадцати...

— А у Илюши мама в «Московской правде» работает заведующей отделом писем, — дурашливо гаркнул Левон. — Илюша у нас в гранках родился, и вообще он начинающее дарование.

Не успел я познакомиться со своими будущими коллегами, как в коридоре снова появился Никита Иванович и сказал, что меня просит войти управляющий Мособлавтотрестом товарищ Чернявский.

Разговор с Чернявским был куда более определенным, чем с Никитой Ивановичем.

— Выговор от КПК имеется? — сухо спросил он, заглянув в мою анкету. — Не знаю, не знаю, будем в отношении вас советоваться. Позвоните завтра.

Назавтра Чернявский уехал в область, а Никита Иванович сказал, что он без управляющего ничего сказать не может. («Высекут еще ни за что ни про что!») Мое устройство в газету «За рулем автомобиля» продолжалось еще битых две недели, и, прежде чем занять свое место за маленьким столом, расположенным левее от главного стола Никиты Ивановича, мне еще несколько раз пришлось ездить в МК, пока инструктор отдела пропаганды Фенин, чувствовавший за спиной резолюцию начальства, не приказал стальным голосом в трубку Чернявскому: «Есть прямое указание Петра Ниловича Демичева, вам ясно или нет? С понедельника обязываем его (то есть меня) на работу взять!»

Стоял дивный май, и наша компания во главе с Якимычем, в узеньком пиджачке и «чинариком» в зубах, и замыкаемая розовощеким и гордым, что и он теперь в рядах газетчиков, Илюшей, выходила со двора дома № 8 в Фурманном переулке.

Здесь, в самом углу двора, располагалась контора Чернявского, управляющая жизнью шоферской братии Подмосковья — таксистами, механиками, диспетчерами, кондукторами и Бог весть еще кем, а на втором этаже в двенадцатиметровой комнатушке располагался главный политический орган этой конторы — газета «За рулем автомобиля».

Каждый говорил и думал о своем: Якимыч о том, где бы ему в эту духоту проглотить кружечку пивка, Левон вдруг внес предложение — податься в «Нарву» и выпить по стопке по случаю выхода первых номеров газеты «За рулем автомобиля». Розовощекий Илюша, покраснев как вареный рак, вдруг спросил меня робеющим голосом: неу-

жели сам Шверник объявил мне выговор и я своими глазами видел его.

— Да, видел, — улыбнулся я, — имел такое счастье.

— Глаз в глаз? — все еще никак не мог поверить Илюша. — Если бы ты только знал, как я тебе завидую! Представляешь, Левон, иду с девочкой, журналист, газетчик, а в партбилете выговор от КПК от самого Шверника, да я бы с ума от счастья сошел.

А у меня были свои мысли — что теперь я, возможно, и не пропаду.

— Сколько у нас людей-то в подчинении? — спрашиваю я у Якимыча.

— Тысяч пять негров! — смеется он. — Целая армия...

Вечером я взахлеб рассказывал Кленову о своей новой фирме. Возвратившись из Конаши в Москву, он устроился инспектором по кадрам в Московской областной конторе Главлесбумсбыта. Кленов остался Кленовым, и когда он встречал своих бывших сокурсников, то сообщал им, что работает начальником отдела кадров самого Главлесбумсбыта. Мне такого никогда не добиться. Но и я, как было всем доложено, устроился не на табачной фабрике «Ява», а в главной шоферской газете Московской области. Все, что на четырех колесах, все в моем распоряжении, не говоря о том, что трест выдал каждому из нас по черному удостоверению общественного ревизора.

Так что если мы попадали в Рузу или в Можайск, то могли бесплатно ездить на всех видах транспорта. Впрочем, все виды транспорта — это только автобус. Таксисты наши удостоверения всерьез не принимали. Когда Левон ухитрился не взять билета на электричку, то был за милую душу оштрафован. Денег, правда, не заплатил, но в редакцию шли одна за другой повестки из суда. Никита Иванович, не уставая, мучил Левона укорами: «Лев Борисович, с судебными инстанциями шутки плохи, будете тянуть — последние портки снимут, не вякнете!»

К каждому из сотрудников у Никиты Ивановича был свой

подход. Больше всех доставалось Илюше Меленевскому. Он оказался непревзойденным графоманом, если это слово вообще было применимо к недоучившемуся 17-летнему Илюше.

За полдня он был способен написать сразу три очерка, а так как наша безгонорарная газета вечно испытывала голод по материалам, то все его творения шли в набор, хотя и вызывали нарекания Никиты Ивановича.

— Илья Сергеевич! — говорил он. — Вы пишете много, но слишком увлекаетесь штампами. Надо все-таки головой думать, а не тем местом, на котором сидите. Пишете: «В автобус вошла девочка со щечками, как красный помидор». Я пропустил только потому, что править не было времени, но на будущее прошу со штампами быть поаккуратнее.

В будущем ничего не менялось, и Никита Иванович тем же меланхоличным голосом продолжал распекать Илюшу.

— Илья Сергеевич, чего вам дались эти овощи? Пишете: «Рядом с водителем такси сидел мальчик. Голова его была чем-то похожа на огурец». Строго говоря, ни одна детская голова на огурец не бывает похожа, хотя бы потому, что у детей растут волосы, а огурец — существо безволосое... вроде нашего с вами эпинштейна...

Уроки Никиты Ивановича Меленовскому впрок не шли. Ко всему прочему Илюша обладал потрясающей способностью перевирать все факты. За факты Никите Ивановичу мылил шею лично Чернявский, и он не раз мне плакался в жилетку по поводу своих мук с Илюшей и его творениями.

— Между нами говоря, Виктор Борисович, из Меленевского, возможно, и выйдет толк, только неизвестно, при жизни ли нашего поколения. А пока не материалы, а сопли, извините за выражение. И, главное, выгнать — не выгонишь. Во-первых, комсомолец, а во-вторых, мама — член редколлегии «Московской правды». Мимо этого факта так просто не пройдешь.

У меня Никита Иванович тоже нашел слабое место, хоть

и не переставал подчеркивать, что по профессиональному уровню мои материалы на двадцать голов выше очерков Меленевского. Главные претензии Никиты Ивановича касались распределения светотеней в моих материалах.

— Виктор Борисович! — сказал редактор на второй день после моего прихода. — Очень уж мрачные тона в нашей критической корреспонденции о Егорьевском автохозяйстве. Какая-то помойка, а не советское предприятие. Критика — вещь полезная, но надо знать меру. А это прямо для «Голоса Америки».

К таким материалам Никита Иванович был непримирим и, в отличие от очерков Меленевского, не допускал никаких компромиссов.

— Виктор Борисович, это для Би-Би-Си, прошу переделать, — и он решительно препровождал материал со своего стола на мой.

Вообще, такого хладнокровного зануды, как наш Никита Иванович, по-моему, не знал мир. И к тому же еще такого потрясающего лодыря. Позже, когда Якимов ушел и я стал ответственным секретарем, то почувствовал это на своей шкуре с такой силой, что однажды не выдержал и высказал Никите Ивановичу все, что накопилось на душе.

В летние дни Никита Иванович вообще не хотел работать. В три-четыре часа дня он снимал с гвоздика соломенную шляпу и преспокойно сматывал удочки, заставляя меня до ночи торчать в типографии и подписывать газету, то есть выполнять его прямые обязанности. Зато нам он не давал дыхнуть, и, если я пытался когда-нибудь отпроситься пораньше, он обычно долго мне выговаривал, сравнивал ответственного секретаря с капитаном на мостике... и кончал обычно одной и той же фразой: «Виктор Борисович, в следующий раз прошу планировать свое личное время так, чтобы не ставить под угрозу график выхода газеты...»

Так вот после одного из таких выговоров я вспылил и чуть не матерно выругал редактора.

Никита Иванович и глазом не повел.

— А у вас, Виктор Борисович, тоже есть недостатки, — прогундосил он.

Больше всего редактор любил, чтобы мы организовывали среди шоферов новые коммунистические почины. Такие материалы он обычно распоряжался ставить на первую полосу. Подписывал их, причмокивая от удовольствия губами, и даже не обращал внимания на штампы. Эту слабость Никиты Ивановича первым раскусил Илюша и вскоре без особого труда стал находить охотников выступать на первой полосе с творческими начинаниями. Больше всего их оказалось среди люберецких таксистов. Здесь, не без вмешательства Илюши, нашлись новаторы труда, и весь таксопарк первым в области включился в соревнование за досрочное выполнение пятилетки. По этому поводу Илюша один написал целую полосу, а Никита Иванович ее беспрекословно подписал, заметив при этом: «Они хоть и публика ушлая, но кашу с ними варить можно».

Слабость Никиты Ивановича к новым починам однажды привела к тому, что чуть не подорвалась вся газета.

Среди люберецких таксистов Илюша сумел выискать такого новатора, равного которому не знали автомобилисты Московской области. Это был сорокалетний одессит, водитель первого класса Борис Абрамович Карпиловский. Он без колебаний дал Илюше карт-бланш на любые материалы, нужные редакции, за его подписью.

Илюша не замедлил этим воспользоваться. Когда в депо «Москва-Сортировочная» началось движение за коммунистический труд, то первым в Люберцах разведчиком будущего стал человек нового коммунистического сознания — иначе Илюша его не называл в своих очерках — Борис Карпиловский. Он был первым последователем Валентины Гагановой и заявил со страниц газеты, что берет обязательство вытянуть сразу три отстающих бригады.

Ко всему прочему это был просто обаятельный человек, неиссякаемый источник анекдотов и веселья, за что мы все

его любили, звали между собой Бобом Карпиловским.

Портрет Карпиловского, внешне похожего на молодого Утесова из кинофильма «Веселые ребята», не сходил с первой полосы, пока однажды не позвонили из Люберецкого отделения ОБХСС Чернявскому и не сообщили, что в автобазе города Люберцы начато уголовное дело против группы таксистов во главе с бригадиром бригады коммунистического труда Карпиловским.

Даже в мошенничестве Боба Карпиловского угадывался почерк одессита. В «Образцовое коммунистическое обслуживание» Боб внес элемент частной инициативы. К этому обстоятельству и не осталась равнодушной милиция.

Боб вступил в тайное соглашение с несколькими персональными шоферами министров. Согласно этому соглашению, они, то есть персональные водители, в определенные дни заболевали и уходили на бюллетень. По случайности дни болезней совпадали с днями прибытия их шефов во Внуковский или Шереметьевский аэропорты. Сойдя с трапа авиалайнера и не видя своего водителя, могущественный шеф начинал беспомощно смотреть по сторонам, выискивая, кто бы мог его выручить из этой никем не предвиденной ситуации. В этот самый момент, откуда ни возьмись, и выплывала импозантная фигура Боба Карпиловского. Он услужливо подхватывал министерские саквояжи да плюс еще с великолепными одесскими хохмами отвозил попавшего в беду министра домой.

Он лично вносил багаж в апартаменты своего пассажира, и нередко случалось, что очарованный министр тут же предлагал Карпиловскому место своего личного шофера — настолько Боб был обаятелен в пути. В ответ неизменно следовал отказ Боба. Он был честным человеком. В лучшем случае, что он мог себе позволить, — это просто показать государственным людям, как должен работать цивилизованный водитель, за что государственные люди не могли отказать себе в удовольствии щедро вознаградить такого водителя. Он в свою очередь кое-что выделял и их персональным шоферам.

Так или примерно так выглядели показания обвиняемого Карпиловского следователю ОБХСС. Впрочем, остапбендеровская деятельность ничуть не мешала Бобу брать высокие обязательства, перевыполнять план по пассажирам и пассажирокилометрам, так же, как новаторская натура Боба не помешала ОБХСС начать против него уголовное дело.

— С тобой, Илюша, как с фальшивой монетой, лучше не связываться, — горестным голосом комментировал Никита Иванович головомойку, полученную от Чернявского за историю с Карпиловским. Ну, теперь твой вонючий Боб уж не вылезет, органы покажут ему такие почины, что своих не узнает. Крапивой по заду таких дельцов надо, простите за грубость...

Если бы Никита Иванович, потерявший в эти минуты объективность, знал, как он далек от истины в своих мрачных прогнозах относительно нашего любимца!

Спустя несколько лет судьба снова свела меня с Бобом Карпиловским, точнее не с ним, а с его звучной еврейской фамилией. Произошло это при следующих обстоятельствах. Поздно вечером у Савеловского вокзала я, вероятно, в течение получаса тщетно пытался остановить такси. Был двадцатиградусный мороз. Жена, находившаяся в то время в положении, преотвратно себя чувствовала, а мимо нас сновали свободные машины, и ни одна не удосуживалась остановиться.

Переписав номера нескольких машин, я наутро написал письмо начальнику Управления пассажирского автотранспорта Москвы. Письмо это, спущенное в таксопарки, как и следовало ожидать, не принесло никакой пользы. Отовсюду шли нечленораздельные отписки — тому-то по вашей жалобе поставили на вид, тому-то строго указали... И только один ответ поразил меня своей деловитой обстоятельностью.

«Многоуважаемый Виктор Борисович! — читал я. — Работники такого-то таксомоторного парка на общем

собрании всего коллектива обсудили вашу жалобу и единодушно признали, что вопрос о нарушениях на линии вами поставлен правильно и своевременно». Если бы в канцелярской переписке мог бы существовать жанр поэзии, то это было произведение именно этого жанра. Сообщалось о том, что после моего письма решено еще выше поднять ответственность каждого труженика таксопарка, укрепить товарищескую взаимопомощь и во всю ширь развернуть соревнование за коммунистический труд. В заключение следовала подпись — я не верил глазам! — «с коммунистическим приветом, замдиректора таксопарка Борис Карпиловский».

НАДО ЖИТЬ

Я позволил себе вспомнить эту почти анекдотическую историю явно в нарушение логики. Да и занимает меня несколько иной вопрос: какие силы, несмотря ни на что, помогают человеку оставаться самим собой. Нет, не применительно к Бобу Карпиловскому, а применительно к себе занимает меня этот вопрос. Думаю о трудных днях после окончания института, когда в должности бухгалтера-ревизора разъезжал я по районным газеткам, воображая себя невесть какой шишкой; о 57 годе, когда, обретя положение, вдруг лишился всего и тем не менее всегда пребывал в прекрасном настроении, и, если мать пыталась по обыкновению вспомнить Юридический институт (с неизменным рефреном: слушался бы ее, никогда бы ничего не произошло!) — я бывал искренне возмущен. Мать просто не понимает, какое положение я занимаю в своей областной газете «За рулем автомобиля».

Выше я назвал себя и себе подобных романтиками. Если это так, то откуда берется этот романтизм?

Отчего при всех перипетиях жизни я умудрился не падать духом, и я строю воздушные замки, и у меня отличное настроение. Конечно же, молодость! Конечно, надежды! Но те же черты нахожу в себе и сейчас, когда за плечами — лучшие полжизни, но как мало достигнуто.

И сколько таких, как я, встречались мне в жизни! Хотите, называйте их романтиками, хотите, как-нибудь еще, дело ведь не в словах. Об одних я уже писал, о других еще речь впереди, но все они возвращают меня к вопросу: что же выделяет их среди других?

В 1936 году в статье «Национализм и еврейство» Фейхтвангер писал: «С признаками еврейства обстоит так же, как с еврейским Богом, чье имя непроизносимо и который, несмотря на свою «неизобразимость», существует активнее, чем наглядно изображаемые боги других человеческих групп. Еврейство — не расовая общность. Еврейство — это духовная общность, общий духовный облик. Это согласие и взаимопонимание всех принадлежащих к этой группе consensus omnium в важнейших вопросах. Это согласованность трехтысячелетней традиции в том, что хорошо и что плохо, что счастье и что несчастье, что достойно стремления и что достойно отвращения, согласованность в элементарных воззрениях о Боге и человечности».

Так считает Фейхтвангер. Но, перенося национализм из области чувств в сферу логики и рассудка, он сам впадает в неразрешимое противоречие, так как оказывается неспособным ответить на главный вопрос: почему еврейская духовная позиция сумела сохраниться в течение тысячелетий? Иначе говоря, в чем источник духовной силы еврейства, которое при отсутствии территориальной, расовой, языковой общности, при отсутствии общности образа жизни оказалось способным выжить как нация.

Чувства побуждают обратиться к библейской истории, столь ярко представленной бесстрашными вождями, мудрыми и дальновидными правителями. К ним восходят многие черты еврейского народа, но судить по преданиям о живом еврейском характере можно с той же степенью достоверности, с какой выводить из образа Ильи Муромца характер Дмитрия Карамазова или солженицынского Ивана Денисовича.

По-видимому, надо искать этот характер в типических российских обстоятельствах. А что это значит для евреев? Это значит: национальные унижения, неравноправие, надежды и крушения — все что испокон веков было присуще российской действительности. Я имею в виду не святую поэтичную Русь Тютчева и Блока, а Россию Шолома-Алейхема, с чертой оседлости, с одесской биржей, с егупецкими маклерами и городовыми и с вечно неунывающим веселым страдальцем Менахем-Мендлом из Касриловки.

Вот что писал сам Шолом-Алейхем в 1909 году в канун праздника Ханука: «Менахем-Мендл — не герой романа и вообще личность не выдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1882 году на одесской малой бирже, мы потом рука об руку проделали все семь кругом ада на бирже в Егупце, «шли» с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной профессии к другой, но — увы! — нигде счастья так и не нашли и вынуждены были в конце концов по примеру многих эмигрировать в Америку... Там, говорят, евреи живут неплохо».

Стремительно летит время. Сегодня Егупец и Касриловка — такая дичь и старина, которую трудно представить человеку 70-х годов. Лишь по литературе я знаю о малой одесской бирже, егупецких сватах и маклерах. И при множестве своих неудач я лишен был «счастливой возможности» писать и плакаться в жилетку «дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шендл».

Но как это ни парадоксально, Менахем-Мендл и я — это одно и то же, хотя он провинциальный мечтатель николаевской России, а я журналист эпохи научно-технической революции. Бессмысленно перечислять, что нас роднит. Это надо чувствовать, как чувствовать себя Менахем-Мендлом. Вот уж кто живой пример гегелевского отрицания, пример того, как философская абстракция воплощается в

живом человеческом характере. Менахем-Мендл отрицает Менахем-Мендла. Ради утверждения себя в лучшем качестве, для лучшей жизни прошел он все семь кругов ада.

Я много писал об антисемитизме, о жестоких испытаниях, выпавших на долю советских евреев. Что же помогло им пройти свои семь кругов ада и, несмотря ни на что, не растворить ся, не потерять самих себя? Историки и этнографы еще не раз будут обращаться к этому вопросу. Я же хочу сказать о вечно живом, неукротимом менахем-мендловском духе еврейского народа; это он — который раз в истории! — выстоял перед испытаниями судьбы.

Великолепный афоризм привел Фейхтвангер, принадлежащий знаменитому рабби Гилелю: «Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому!»

Но как сказал бы Менахем-Мендл, одними афоризмами сыт не будешь, даже если они принадлежат такому мудрому человеку, как рабби Гилель. Худо — плохо, но надо еще делать дело, и кормить семью, и рожать детей, и надеяться на лучшее. Может быть, не все надежды сбудутся, но надеяться надо. В общем, у Менахем-Мендла свой девиз — «надо жить и не падать духом». И это все. И это главное.

...Он отправился искать счастья в Америку, а я, сделавшись ответственным секретарем газеты «За рулем автомобиля», подал заявление о снятии партийного выговора*. Объявляли мне его пять минут, а снимали около года, инстанция за инстанцией, и везде задавали один и тот же глубокомысленный вопрос: «Как же это вы так, товарищ Перельман, умудрились разрушить семью честного рабочего Иванова? Надо же думать, когда пишете!»

---

* В предыдущих главах подробно рассказывается об этой истории. Речь шла о травле изобратетеля Абрама Великовского его соседкой по квартире Надеждой Ивановой. Официальное обвинение состояло в том, что я разрушил семью рабочего Иванова/В.П/

После этого я и оказался в «ссылке» в многотиражке «За рулем автомобиля».

Секретарь Бауманского райкома партии в своей назидательной речи так увлекся, что я, грешным делом, подумал, как бы все это не кончилось трагически и меня все-таки не исключили из партии. Но «бес», как это часто случалось у Менахем-Мендла, сменился «госом», и кто-то из присутствующих задал вопрос:

— Ну, а как сейчас, пишете фельетоны?

— Нет, сейчас уже не пишу...

— Научили! — засмеялся секретарь райкома и сказал: — Что ж, товарищи, по-моему, он кое-что осознал, есть предложение — выговор снять.

В тот миг мне действительно казалось, что кое-что я осознал. Ведь совсем не обязательно всю жизнь ходить по канату. Можно ведь просто жить. Просто работать. И просто зарабатывать деньги. Так зарождалась в голове новая философия, новое отрицание.

Впереди вырисовывалась вполне разумная и обеспеченная жизнь. Но я слишком плохо знал сидящего во мне Менахем-Мендла, который по прошествии времени вновь заявит о себе.

AQUA PURA

Начиная с 60-го по 68 год я, будучи корреспондентом журнала «Советские профсозы», налетал тысячи, а может быть, и десятки тысяч километров, и если бы служил в авиации, то, возможно, уже получил бы право на пенсию. Но я профессиональный журналист, и самолет был для меня не целью, а только средством, помогавшим, как говорил Сент-Экзюпери, «вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, увидеть человеческий труд и человеческие заботы». Самолет, который за каких-нибудь два часа доставлял меня из районов вечной мерзлоты в районы лазурного Черноморья и из которого я мог наблюдать очертания земного шара с той же пьянящей легкостью, с какой, развалившись в мягком кресле салона, любоваться ножками бортпроводницы, — становился для меня инструментом познания, своего рода субстратом пространства. И так было много лет.

Но теперь, когда пишу эту книгу, в моем сознании произошла «смена декораций». Все, что было в реальной жизни, все — от бортпроводниц до политических деятелей, с кем меня так часто сталкивала жизнь, — сохранилось лишь на кинопленке, запечатлевшей прошлое. Невидимая и неосязаемая, не занимающая и микрона пространства, эта лента сегодня для меня — единственная мера ощущений, единственная мера бытия. Все прочее — передвижение по квартире, по улицам, мои отношения с друзьями — существует лишь в связи с ней. Теперь я отчетливо знаю, что пространственный мир, сколь бы он ни был богат красками, — это всего лишь распиленный в поперечнике ствол непрестанно растущего дерева, лишь паспортная фотография жизни, верная для данного мгновения, но мало чего стоящая спустя одну-две секунды.

Зато ушедший в прошлое мир продолжает жить за кадром и постоянно дает о себе знать.

Совсем недавно жена позвала меня к телефону:

— Виктор Борисович! Здравствуйте! Кто говорит? Неужели не узнали, Виктор Борисович? Ай-яй-яй, загордились, оторвались от старых друзей...

Я, разумеется, уже давно понял, кто говорит, и ломал комедию ради любопытства.

— Да, автор «Дела Тихомировых», молодой, но уже достаточно маститый писатель, — а ныне журналист и литератор всесоюзного масштаба!.

Время способно состарить человека, исполосовать его лицо морщинами, но ему не подвластны интонации голоса, манера говорить, возможно, оттого, что ему не подвластен характер.

— Здравствуй, Витенька, здравствуй дорогой! — наконец раскрывает свое инкогнито мой бывший соавтор Толя — ныне доктор исторических наук, профессор Анатолий Алексеевич Безуглов.

На третьем курсе мы занимались в одном и том же научном кружке по советскому государственному праву. И даже в один день сделали на кружке доклады. Мой — о соотношении права и экономики — вызвал восторженный отзыв руководителя кружка профессора Кравчука, Толин — о всеобщем избирательном праве в СССР — он подверг уничтожающей критике. И хотя читал Толя, мощно сверкая своими крупными цыганскими глазами и таким голосом, будто каждой фразой прокладывал новые пути в юридической науке, профессор Кравчук сказал, что товарищ очень огорчил его, поскольку просто взял и все переписал из довоенного учебника. Впрочем, это нисколько не помешало Толе — выходцу, как он всем говорил, из донских казаков — оказаться после института в прокуратуре СССР, в должности прокурора уголовно-судебного отдела. Спустя несколько лет, мы встретились снова.

Увидев меня, он необыкновенно обрадовался, рассыпался в комплиментах по поводу моего доклада и, узнав, что я пишу культпросветповесть, сказал, что через него в прокуратуре проходят великолепные материалы. «Сэнсация! (Вместо «е» у него получалось «э».) И все гибнет. Сокровишша, Витенька, гибнут (вместо «щ» у него получалось «ш»). Может быть, скооперируемся? Твоя голова, мои — материалы. Ваш бензин, наш — автомобиль». Так началось наше соавторство.

В отличие от меня, Толя сделал большие успехи на научном поприще.

Он уже много лет работает в Институте права Академии наук СССР, проявив недюжинные способности именно в той области, где был так жестоко осмеян профессором Кравчуком. Толя с блеском защитил кандидатскую диссертацию, а совсем недавно — докторскую: «Государственно-правовое положение советского депутата».

После защиты его тепло поздравил сам член-корреспондент Академии наук СССР профессор Чхиквадзе, чья принципиальная борьба с безродными космополитами не была

не замечена, он уже много лет возглавляет Институт права Академии наук СССР.

На защите все называли Толю ученым, не отрывающимся от практики. В своей диссертации молодой ученый широко использовал материалы эксперимента в селе Конаково Калининской области. Там часть функций исполкома сельсовета была передана сессии сельсовета и благодаря этому роль народных избранников еще более возросла. Цель Толиного звонка ко мне состояла в том, чтобы осветить этот эксперимент на страницах «Литературной газеты».

На банкете говорили, что Толя не только ученый, но к тому же и талантливый литератор. Перу доктора наук Безуглова принадлежит много литературных работ и даже два романа. «Ну, товарищи, товарищи, это уж слишком!» — скромно останавливал таких Толя.

Выступавшие в этом месте действительно утратили чувство меры, так как, во-первых, не два романа, а две повести, а во-вторых, не перу Безуглова, а его соавтора, одного из советских писателей-детективистов.

После дела Великовского Толя утратил ко мне интерес как к соавтору, но не утратил тяги к соавторству как к форме творческого содружества. И вот на моем месте появился другой литератор. Он пишет, Безуглов пробивает написанное.

Теперь научная респектабельность не позволяла Толе произносить вслух циничную формулу «бензин ваш, машина наша». Распределение ролей молчаливо подразумевалось, и выступавшие на защите, чье настроение подогревалось хорошим отношением к Толе шефа и предстоящим банкетом, конечно, не знали, да и не могли знать этих нюансов его творчества. Они прочили Толе будущее академика и крупного писателя одновременно.

Голоса прошлого слышу не только по телефону. На Ново-Песчаной, на троллейбусной остановке меня окликнула

* Ах, нет пророка в своем отечестве! Будучи в зените славы, профессор Безуглов сел нетрезвым за руль и насмерть сбил человека. И потому заканчивает свою насыщенную творческую жизнь за тюремной решеткой.

импозантная и почти совсем уже седая женщина в каракулевом манто. С трудом узнаю Нелю Крылову, лицо ее излучает довольство и благополучие:

— Живу, Витька, неплохо, второй раз замуж вышла, защитилась. Кто муж? Один очень симпатичный человек...

Мы хотели обменяться телефонами, но подошел ее троллейбус, и, оглянувшись, она лишь успела помахать мне с подножки пальчиками.

В «Вечерней Москве» я наткнулся на некролог: «Администрация, партком и местный комитет Института патентной экспертизы с глубоким прискорбием сообщают, что после кратковременной и тяжелой болезни скончался ученый секретарь института, член КПСС с 1932 года Абрам Семенович Великовский».

Жизнь есть жизнь. Одни умирают, другие продолжают жить и здравствовать.

Не так давно в журнале «Молодой коммунист» я увидел статью помощника секретаря Президиума Верховного Совета СССР Александра Жаркова. Статья называлась «Слуга народа». Путь, пройденный автором от поэтического салона сестричек Крыловых до высшего органа государственной власти, несмотря на написанный по дороге донос, не изменил поэтических пристрастий автора. Он так же, как когда-то в молодости, цитирует Маяковского: «А что если я — народа водитель и одновременно — народа слуга».

Голоса прошлого помогают лучше понять пространственный мир. Происходит переоценка ценностей. И многие реалии, составлявшие некогда смысл жизни, оказываются всего-навсего призраками, но не настолько безобидными, чтобы просто взять и забыть их как нечто несуществующее.

Как-то много лет назад сидели мы в пивном баре Московского дома журналиста, я и мой старый знакомый — сотрудник Центрального телевидения Гриша Фрумкин. О чем говорили, не помню, но в конце поспорили по поводу, казалось бы, очевидной вещи. Будучи в душе кристально

честным парнем, Гриша вдруг начал высказывать мысли, мягко говоря, сомнительные — что он видит свой профессиональный долг лишь в том, чтобы хорошо писать, и что ему безразлично, кто и во имя каких идеалов использует его материалы...

— Пойми, — говорил он, — я скорняк, я ювелир, я должен быть хорошим мастером, но что получится, если скорняки начнут делать шапки только для прогрессивных людей...

Я говорил, что никогда с этим не соглашусь. В те дни я еще отбывал ссылку в своей шоферской газете. Но думаю, что не подписался бы под ними и позже, когда вновь вышел на всесоюзную арену, сделавшись заместителем редактора отдела экономики журнала «Советские профсоюзы».

Это было в феврале 60 года. Друзья поздравляли, говорили, что я сделал гигантский скачок, и мне самому казалось, что это так, и, может быть, поэтому моральный аспект этого «гигантского скачка» меня вообще не занимал. Хорошая должность, хорошая зарплата, перспектива ездить по стране. Что же еще, философствовал я, нужно «бедному еврею»?

Но подсознательно во мне все же жила успокоительная мысль, что я иду не куда-нибудь, а в рабочий журнал и меня ждет не только неплохая жизнь, но и живая, интересная работа.

Конечно, я шел не в «Новый мир» и даже не в «Огонек».

Наш профсоюзный орган не печатал очерков, не иллюстрировался. В скучной красной обложке он вообще не вызывал желания открыть его. Но его новый редактор Константин Кириллович Омельченко говорил, что его самого тошнит от этой серости и он сделает все от него зависящее, чтобы поднять журнал. Мы не просто должны описывать факты, а предлагать читателю глубокие концепции жизни. В глубине и правде — залог нашего успеха, нашей популярности в глазах читателя.

До войны Константин Кириллович заведовал сектором

газет ЦК КПСС. Был он главным редактором «Труда», начальником Главлита, заместителем председателя Всесоюзного Общества по распространению политических и научных знаний.

Я и сейчас его вижу совершенно отчетливо, в масштабе один к одному, как, сняв по обыкновению башмаки (его мучила подагра) и опершись пятками о ковер (его обычная поза), он напутствовал меня в первую командировку.

— Товарищ Перельман! — Он всех называл по фамилиям и даже своего зама Михаила Петровича Гончарука — товарищ Гончарук. — Что интересует читателя? Завитушки? Трюкачество? Читателя интересует глубина и правда!

И как за тем же столом, изрисовав красным-красно мой первый очерк, он исписал все поля вопросами: «Мысль?» «Концепция?» «Неужели ради этого надо было лететь на Урал?» Я абсолютно не понимал, что от меня хотят — каких концепций, каких глубин в этой простой истории, названной мной «Обида Геннадия Ананичева».

Этот Ананичев работал на одном из цементных заводов под Свердловском и прислал в редакцию письмо. По вине начальника его цеха распалась руководимая им бригада коммунистического труда. Уже из письма, занявшего неполную страничку, все было ясно. Но Константин Кириллович, прочитав письмо, воскликнул:

— Послушайте, Перельман, это же великолепное письмо! Оно дает импульс к глубинным размышлениям о самой сути коммунистического соревнования, посидите на заводе, подумайте...

Я пробыл в командировке целую неделю, переговорил с десятками людей, но так и не почувствовал никакого импульса. Это был старый уральский завод с темными, грязными цехами и вечно мутными от цементной пыли окнами.

Ананичев работал в шамотном цехе, и начальник цеха, чтобы не сорвать план, действительно перевел некоторых членов бригады на другие участки, и бригада перестала существовать.

Ананичев оказался мягким симпатичным парнем, и когда я появился в цехе, то не понял — был он огорчен или обрадован моему приезду.

— Вот уж не думал, что подымут такой шум, — недоумевал он, и рассказал, как нескладно получилось с бригадой — то «все делали вместе — в кино ходили, на каток, а теперь все поврозь — не пойми, что стало...».

Я сочувствовал Ананичеву, но старался следовать правде, как и напутствовал меня редактор, и привел даже свой разговор с начальником цеха, где он пытался объяснить, почему так нескладно все получилось. Он был расстроен страшно и, непрестанно утирая с рыхлого лица пот, говорил:

— Вы поймите, товарищ корреспондент, что насчет соревнования я все отлично понимаю и к Генке с его ребятами всей душой. Сам же для них буфет открыл. Но план же, план нас мучает...

На полях рядом с этим признанием Константин Кириллович написал: «Ханжество!» — а место, где говорилось, что начальник цеха организовал буфет, — было жирно подчеркнуто и на полях написано: «Тред-юнионизм!»

Редактор обиженно крутил в руках мое творение, будто я обманул его самые светлые надежды, и не уставая повторял: «Да вы поймите, Перельман, что это просто фактология, а нужна глубина!»

Я трижды перелопатил материал, но нужной глубины так и не достиг. И мой многострадальный очерк был отдан на доработку заместителю ответственного секретаря Володе Давидовичу.

Голубоглазый, с мощной седой шевелюрой Давидович был одним из старейших сотрудников редакции. В душе он считал себя поэтом-песенником и, еще будучи в армии, опубликовал во фронтовой газете несколько бойких частушек.

В журнале Давидович никогда не печатался, зато на него были возложены довольно ответственные, хотя и про-

заические обязанности — дотягивать материалы сотрудников до кондиции.

Словом, на другой день на стол редактору была положена статья. От меня в ней не осталось и слова, зато появилась «концепция». Оказывается, добродушный толстяк — начальник цеха — проявил деляческий подход к соревнованию и пробивающиеся в цехе ростки коммунистического труда принес с жертву узкохозяйственному интересу.

Мой заголовок «Обида Геннадия Ананичева» был заменен другим — «На положении пасынков».

В жизни мне приходилось за многое расплачиваться — за увлекающийся характер, за неуживчивость, за критиканский дух. Похоже, что на этот раз я расплачивался за то, чего никогда не видел.

Так начинался мой творческий путь в журнале «Советские профсозы». Этот журнал существует и сегодня. Если вы углубитесь во двор дома № 13 по улице Кирова, то обязательно упретесь в длинный желтый дом, стоящий спиной к улице Мархлевского. Это — Дом профсозов.

Так вот, если войдете в правый подъезд, с каменным крыльцом, подниметесь на третий этаж и после этого свернете влево, то и окажетесь в коридоре журнала «Советские профсоюзы».

Справа и слева стеклянные дощечки с названиями отделов. Там, где написано «Отдел экономики и зарплаты», за письменным столом, стоящим торцом к окну, я и просидел почти десять лет.

Я написал и отредактировал сотни статей, но смысл этой работы понял гораздо позже, когда в качестве корреспондента журнала ушел в плавание, в Северную Атлантику, и написал об этом плавании роман-дневник с довольно странным на первый взгляд названием «Аква пура».

«Aqua pura» — это дистиллированная, прозрачная, сверхчистая вода. Но если с грехом пополам можно понять ее присутствие в книге о море, то при чем тут журнал «Советские профсоюзы» и что должна значить эта мертвая, давно канувшая в лету латынь?

В романе есть гротескная сатирическая глава, когда главный его герой журналист Михаил Фишер, отправившийся на плавбазе «Северодвинск» в море, вспоминает историю, очень близкую той, что произошла со мной и моим очерком «Обида Геннадия Ананичева».

В отличие от меня его посылают не на Урал, а на высокогорную алтайскую стройку, где долгое время ощущалась острая нехватка воды. Когда Фишер приехал на стройку, то вода уже была, на стройплощадке стояли бачки для питья, в конторках мастеров — сифоны. Был проложен водопровод и построены для рабочих душевые.

Строители угощали московского корреспондента холодной ключевой водой. Они говорили, что с ее появлением вся их жизнь стала другой и даже выросли производственные показатели.

Свой очерк Михаил Фишер назвал «Вода» и не без ощущения своей маленькой победы положил его на стол редактору. Но уже к вечеру материал был препровожден на стол секретарю редакции Володе Гуриловичу с резолюцией: «Примитив и мелкотемье!»

Гурилович избавил очерк от примитива и придал новый смысл многим его понятиям. Рядом с горными родниками, давшими строителям воду, появились «родники инициативы и творчества». И ключом била не только горная вода, но и энергия строителей, взявших новые социалистические обязательства. И даже холодный душ, который люди принимали обычно после рабочего дня, у Гуриловича получил новое осмысление — этим душем общественность стройки окатывала в стенгазетах и боевых листках лодырей, не желающих идти в ногу с коллективом.

Символ перемен, происшедших на стройке, выражал новый заголовок очерка — не «Вода», а «Вторая вода», то есть не та, что на поверхности, а та, что на глубине; сверхчистая и сверхпрозрачная, которую еще строители

водопровода в древнем Риме называли «aqua pura» и которую не мог углядеть мой герой с его тривиальным, поверхностным взглядом на жизнь.

Только уйдя в море, он начинает многое понимать. Оказывается, и здесь «кипят родники творчества», устраиваются бесконечные собрания, принимаются соцобязательства, над которыми не устают потешаться рыбаки, выпускаются стенгазеты, где среди пышных велеречивых фраз о романтиках моря не найти и слова о реальных трудностях людей.

Аква пура — это то, чего я не сумел разглядеть в очерке о бригаде Геннадия Ананичева, но ради чего существовал, да и по сей день существует журнал «Советские профсоюзы».

СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

Каждый год в разгар подписной кампании издательство «Профиздат» выпускает плакаты, посвященные журналу. Они извещают читателей, что в новом году журнал познакомит их с опытом организации социалистического соревнования, привлечения масс к управлению производством, с работой общественных комиссий и многим другим, ради чего я и другие сотрудники редакции летали по всем параллелям и меридианам страны.

Поначалу непросто было находить в гуще заводской жизни «вторую воду». Случалось, она залегала так глубоко, что о ее существовании не подозревали даже те, кто обязан был ее добывать.

Однажды я был послан редактором на Костромской завод «Строммашина» организовать статью председателя завкома Владимира Чаркова. Тему ее Константин Кириллович сформировал так: «Формы и методы контроля общественности за развитием изобретательства и рационализации».

Председатель завкома встретил меня великолепно и даже послал на вокзал машину. Но, услышав тему, посмотрел на меня таким ошалелым взглядом, будто я предложил ему на моих глазах расщепить атомное ядро или продемонстрировать сеанс телекинеза. Наконец Чарков сообразил, что заниматься столоверчением, то есть писать статью, придется мне, а ему только подписывать, и послал меня в цеха. Там я, разумеется, ничего не нашел, и когда не солоно хлебавши сел в гостинице за статью, то мое занятие в некотором роде действительно напоминало столоверчение.

Не найдя реальных общественных контролеров, я начал вызывать духов — в виде постоянно действующих контрольных постов, рейдовых бригад, советов новаторов, смело вводил в эти призрачные организации живых людей — работников завода. Они действовали, спорили с начальством, вносили предложения — словом, на третий или четвертый день моя «aqua pura» зажурчала как живая. Я положил на стол председателя завкома его десятистраничную статью. Прочитав ее, он оживился и жизнерадостно воскликнул:

— А ведь работаем, черт возьми, только рассказать не умеем! — и подписал статью.

Труднодоступностью второй воды и ничем более, вероятно, объяснялся тот факт, что постоянный актив журнала состоял из одного-единственного автора Бориса Гольдштейна, маленького человека, чрезвычайно одаренного, но отсидевшего пять лет по пятьдесят восьмой статье и не имевшего возможности нигде устроиться.

Омельченко, лично знавший мать Гольдштейна, работавшую когда-то в «Правде», относился к нему вполне благожелательно и доверял едва ли не самые трудные задания. Ему приходилось выполнять такие сеансы столоверчения, перед которыми бледнел мой контроль общественности на «Строммашине»...

Однажды Константин Кириллович вызвал Бориса и сказал:

— Послушайте, Гольдштейн, нам нужен хороший очерк о

ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом. Поезжайте в Горький на автомобильный завод, полазьте по цехам. Это будет просто чудесно, если мы напечатаем такой очерк.

Борис неделю не вылезал с завода, но не мог найти и следов того, за чем приехал. Дело его было совсем плохо, но неожиданно он встретил в сборочном цехе одного пожилого слесаря по фамилии Жуков. Слесарь стоял, склонившись над верстаком, с карандашом за ухом и чертежиком в руках, и этот его вид навел Бориса на ошеломляющую мысль. Он подошел к рабочему и робко поинтересовался, читает ли он чертежи.

— Ну, а как же, — ответил тот. — У нас все их читают, без этого нельзя.

— А не бывает ли так, — продолжал Борис, почувствовав, что набрел на золотую жилу, — что вы вносите поправки в эти чертежи?

— Почему нет, бывает, — ответил слесарь, — вот здесь хоть, — показал он на чертежик, — думаем сточить резец на конус.

Рабочий поправляет чертежи инженера, значит, он является его соавтором, а раз так, то, следовательно, приобщается к умственному труду. Таким был ход мыслей Бориса, и через несколько дней он положил очерк на стол Омельченко.

Однако история этим не кончилась. Константина Кирилловича смущало одно обстоятельство — почему автором материала о рабочем, приобщившемся к умственному труду, должен быть приезжий журналист Гольдштейн.

Не логичнее ли, чтобы он выступил в соавторстве с каким-нибудь хорошим рабочим, знающим суть дела, но не умеющим изложить свои мысли на бумаге.

Почему бы Гольдштейну не выступить в соавторстве с бригадиром бригады, что вырастила передового слесаря Жукова? Давидович тотчас согласился с Константином Кирилловичем, он вообще не имел обыкновения с ним спорить, и у Гольдштейна появился соавтор — бригадир бригады слесарей.

Но очерк этот, как больная мозоль, не давал покоя Константину Кирилловичу. Читая его в верстке, он снова собрал секретариат и, вопрошающе глядя на Давидовича, сказал:

— Очень хороший материал, глубокий, чувствуется знание жизни, но положа руку на сердце при чем тут Гольдштейн? Рабочий пишет о рабочем. Это же чудесно!

Но он же автор, — не выдержал и робко возразил Володя.

— Кто? — удивился Константин Кириллович.

— Гольдштейн.

— Поймите, товарищ Давидович, я же об этом не говорю, — поморщился редактор, — автор, не автор. Я имею в виду интересы читателя, Гольдштейну компенсируем на гонораре. Фамилия Гольдштейна была снята, и это был действительно очерк рабочего о рабочем. И вообще все было бы чудесно, если бы бригадир бригады слесарей после выхода журнала не написал в редакцию обиженное письмо. Он никогда такой ерунды не говорил и сказать не мог, чтобы Петька Жуков был умнее технолога, и требует, чтобы за это фантазерство кому надо всыпали.

Впрочем, все это была редакционная кухня, мало кому известная. «Советские профсоюзы» платили хороший гонорар, и к нам постоянно шли внештатники, предлагавшие свои услуги. Если они выезжали в командировку, то Константин Кириллович сам таких инструктировал и всякий раз не забывал упомянуть, что читателя интересует глубина и правда. Внештатник согласно кивал головой, говорил, что он и сам всегда стремится писать глубоко и правдиво, не подозревая, конечно, ни о второй воде, ни о телекинезе, которым ему придется заниматься, чтобы ее добыть. Кончалось тем, что материал шел на доработку Давидовичу и чаще всего летел в корзину. При Омельченко напечататься в «Советских профсоюзах» было труднее, чем в «Новом мире».

Поднять журнал ему так и не удалось, хотя он с фанатичным самозабвением просиживал над ним по двенадцать часов в сутки. В дни, когда носили верстку, он вообще не обедал и лишь время от времени открывал боковой ящик стола и отщипывал от черствой горбушки маленькие ломтики.

На стадии верстки, когда переделывать материалы было уже поздно, его более всего волновали заголовки. Как всегда, начиналось с вызова заместителя ответственного секретаря:

— Товарищ Давидович, когда кончится это трюкачество? — на лице редактора появлялось выражение неизгладимого страдания.

— А в чем дело, Константин Кириллович? (Когда Володя волновался, он не выговаривал «р» и произносил «Кихилович».)

— Товарищ Гончарук, он спрашивает меня, в чем дело, — поворачивался он к своему заму — в такие дни зам с утра уже был в кабинете у главного. — Что это за заголовок для серьезной статьи председателя Молдавского Совета профсоюзов — «Правофланговые»? А мы кто с вами или вот товарищ Гончарук — левофланговые?

— Но так обычно говохат, — ест редактора своими голубыми глазами Володя.

— Говорят, Давидович, что кур доят, нужен хороший серьезный заголовок, выражающий суть соревнования за коммунистический труд. Идите и подумайте.

Через полчаса или час мощная седая голова Володи появляется снова в дверях.

— Ну как?

— «Пионеры будущего», Константин Кихилович!

— «Пионеры будущего»? — медленно и осторожно повторяет редактор, будто сапер, ищущий тайно подложенную мину. — Как, товарищ Гончарук? — Гончарук предпочитает с ответом не спешить, и лицо Константина Кирилловича, осененное новой идеей, мгновенно просветляется: — Знаете, друзья, есть один хороший анекдот. У египецкого еврея родился сын, и он ужасно мучился, какой записать ему год рождения. Пошел посоветоваться к ребе: «Хоть убейте, ребе, не знаю, что делать. Записать прошлым годом — так он загремит в армию вместе с Шмулем, с кем же останусь я? Записать будущим — так у Песи может родиться еще сын — возьмут сразу двоих. Записать на два года вперед — мальчика забреют совсем ребенком, тоже, ребе, не хочется». Ребе его слушал, слушал и говорит: «Послушайте, любезный, вы перебрали все варианты, но об одном забыли — а что если записать как есть?!»

— Чудесный анекдот! — смеется Гончарук.

Володя тоже улыбается.

— Так, — продолжал Омельченко с тем же осененным лицом, — почему бы нам не озаглавить статью просто и ясно, как записано в решениях четвертого пленума ВЦСПС: «Развивать соревнование за коммунистический труд». Как товарищ Гончарук?

— Хороший, мобилизующий заголовок, — говорит зам-редактора.

— А что? Просто и ясно, — улыбается счастливой улыбкой Давидович.

Наконец-то, кажется, кончились его муки. Но праздновал он преждевременно. Наутро редактор снова вызывал его и устраивал очередной разнос за заголовок к статье о постоянно действующих совещаниях на Горьковском автозаводе.

— «Хозяева производства!» — возмущался Омельченко. Вы меня до инфаркта доведете с этими вашими мудреватыми кудрейками. О чем идет речь, товарищ Гончарук?

— Об участии масс в управлении производством.

— Так и пишите это! Почему нельзя выразить мысль точно?

Статья шла по моему отделу, и я попробовал вступить с

Константином Кирилловичем в спор. Я сказал, что читателю вряд ли понравится, если мы все будем давать в лоб. Редактор посмотрел на меня взглядом, в котором легко было прочитать нечто близкое к жалости.

— Послушайте, Перельман, сколько вам лет? — спросил он.

— 31, — ответил я.

— Вот, когда вам будет столько, сколько мне, вы поймете, что главный наш читатель сидит не там, — показал он пальцем на пол, — а там! — вскинул он его вверх. — И там не будут вчитываться в наши шарады «хозяева, не хозяева». Там должны открыть оглавление и сразу все увидеть: понимаем мы свои задачи или нет.

Но, будучи человеком увлекающимся, редактор и на этот раз увлекся до того, что даже в ВЦСПС, руководителей которого можно было упрекнуть в чем угодно, но только не в симпатиях к журналистским шарадам, стали поговаривать «что-то журнал стал суховат».

Впрочем, сняли Константина Кирилловича не за то, что он засушил журнал, а за интриги и склоки. Этого в ВЦСПС не могли терпеть, поскольку там вообще не любили никакого шума по своему ведомству.

Омельченко даже не сняли. Просто он подал заявление с просьбой освободить его по собственному желанию. Он сделал этот демарш, чтобы укрепить свое положение и разделаться с недругами, а секретарь ВЦСПС Татьяна Николаевна Николаева взяла и подписала заявление.

По своему характеру Константин Кириллович был не только темпераментным человеком, но и бойцом.

В Главлите он не ужился с одним из секретарей ЦК и обратился с жалобой к Молотову и Кагановичу.

С этого и начался его закат. Во Всесоюзном Обществе по распространению политических и научных знаний он написал письмо по поводу бездеятельности его президиума и предложил распустить общество. Президиум не распустили, зато Омельченко спровадили в журнал «Советские профсоюзы».

В нем было-то всего 35 сотрудников, но ко дню моего прихода доброй половине было предложено подыскивать себе работу. Вскоре и я чуть не оказался среди них. Через месяц, после того как я пришел в журнал, меня вызвал редактор и сказал:

— Поверьте, Перельман, что мне очень нелегко, но что-то у нас с вами не получается. — Он долго говорил о моем неумении разрабатывать тему и давать читателю новые концепции и, дождавшись, пока выйдет из кабинета Гончарук (своему заму он не доверял с первого же дня), сказал: — А во всем, Перельман, вините свой язык. Что вы вчера сказали человеку Гончарука Давидовичу?

Я и сейчас не знаю, почему голубоглазый и наивный, как ребенок, Володя Давидович был зловеще охарактеризован как человек Гончарука и что за ужасную фразу я ему сказал накануне. Но за год совместной работы с Омельченко я успел пережить еще одно падение и еще один взлет, и, когда в начале 61 года Константина Кирилловича проводили на пенсию, я уже был редактором отдела экономики.

Проводы Константина Кирилловича являли картину довольно печальную. Татьяна Николаевна, приехавшая по этому случаю в редакцию, решила одновременно представить и нового редактора, бывшего ответственного секретаря газеты «Труд» Андрея Дмитриевича Блинова.

Процедура передачи власти происходила на общем собрании сотрудников. Блинов расположился в стороне на стуле, положив руки на колени и с интересом нас разглядывая.

Константин Кириллович сидел за своим письменным столом. Держался он великолепно, пытался шутить то с Давидовичем, сидевшим от него по правую руку, то с расположившейся рядом с ним и, как всегда, исполненной достоинства Татьяной Николаевной.

Поистине судьба играет человеком. Один из наших неудавшихся авторов, бывший работник Главлита рассказывал, что в его бытность фамилия Омельченко наводила

ужас на всех, вплоть до министров. Бывало, зайдешь, вспоминал он, к Константину Кирилловичу ночью. При нем Главлит работал в основном по ночам. Стоит на огромном ковре, сняв ботинки, и диктует стенографистке:

«Секретарю ЦК КПСС, председателю Совнаркома товарищу Сталину. Докладываю, что в нижеперечисленных изданиях, выпущенных такими-то министерствами, допущено разглашение государственной тайны. Вношу предложение: министра такого-то с работы снять и привлечь к уголовной ответственности. Дело такого-то передать на рассмотрение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС...» По словам нашего автора, Сталин любил Омельченко и на его представлениях чаще всего писал «согласен».

И вот теперь какая-то никому неизвестная Николаева снимала некогда могущественного аппаратчика и любимца самого Сталина.

Татьяна Николаевна прочитала нам длинное и обстоятельное решение ВЦСПС о плохой работе журнала и сообщила, что Константин Кириллович подал заявление с просьбой отпустить его на пенсию.

— Мы тут посоветовались и не стали возражать, — сказала Татьяна Николаевна, — у вас, товарищи, будет новый редактор — человек молодой, энергичный, к тому же писатель.

Татьяна Николаевна кокетливо поправила волосы, засмеялась и взглянула на нового редактора. Тот тоже улыбнулся своим широким с маленькими щелками глаз лицом. И все мы, сидящие в кабинете, тоже неизвестно чему заулыбались. Лишь Омельченко сидел прямой и неподвижный, и в его больших глазах таилась безысходная грусть.

С тех пор я потерял его из виду, и лишь однажды — прошло лет пять-шесть — мы с Кленовым встретили его на улице Горького.

Его маститую фигуру в черном с каракулевым воротником пальто и в такой же каракулевой высоким пирожком шапке я увидел еще издали. Но не одеянием и даже не отсутствующим, отрешенным взглядом он резко выделялся среди прохожих, а тем, что шел и что-то беззвучно шептал себе под нос.

Посмотри, Омельченко! — ткнул я в бок Кленова. — Что он лепечет?

— Передовую о коммунистическом труде, — засмеялся Кленов, — «Наша цель состоит в том, чтобы еще шире развернуть движение разведчиков будущего».

Больше я его не видел и даже не знаю, жив ли он. Но в памяти он таким и остался — призраком в каркулевом пирожке, шагающим среди живого уличного люда и что-то шепчущим себе под нос.

Похоже, что отстраненный от жизни, перекочевав из пространственного мира во временной, он не очень-то уютно себя в нем чувствовал.

Временной мир — это мир философский. Он ничего не забирает, ничего не дает. В нем можно жить лишь прошлым. А прошлое Константина Кирилловича и ему подобных — это несуществующая глубина и правда, мертвая и неосязаемая «aqua pura». Будучи не в состоянии ее представить, Константин Кириллович, возможно, пытался вызвать ее такими же призрачными, как она, словами.

Трагическая ситуация — убедиться в старости, что ничего в жизни тобой не создано, кроме призраков!

В свою бытность редактором Омельченко любил вспоминать о Лазаре Моисеевиче Кагановиче, под чьим руководством ему пришлось много лет работать. С особым восторгом редактор отзывался об энергии «железного наркома», его умении руководить людьми.

Впервые о Лазаре Моисеевиче я услышал из его уст, когда бился над очерком об Ананичеве.

Я выполнял указания редактора одно за другим, а материал ему не нравился.

— Но ведь сделано все, что вы сказали! — не выдержал я.

Омельченко снисходительно улыбнулся:

— Однажды, Перельман, я то же самое заметил Лазарю

Моисеевичу. Так, знаете, что он ответил? «Омельченко, если бы я хотел, чтобы вы сделали то, что я сказал, я бы сделал это сам. Вы должны сделать лучше!»

Все это я вспомнил в один прекрасный день, когда шел по Фрунзенской набережной и увидел живого Кагановича. Мучимый одышкой, не очень опрятно одетый, он медленно плелся по тротуару, осторожно обходя крутившихся под ногами ребятишек. Видно, боялся, чтобы не сбили с ног.

Прохожие бесцеремонно обгоняли Лазаря Моисеевича, не подозревая, что эта толстая, едва передвигающаяся развалина — живые останки «железного наркома» — верного друга и соратника «великого Сталина».

Было что-то общее между ним, плетущимся по Фрунзенской набережной, и лепечущим себе под нос Константином Кирилловичем Омельченко.

Кто о них теперь помнил? Кому они нужны? Что оставили, уйдя во временной мир? Призрачная жизнь, сколь бы значительной она ни казалась, в старости жестоко мстит за себя.

СКОРНЯК ПОНЕВОЛЕ

Новый редактор являл собой полную противоположность Омельченко. Внешне Константин Кириллович был сама респектабельность с его седыми бровями и плотным серебряным бобриком над квадратным лбом. И даже его расшнурованные ботинки, вечно стоявшие рядом на ковре, были колоритной деталью, дополнявшей его облик.

Андрей Дмитриевич был сама русская простота, круглый, светлый, с широкой до ушей улыбкой, в облике Блинова не было ничего писательского. Он в первый день собрал нас, заведующих отделами, и, усадив вокруг себя (сам вышел из-за редакторского стола и сел на обычный стул), сказал:

— Ну что, ребята, будем делать журнал?

После Омельченко такое обращение прозвучало, как залп «Авроры».

— Ну, ей-Богу, сердцу больно, когда держишь в руках эту сухотку, — темпераментно тряс Андрей Дмитриевич последний номер журнала, подписанный Омельченко.

— Совершенно верно, Андрей Дмитриевич, — просиял Володя Давидович. На его счету это был уже третий редактор, и каждый вселял в него новые надежды.

Блинов рубил полным кулаком по воздуху и говорил о том, что профсоюзы — это самая массовая организация рабочего класса и наш журналистский долг — показать всю красоту и обаяние рабочего человека. Нам нужна не только профсоюзная статья, но и заметки журналиста, и писательский очерк, и даже хорошая рабочая песня!

— Святые слова! — снова поддержал Володя Давидович, в сиявшем лице которого я прочел нездоровое желание протолкнуть что-нибудь свое.

Вскоре в журнале стали один за другим появляться собратья Андрея Дмитриевича по перу. Хотя и не очень известные, но, по словам редактора, душевно привязанные к рабочей теме. Они звали Блинова по-свойски Андрей. Входя в кабинет, они на моих глазах по-братски целовались с ним.

— Вы не знакомы? — расплывался в улыбке Андрей Дмитриевич. — Это наш редактор отдела экономики Виктор Борисович. — Фамилию мою он не называл. — А это рабочий писатель Михаил Тихомиров, автор книги «Генерал Лукач».

Тихомиров — маленький лысеющий человек, обнявшись с Блиновым, подходил к его столу.

— Ну что, Мишенька, что ты нам сделаешь? Передовую?

— Погоди, Андрюша, давай посидим, перетолкуем это дело.

— Только смотри, Миша, чтоб на хорошем русском языке, а то напишешь на каком-нибудь «китайском».

Через неделю Тихомиров принес передовицу. Положи я это произведение на стол Омельченко, его хватил бы инфаркт.

Передовая начиналась так: «Кто все же открыл Америку? Америго Веспуччи, Эрик Рыжий или Христофор Колумб?» Оказывается, «Рождение нового человека после Октября» Михаил Тихомиров сравнивал ни больше ни меньше, как с открытием Америки. Такого трюкача Омельченко не подпустил бы на три пушечных выстрела. Но Андрею Дмитриевичу статья понравилась, и она сразу же пошла в набор, если не считать маленького инцидента все с тем же Давидовичем. Он дал статье самый живой из всех заголовков, какие когда-либо предлагал Омельченко: «Всегда в разведке».

Андрей Дмитриевич саркастически усмехнулся:

— Что, кроме вашей разведки, Владимир Соломонович, в русском языке слов нет?

И, зачеркнув выстраданный в боях с Омельченко Володин заголовок, написал: «Будущее шагает с нами». Вскоре вернулся из командировки Борис Гольдштейн. Он привез статью дважды Героя Социалистического Труда Алексея Улесова «Чем красив человек».

Улесова Борис знал давно, писал за него не впервые. Были в этой статьи и ссылки на фадеевский «Разгром», и разговор о духовном облике советского рабочего и о его святой обязанности неустанно бороться с пережитками прошлого — пьянством, хулиганством и прочим.

Вслед за Борисом в редакции появился сам Улесов. Он оказался очень скромным на вид человеком, почти таким же стеснительным, как маленький Гольдштейн, который привез его в редакцию. Я дал Улесову статью. Он напялил очки и, закончив чтение, долго выводил в конце свою подпись: Алексей Улесов.

— Все правильно, так их и надо!

— Кого их? — переспросил я.

— Тунеядцев, пьянчужек, кого же еще? Верно говорю, Борис, или нет?

Позже я узнал, что Алексей Александрович — автор более пятидесяти статей и более десятка книг о коммунистическом воспитании. Одно из своих произведений он подарил лично Никите Сергеевичу Хрущеву и вскоре после этого был принят в Союз журналистов СССР.

Новый редактор от статьи Улесова был в восторге:

— Замечательная штука! Таких бы материалов нам побольше, и, главное, чувствуется русский рабочий. Молодец, Алексей Александрович!

У меня язык не повернулся омрачить настроение Блинова, и я не стал говорить, как готовилась статья, в конце концов, это внутриотдельская кухня. Но когда журнал вышел в свет и Андрей Дмитриевич утверждал гонорарную разметку, он пригласил меня к себе и спросил:

— Виктор Борисович, а кто такой Гольдштейн?

Я ответил, что это старый наш автор и отличный журналист.

— А Лившиц? А Грузд?

Я объяснил, что это тоже журналисты, которых я привлек для организации статей рабочих.

— А что, наши рабочие обеднели на мысли, не могут обойтись без Гольдштейна и Лившица?

На том и кончился наш разговор, но пройдет еще время, прежде чем я пойму, что, в отличие от догматика и сухаря Омельченко, новый редактор, встреченный нами с таким восторгом, окажется отпетым антисемитом. Правда, уже не таким циничным, как директор юридического института Бутов, не сталинского, а, скорее, хрущевского типа — юдофобом-романтиком, чья квасная любовь к русскому народу и к русскому рабочему классу всегда сопровождалась неприязнью к евреям.

Незадолго до отъезда в Израиль я случайно оказался в Московском доме журналиста. Спустился, как бывало, в пивной бар. Взял кружку пива с черными присоленными сухариками. Сел за мраморный столик и тотчас оказался в прошлом, среди несмолкавших ни на минуту голосов: «Старик, только что столкнул четыреста строк. Устал как лошадь!» Или: «Читал тебя, лапонька, в «Труде», отличную

выдала штуку». Или: «Лечу завтра утром в Сибирь, за неделю должен выдать лист!»

Верил ли я в то, что писал? Честно говоря, я не слишком мучил себя этим вопросом. Сама постановка его была беспредметной, потому что у меня не было выбора.

К тому же с моим пятым пунктом не так-то просто было найти другую работу, да и что могла она дать. Так что в чем-то Гриша Фрумкин был определенно прав. Я был всего-навсего скорняк, но с одной существенной оговоркой — скорняк поневоле.

Во мне как бы жили два человека. Как профессионал, поставленный в определенные условия, как система, работающая в заданном режиме, я не мог стать никем иным. Но я был еще и живой человек с определенными взглядами на жизнь. Я был еще и еврей с бродильными генами и неунывающим, веселым характером Менахем-Мендла. Вот так мы и сосуществовали в этом тандеме. Один не покладая рук работал, летал по стране, ходил на совещания в ВЦСПС и руководил ведущим отделом в журнале. Другой... Другой улыбался и все, что ни делал первый, считал суетой сует, мало чего стоящей рядом с этой иронией и улыбкой.

Мне кажется, что уже тогда во мне зрело новое отрицание, и эта ирония предвещала день, когда сидящий во мне критикан взбунтуется и я снова стану самим собой. Вспомнив о назначении журнала защищать человека, я вырвусь из мира призраков и напишу статью о реальной жизненной драме 20-летней Нади Харченко, доведенной ее грузинским окружением до попытки самоубийства. Об этой истории, едва не кончившейся для меня трагично, я еще буду писать, а пока о том, что ей предшествовало. А предшествовали ей обычные редакционные будни. Каждый, полагал я, добывает хлеб как умеет. Моей пашней был журнал «Советские профсоюзы».

Когда я оказывался в интеллектуальных компаниях и сообщал, где работаю, на лицах появлялись странные улыбки. Наверное, хлеб инженера или физика был более

приятен, чем профсоюзного журналиста, информирующего читателя о том, чего нет в природе, — тем не менее это был все-таки тоже хлеб и тоже труд. И поскольку я им обязан был заниматься, то старался найти в нем какие-то безусловные ценности. Такой ценностью стал мой отдел экономики, точнее, появившиеся в нем люди и царившая в нем обстановка.

Чем дальше, тем меньше вмешивался Андрей Дмитриевич в нашу жизнь. Не без влияния ВЦСПС он довольно скоро утратил свой романтизм и иллюзии, касающиеся журнала. И если еще недавно на полях статей профсоюзных работников писал: «Серятина, тошнит! Что за язык?», то теперь уже на полях многих очерков мы читали: «Пустые байки! Где профсоюзы, где опыт?»

Каждую свободную минуту Андрей Дмитриевич отдавал новому своему роману «Иначе жить нельзя».

В романе речь шла о трагедии молодого рабочего, оказавшегося из-за пристрастия к «зеленому змию» вне родного коллектива. Идею романа горячо поддерживал Кочетов, и Андрей Дмитриевич спешил к назначенному сроку сдать свое произведение. Благодаря этому он дал мне возможность все решать самому, даже подбирать кадры, следя лишь за их фамилиями, и взял двух выпускников журналистского факультета МГУ — Петрова и Родина. Петров, похожий на боксера-тяжеловеса с неизменной улыбкой и открытым русским лицом, сибиряк. Родин — замкнутый, сутуловатый москвич — впрочем, все это внешне, а внутренне оба имели то принципиальное сходство, что не были испорчены жизнью и к тому же оба любили и понимали юмор.

Мне было немногим более тридцати, но рядом с ними я чувствовал себя пожилым человеком и ловил себя на желании воспитать их в своем духе — в ироничном, лишенном ханжества духе человека, который хоть и умеет писать глубокие и аналитические статьи о соревновании, тем не менее знает им цену, как и многому тому, чем вынужден заниматься в жизни.

В нашей комнате трудно было услышать фразу без юмора, мы одинаково любили шутку и одинаково ненавидели глупость и ханжество.

Позже Блинов говорил, что Перельман испортил хороших ребят. Еще позже, перед уходом из журнала, он разоткровенничался с Петровым:

— Посмотри, Коля, на меня и на себя, — сказал он, — оба мы светлые, широкие, русские, а что ты нашел в этом Перельмане, хоть убей не пойму!

По-видимому, писательское видение, о котором так любил говорить Андрей Дмитриевич, не помогало ему понять отношений, сложившихся между нами. С точки зрения Блинова я, возможно, и выглядел человеком, отравляющим своим бродильным еврейским духом хороших русских ребят.

Но на самом-то деле их воспитывала сама действительность. Моя же роль была куда более скромной — я просто старался показывать им ее такой, какой она была. Я считал, что юмор и ирония были единственным способом видения жизни, о которой мы писали на страницах журнала, и потому хотел, чтобы они смотрели на эту жизнь не тусклым взором партийных ханжей и бюрократов, а иным, веселым и понимающим взглядом. Впрочем, этот юмор был тоже своего рода уходом от действительности. Она выдвигала свои реальные проблемы, она наступала на пятки, и не было в том гражданской смелости, чтобы, видя эту действительность и ее проблемы, тихонько потешаться над ней, не пытаясь ее изменить.

Подсознательно я это никогда не переставал чувствовать. И даже в годы, казалось бы, наибольшего своего успеха. Процветающий, великолепно зарабатывающий, имеющий в журнале все, что нужно человеку для благополучной жизни, я все же оставался решительно недовольным собой. Чем больше было благополучия, тем больше внутреннего, неосознанного чувства — что живу не так, как должен.

По-видимому, новое отрицание набирало силы, и сидящая во мне мина замедленного действия, как некогда в деле Великовского, снова ждала своего часа. Но когда осенью 61 года я выехал в город Рустави проверять письмо некоей Харченко, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, я меньше всего подозревал, что момент взрыва совсем уже близок. Так же, как я не почувствовал его приближения и второй раз, когда летом 67 года ушел в плавание в Северную Атлантику.

СНОВА БУНТ

Письмо Нади Харченко застало меня в Тбилиси. Я занимался распространением журнала. Жил в отличной интуристской гостинице «Сакартвело» и пребывал в самом что ни на есть безоблачном настроении. Письмо это было мне переслано из Москвы заведующим отделом писем и консультаций Комечем. Он извинился, что вторгается в мои планы, и просил, если выкрою время, выехать в Рустави и проверить письмо одной девицы, пытавшейся свести счеты с жизнью.

От Тбилиси до Рустави какой-нибудь час езды, и когда на следующее утро я сел в автобус, то к обеду уже рассчитывал быть обратно. Однако не вернулся ни к обеду, ни к ужину, ни назавтра. Просидел в Рустави безвылазно восемь дней, и когда летел обратно в Москву, то в голову уже ничто не лезло, кроме дела Харченко.

Под влиянием слов Комеча, а может быть, и собственного воображения, я ожидал встретить нервическую особу, и эта особа, полагал я, тут же насядет на меня со своими истерическими жалобами и будет требовать, чтобы журнал немедленно вмешался. Подобная перспектива меня определенно не вдохновляла. Но Харченко оказалась лет девятнадцати девочкой, встретившей меня в больничном бумазейном халате. Была она очень общительна и спокойна и ни одной чертой своей не напоминала тот театральный

персонаж, что засел в моей голове перед выездом в Рустави. (Позже я узнал, что и письмо-то писала не она, а ее тетка.) Мы вышли на лестничную площадку, и она рассказала мне все, что произошло.

Эта была, в сущности, обычная житейская история со всеми ее атрибутами, ранним замужеством и ранним разводом, происшедшим из-за того, что негде было жить. Присутствовал в ней даже несостоявшийся герой-любовник — Надин начальник Важа Шенгелая, допекавший Надю бесконечными придирками за ее неуступчивость. Необычной разве была сама Харченко, интуитивно понравившаяся мне с первой же минуты. Была в ней какая-то внутренняя чистота, без всякой игры, без всякой назойливости. И все же, когда я выходил из больницы, я еще далеко не был уверен, что буду писать.

Все решила встреча с ее лечащим врачом Давидашвили. Я называю точно все фамилии, поскольку материалы дела до сих пор хранятся у меня.

Там вот я стал выяснять у Давидашвили, в каком состоянии доставили Харченко после ее попытки самоубийства.

— Какое самоубийство? О чем вы? — удивленно переспросила Давидашвили. — У нее обычное заболевание желудка — гастрит с повышенной секрецией. И в подтверждение своих слов показала историю болезни Харченко, где действительно черным по белому был записан диагноз: «Обострение хронического гастрита».

— Но вы же не станете отрицать, что она выпила ацетон? — не отступал я. — К тому же и температура у нее поднималась до сорока.

— Слушайте, вы видели, как она пила этот ацетон? — уже с раздражением перебила меня Давидашвили. — Я тоже нет!

Это было уже свинство, варварство...

Из больницы я поехал в прокуратуру, откуда в день отравления приезжал к Наде следователь Джапаридзе.

— Отравление? — встретил от меня с тем же удивлением. — Кто вам сказал? Да она, если хотите, мне даже улыбалась.

Какой-то внутренний голос мне подсказывал, чтобы я не связывался, что это Грузия, что я все равно ничего не добьюсь, а только наживу неприятности. Но уехать уже не мог.

Со следующего дня я приступил к методической проверке фактов. Напрасно в парткоме и завкоме Закавказского металлургического завода, где работала Харченко, меня пытались убедить какой у них хороший коллектив. Мол, стоит ли, чтобы из-за какой-то истерички пало пятно на все передовое предприятие. Но меня интересовали только факты. Я переговорил с десятками людей. Они рассказали, как профком центральной лаборатории, где Надя была лаборанткой, из года в год отказывал ей в жилье, как изо дня в день подводил ее к трагедии Шенгелая, как на глазах у подруг она выпила пузырек ацетона и потеряла сознание, а работники скорой помощи по какой-то странной рассеянности забыли послать рвотную массу на судебно-химическую экспертизу.

Я вернулся в Москву и за одну ночь написал статью, вышедшую, впрочем, под довольно тривиальным заголовком «Люди с каменным сердцем».

Статья была напечатана в третьем номере журнала за 1961 год. Бой из-за нее разгорелся еще на редколлегии, когда обсуждался номер. Заведующий культмассовым отделом ВЦСПС Сиснев заявил, что материал слишком мрачен, что он даст оружие нашим врагам за рубежом.

— Не знаю, как вам это объяснить, но мне партийное чутье подсказывает, что мы должны воздержаться, — говорил Сиснев. Он так и сказал: «партийное чутье», и я хорошо запомнил эти слова. Они отражали безошибочный классовый инстинкт, всегда объединяющий недругов моих материалов.

В статье моей была не просто злость фельетониста, возмущенного увиденной несправедливостью. Я обруши-

вался против громких слов и призрачных ценностей, прикрываясь которыми руководители завода пытались творить произвол. И оттого, что мне самому годами приходилось воскуривать фимиам этим псевдоистинам, оттого, что я слишком долго проходил мимо живых фактов жизни, — я, наверное, писал злее обычного.

Вскоре после выхода журнала пошли письма. Единственно, кто набравши воды в рот молчал, были власти Грузии.

Окольными путями до меня доходили слухи, что в Рустави работает комиссия грузинского ЦК КПСС. Члены комиссии вызывают Харченко и упорно пытаются установить, не является ли этот Перельман ее родственником и не получил ли от нее взятку.

Назревала борьба, и из нее мы, то есть журнал, вряд ли выйдем победителями, если не заручимся серьезной поддержкой. Такую поддержку мог оказать только никого и ничего не боявшийся Аджубей.

Через несколько дней в «Известиях» была опубликована колонка от коллективного корреспондента журнала «Советские профсоюзы», лаконично озаглавленная «Это случилось в Рустави» и задававшая вопрос — до каких же пор намерена молчать Грузия.

После выхода «Известий» я обрел спокойствие, полагая, что вряд ли кто-нибудь решится конфликтовать с зятем Хрущева. Но так же, как и позже, в «Литературной газете», где я уповал на помощь друга Брежнева министра внутренних дел Щелокова, я недооценивал такого важного фактора, как классовая самозащита партийной бюрократии.

На выступление газеты Грузия откликнулась тотчас же — состоялось внеочередное заседание ЦК партии республики. Статья Перельмана «Люди с каменным сердцем» была подвергнута сокрушительному разгрому, а первый секретарь ЦК Мжаванадзе направил письмо в три адреса — первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву, председателю ВЦСПС Гришину и главному редактору газеты «Известия» Аджубею.

Надо мной нависло новое дело Великовского, но грозившее куда более зловещим исходом. Наутро после заседания ЦК Грузии я отправился к Аджубею на прием.

Помощник обещал доложить о моем приходе, но в эту минуту Алексей Иванович уже в пальто вышел из кабинета сам и направился к лифту. Я последовал за ним, и мы вдвоем оказались в спускавшейся вниз кабине.

После 55 года, когда я видел Аджубея на вечере в ЦДРИ, он сильно располнел и обрюзг. Но он явно желал в моих глазах сохранить ореол демократа, которым наделила его молва. Он любезно подал мне руку и сообщил, что только что говорил по телефону с Мжаванадзе.

— Ну и что же? — спросил я.

— А! — махнул рукой Алексей Иванович. — Я, между прочим, ему прямо сказал: «Василий Павлович, я вас просто не понимаю!»

Лифт остановился, и вслед за Алексеем Ивановичем я вышел на улицу. О чем говорить дальше, не знал и зачем-то спросил у Аджубея, что делать с письмами, идущими в журнал.

— Может быть, принести вам в редакцию? — спросил я.

— Пожалуй! — рассеянно ответил Алексей Иванович и сел в черный ЗИМ.

Через несколько дней меня и Блинова вызвал к себе заведующий сектором профсоюзов ЦК партии Федотов.

Федотов начал разговор изысканно вежливо и даже по-дружески.

— Ну что, друзья, скажете? — перед ним лежало письмо Мжаванадзе на имя Хрущева. — И как вообще вы могли дойти до жизни такой? — кивнул он на письмо.

— На наш взгляд, мы правы, — неуверенно начал Блинов.

— Так... — саркастически улыбнулся Федотов, и его жесткие черты лица стали еще жестче, — вы правы, а Центральный Комитет партии Грузии и Василий Павлович Мжаванадзе ошибаются.

— Но у меня все факты по этому делу, — мягко возразил я.

— У него есть факты, слышали? — снова усмехнулся Федотов, на миг мне показалось, что само слово «факты» вызвало у него прилив раздражения. — Да у нас есть факты в сто раз почище ваших, ну и что отсюда следует? Вы член партии? — вдруг он испытующе посмотрел на меня и, услышав вопреки своим ожиданиям утвердительный ответ, сказал. — Не чувствуется, говорю вам прямо!

Я хотел еще что-то добавить, но он прервал меня:

— Есть факты и фактики, а есть политика партии и правительства. Или она для вас не существует, товарищ Перельман? — неожиданно вспомнил он мою фамилию.

На этом беседа закончилась. И аудиенция тоже. Все теперь зависело, какую позицию займет Виктор Васильевич Гришин.

Вряд ли ему придутся по душе порядки, царящие в Уставе. Да и чтобы там ни говорили, а ведь защищать человека — это главное дело профсоюзов.

Так или примерно так пытался я себя успокоить. Но дело тянулось уже полгода, а развязка все не наступала. На этот раз я переживал вместе с женой. Так получилось, что женился я в разгар событий и именно в день свадьбы из Тбилиси позвонил наш сотрудник, находившийся там в командировке, и «порадовал» меня вестью о только что принятом решении ЦК партии Грузии.

— Даже здесь у тебя все не как у людей, — успела шепнуть мне мать, пока я говорил по телефону. — Исключат из партии, тогда будешь знать.

— Жених где? Жениха нет! — кричали из комнаты гости.

А я, глядя на это счастливое застолье и на свою будущую жену, не подозревавшую еще, что за счастье ей привалило, ругал себя последними словами за то, что ухитрился испортить такой день.

Из партии меня не исключили. С работы не сняли и даже не объявили выговора. Помогло стечение обстоятельств и еще, пожалуй, незыблемые законы аппаратной жизни. Что касается моих упований на председателя ВЦСПС, то вот как все было.

Грузинское дело решили обсуждать вместе с отчетом Блинова на президиуме ВЦСПС.

Новый редактор отчитывался впервые, он вышел на трибуну и, неуверенно переступая с ноги на ногу, сказал, что в такой ответственной аудитории он никогда не выступал и, если что будет нескладно, то он просит членов президиума и Виктора Васильевича не взыскать.

Члены президиума, как всегда, сидели за столом на сцене. Считалось, что каждое такое заседание — это школа для аппарата.

Виктор Васильевич сидел в центре, и хотя слова Андрея Дмитриевича были встречены в зале одобрительными улыбками, на лице председателя не шевельнулся ни один мускул. Между тем Блинов подчеркнул, что свое важнейшее назначение журнал видит в активной пропаганде опыта профсоюзных организаций, рассказал о сделанном и закончил тем, что в работе журнала есть и недостатки. Об этом, в частности, свидетельствует уставская статья товарища Перельмана.

После Блинова слово взял зав культмассовым отделом Сиснев и вспомнил, как в свое время он предупреждал редакцию, что с уставской статьей выступать не надо.

— Мне, Виктор Васильевич, партийное чутье подсказало, что мы идем не туда с этой статьей, — неожиданно повернулся он к Гришину.

Председатель откашлялся и, никак не выразив своего отношения к услышанному, предоставив слово еще нескольким ораторам, наконец, поднялся сам. Положив руки в карманы пиджака и чуть опустив голову — это была его любимая поза, — он не спеша прошелся вдоль сцены и, откашлявшись еще раз, начал негромким, глухим голосом. Но начал не с журнала, а с крупных задач, которые предстоит решать профессиональным союзам.

— В свете этих задач, — говорил Виктор Васильевич, — мы и должны рассматривать работу нашего профсоюзного журнала. Из дальнейшего следовало, что с точки

зрения председателя, журнал еще не нашел своего места в общенародной борьбе за пятилетку и — что самое тревожное — позволяет себе печатать не только неправильные статьи — я абсолютно не согласен с вами, товарищ Блинов, вы, очевидно, плохо поняли, о чем речь. Речь о политически вредном выступлении, направленном против основы основ социалистического общества. По-видимому, редакция и автор статьи товарищ Перельман не отдают себе отчета в том, что значит дружба народов в современных условиях, а может быть, она им и не дорога — это еще надо посмотреть, товарищи.

Я уже понял, какую защиту получу от председателя ВЦСПС, а также понял, что отчет Блинова и все последующие выступления — это лишь увертюра к речи Виктора Васильевича Гришина.

Из зала я вышел совершенно разбитый. Гришин говорил около часа, но если бы меня попросили хотя бы примерно повторить сказанное, то я бы вряд ли мог это сделать.

Единственное, что мне запомнилось, — это как председатель возмущался темой статьи. Неужели нашему журналу не о чем писать? Неужели мало насущных проблем выдвигает соревнование? Неужели утратили свое значение ленинские принципы гласности, состязательности, сравнимости результатов? Или нас уже не волнует состояние общественного контроля на предприятии и работа постоянно действующих производственных совещаний?

Кажется, это было единственное место, где я едва сдержал улыбку. Круг замкнулся. Откуда ушел, туда и пришел: все к той же призрачной «aqua pura», возведенной на недосягаемый пьедестал теперь уже самим председателем ВЦСПС.

Наутро после собрания позвонила мать. Она, как всегда, была в курсе моих дел и считала своим долгом подвести итог грузинской истории.

— Так, значит, никакого взыскания? — шумно выражала

она восторг в трубку. — И знаешь, что я тебе скажу, Блинов все-таки порядочный человек. Другой мог прямо утопить тебя. И Николаева тоже хорошо себя показала, правда?

— И Виктор Васильевич, — иронизировал я.

— А что, и Виктор Васильевич? Ну, знаешь, — у тебя с твоим характером все плохие. Всегда хочешь быть умнее всех, а оказываешься в дураках. Тебе уже 36-й год.

Я свернул разговор и положил трубку. Надо было прыгать от радости, а я ничего не ощущал, кроме усталости и безразличия.

«В чем-то, — думал я, — мать действительно права». То защищал еврея Великовского от русской Ивановой, то защищал русскую Харченко от грузина Шенгелая... Наше государство явно не нуждалось в таких еврейских правдоискателях. Казалось бы, я все это понимал. Оставалось только сделать выводы, и я начинал уже их делать.

Но так же, как у Менахем-Мендла, всякий раз появлялось что-то такое, что заражало меня новой идеей и мешало «вернуться в тихую и благополучную Касриловку». И когда летом 67 года я отправился на рыболовецком судне в Северную Атлантику, то, очевидно, переживал нечто близкое тому, что ощущал Менахем-Мендл, перебираясь из Одессы в окрыливший его надеждами Егупец.

Менахем-Мендл писал из Егупца восторженные письма своей дорогой и благочестивой супруге Шейне-Шейндл, а я слал радиограммы своей жене и дочери из Северной Атлантики: «Идем мимо Норд-Капа. Вышли в Северное море, шторм восемь баллов, подходим к острову Ньюфаундленд. Взяли курс на Банку Джорджес к берегам Америки».

Вопрос о моем плавании решался на секретариате ЦК КПСС, и секретариат вынес довольно странное решение. Мне разрешался выход в море, но без захода в иностранные порты.

Уже в море я узнал, что на языке спецотделов это называется «виза № 2», и рыбакам, отправляющимся на промысел, ее обычно оформляют портовые кадровики в тече-

ние двух-трех дней. Но в море я не хотел ни о чем вспоминать. Часами я мог стоять, припав лбом к иллюминатору, и наблюдать за темной бушующей стихией. «Люди бывают трех родов, — писал Анахарсис, — те, кто жив, те кто мертв, и те, кто плавает в море». Мне казалось, что в море я увижу то, что никогда не смог бы увидеть на берегу.

На маленьком СРТ-118 «Стриж» мы подходили почти к самому Нью-Йорку, промышляя всего в 17 милях от порта. Ночью я видел диатомовое цветение водорослей и в туманной дымке зарево огней Манхэттана. На Флемишкапе и большой ньюфаундлендской банке работал вместе с матросами в трюме. Мы перегружали на плавбазы двухпудовые ящики мерлузы и хека. Был в заливе Мен, на Браун Банке и даже в широтах, где промышлял меч-рыбу хемингуэевский старик — саляо.

Но чем больше я находился в море, тем сильнее было ощущение, что берег цепко держит меня в руках. Это звучит парадоксально, но именно в море я вдруг по-настоящему увидел берег. Нет, не оттого, что отдалился от суеты буден, как любят утверждать юные романисты, а оттого, что вся береговая жизнь с ее нелепыми законами была теперь перед глазами, на маленьком пятачке судна.

Возможно, не имей я позади Юридического института, 56 года, дела Великовского, не будь я много раз унижен этой жестокой и нелепой жизнью на берегу, меня мог бы ослепить ночной фитопланктон и дивные закаты на Банке Джорджес. И тогда, возможно, я не увидел бы этого суетного пятачка, этого оторвавшегося куска суши. Но позади была целая жизнь, научившая меня кое в чем разбираться, и на судне еще зримее, чем на берегу, предстало то, от чего я жаждал вырваться.

Позже жена говорила, что из плавания я вернулся больной и некоммуникабельный. К этому требуется уточнение: я вернулся с четырьмя общими тетрадями своих океанических дневников. Дома я, вероятно, был действительно невыносимым.

— «Ничем не интересуешься, кроме своих бумажек, — говорила жена. — Как так можно жить?» А я сидел за столом и лихорадочно писал. Я чувствовал себя переполненным резервуаром, не могущим существовать, не отдавая внешнему миру содержимого.

Я писал по вечерам и воскресеньям, вместо того, чтобы уходить в семьей на лыжах, писал весь отпуск, уехав на полтора месяца в Дом творчества журналистов. Писал даже в рабочее время, забросив дела в отделе и вызывая недовольство редактора.

Не только домашние, но и некоторые из друзей говорили, что, вернувшись из плавания, я немного тронулся. Но если в моем поведении и было что-то, лишенное здравого смысла, то совсем не то, в чем меня обвиняли.

Шизофренической была беззаботность, проявляемая мной в отношении будущей рукописи, увидит она свет или не увидит — меня это совершенно не занимало. И только когда я кончил и перечитал написанное, то понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах моя книга не будет издана. И не потому, что она очерняла действительность, как позже мне писали из редакций, а потому что она показывала ее такой, как она есть.

СТАЛИНСКИЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ О «ВОЖДЕ НАРОДОВ»

В этом номере редакция решила познакомить читателей с весьма примечательной публикацией, появившейся в третьем выпуске журнала «Социологические исследования». В начале 1988 года этот журнал ввел новую рубрику «Время. Идеи. Судьбы», которая открывается воспоминаниями личного телохранителя Сталина. Как сообщает редакция «Социологических исследований», автор воспоминаний, персональный пенсионер Алексей Трофимович Рыбин в тридцатые годы служил в органах НКВД, в том числе в подразделении, которое обеспечивало безопасность членов правительства. Позже он был военным комендантом Большого театра.

Характерно, что автор а своих воспоминаниях пытается нарисовать облик совершенно иного Сталина, не кровавого диктатора и величайшего из злодеев современной истории, а Сталина мудрого, гуманного и глубоко человечного. При этом он неизменно подчеркивает документальную достоверность приводимых им свидетельств. Большинство его утверждений вряд ли нуждается в комментариях. Наши читатели, живущие в свободном мире и владеющие обширной и достоверной информацией о Сталине, сумеют сами разобраться, насколько мемуары А.Т. Рыбина соответствуют действительности. Однако они характерны с совершенно другой точки зрения, поскольку выражают тоску о Сталина определенных кругов советского населения и, как видим, точка зрения этих кругов находит отражение в советской печати. И в этом смысле, вероятно, не случайно, что ведущий социологический журнал СССР свою новую рубрику открывает панегириками в адрес Сталина.

Алексей РЫБИН

РЯДОМ С И.В. СТАЛИНЫМ

Свои воспоминания А.Т. Рыбин начинает следующими словами.

«В романе Рыбакова «Дети Арбата» утверждается, что Сталин боялся своего народа и по этой причине, когда он ехал по Арбату, то спецслужбы перекрывали все проходные дворы. Это вымысел. Сталин был совершенно свободен от чувства страха. Он мог поехать по любой неохраняемой трассе, остановиться, где угодно, беседовать с людьми. Особенно часто он так делал во время войны и после нее.

Совместно с моими сослуживцами И. Черняевым и И. Кожевниковым я нес ответственность за охрану Арбата и Можайского шоссе во время проезда по ним Сталина, — вспоминает А.Т. Рыбин. — Никогда перед нами не ставилась задача перекрыть на Арбате все проходные дворы. Да это и неосуществимо, ведь каждый дом, начиная со 2 по 54 и с 1 по 55 имел проходные дворы или подъезды.

Обычно Сталин ехал по Арбату со скоростью 30-40 километров в час, а по Большому (ныне улица Мясковского)

Воспоминания А.Т. Рыбина публикуются в изложении редакции.

и Малому Афанасьевским переулкам и того медленнее — 10-15 километров. Об этом свидетельствуют, в частности, водители В. Карцев. А. Кривченков. П. Митрюхин и Н. Цветков.»

Далее А.Т. Рыбин пишет, что ему неоднократно приходилось слышать, что Сталин якобы панически боялся террористов, мол, у него мебель в кабинете была расставлена таким образом, чтобы за ней не мог спрятаться злоумышленник, а портьеры по той же причине были короткими, вровень с подоконником. «Прокомментировать эти слухи, продолжает автор воспоминаний, я попросил бывшего коменданта сталинской дачи И. Орлова.* Вот что он мне ответил: «Мебель расставлял я, а не Сталин. Портьеры развешивал тоже я. Укоротили мы их с тем расчетом, чтобы они не мешали поступлению тепла от отопительных батарей. Сталин часто выражал неудовольствие начальнику охраны генерал-лейтенанту Н. Власику, бранил его за чрезмерное усердие и перестраховку: «Что вы меня прячете в железнодорожные тупики? Я хочу садиться в вагон там, где все люди садятся».

Далее, мы читаем: «...Дело было до войны в престольный праздник Троицын день. Сталин собрался ехать в Горки-вторые. Власик куда-то отлучился. Разрешение сесть в машину попросил Н. Кириллин. Сталин утвердительно кивнул. «Где-то возле Жаворонок, — вспоминает Кириллин, — встретилась нам весьма почтенного возраста старушка. Сгорбившись, опираясь на палочку, она брела по обочине. Вдруг Сталин сказал: «Пригласите старушку в машину, мы довезем ее до дома.» Автомобиль остановился. Я подошел к старушке и говорю ей: «Мамаша, товарищ Сталин приглашает вас в машину, нам по пути, мы довезем вас до дома». Старушка как-то странно посмотрела на меня и сказала: «Сынок, в своем ли ты уме?» В этот момент Сталин распахнул дверцу. Увидев его, старушка перекрестилась:

* Здесь и далее А.Т. Рыбин ссылается на воспоминания других сотрудников сталинской охраны, проверить которые мы не имели возможности.

«Господи, неужели это товарищ Сталин? Иосиф Виссарионович?» — «Самый настоящий. Вы не стесняйтесь, садитесь в машину, мы довезем вас до дома». Дорогой Сталин поинтересовался, откуда и куда бабуся держит путь. Та ответила, что была в церкви, возвращается домой — у нее хозяйство. «А что у вас за хозяйство?» — «Держу корову и кур». — «Кто же вам помогает, или одна справляетесь?» — «Дочь и внучка помогают». Выйдя из машины, старушка еще долго кланялась нам вслед и крестилась».

Можно было бы привести множество примеров мужественного поведения Сталина в период Великой Отечественной войны. Вот только некоторые штрихи, — продолжает А.Т. Рыбин. — Во время налетов вражеской авиации на Москву Сталин продолжал работать в Совнаркоме, но чаще на ближней даче. Укрытий от бомбежек, свидетельствуют сотрудники охраны Н. Альтшулер, А. Ишметов и Д. Жеребятьев, здесь не было. Иногда во время налетов Сталин в сопровождении Б. Кузнецова поднимался на крышу-солярий и следил оттуда за плотностью огня нашей зенитной артиллерии.

Прикрывали дачу с воздуха расставленные вокруг нее морские зенитки. Отражая налеты противника, они создавали порой беспрерывную канонаду. Находилась при этом «работа» и сотрудникам охраны: они расстреливали из автоматов осветительные ракеты.

Известно, что к середине октября 1941 года на Западном фронте сложилась очень тяжелая ситуация. Немецкие войска прорвали оборону наших войск и устремились к Москве. В этих исключительно драматических условиях Сталин, в отличие от некоторых его соратников, не растерялся. Стоявший на посту возле кремлевского кабинета сотрудник охраны С. Кашеваров вспоминает: «В эти дни Верховный Главнокомандующий нервозности не проявлял, был спокоен. А вот Берия, Маленков и Каганович явно потеряли самообладание, пришли в крайнюю степень смятения». В ночь с 15 на 16 октября Берия вызвал на сове-

щание в здание НКВД секретарей столичных райкомов партии. Бывший первый секретарь Свердловского райкома ВКП(б) Илья Новиков вспоминает: «Совещание было коротким. Берия сказал: «Связь с фронтом прервана. Эвакуируйте всех, кто не способен защищать Москву».

А каким было поведение Сталина? Вечером 15 октября он собрался ехать на ближнюю дачу в Кунцево. Генерал В. Румянцев, зная, что дача заминирована, принялся его всячески отговаривать. Сталин молча выслушал и повернулся к шоферу П. Митрюхину: «Едем на дачу». В сопровождении И. Хрусталева и В. Круташева Верховный подъехал к воротам дачи. Тут-то и выяснилось — ворота закрыты, дача заминирована. Сталин пристально посмотрел на коменданта И. Орлова и приказал: «Через два-три часа разминируйте, а сейчас натопите печку в маленьком домике, я там буду работать».

А как, по словам А.Т. Рыбина, Сталин вел себя в последующие дни?

«Утром 16 октября Сталин в сопровождении генерала В. Румянцева, а также В. Круташова и Н. Кириллина направился в Кремль. На улицах толпы народа тащили из магазинов продукты. Увидев эту картину, Сталин вышел из машины (на Смоленской площади). Вокруг него мгновенно собрались москвичи, стали аплодировать. Более смелые стали говорить о беспорядках в городе. Кто-то спросил: «Когда же Красная Армия остановит врага и погонит его с нашей земли?» Сталин ответил: «Недалек тот день, когда и на нашей улице будет праздник». Затем Верховный проследовал в Кремль, где провел совещание, которое хорошо описано в воспоминаниях бывшего наркома авиационной промышленности СССР А.И. Шахурина.

15 октября Берия, Маленков и Каганович рекомендовали Сталину эвакуироваться в Куйбышев. Для этой цели подготовили специальный поезд, который стоял в тупике за Крестьянской заставой. Кроме того, на одном из аэродромов стояли наготове четыре самолета. В том числе лич-

ный самолет Сталина под управлением командира авиадивизии полковника В. Грачева. В числе других сотрудников мне доводилось охранять эти самолеты и спецпоезд. В первом случае дежурили, в частности, мои подчиненные Ю. Корольков, А. Сусанин, А. Жуков; во втором — Н. Альтшулер, А. Белехов, П. Лозгачев, В. Туков, И. Хрусталев.»

Затем следует утверждение, противоречащее данным о том, что Сталин осенью 1941 года уехал из Москвы. «Сталин Москву сдавать не собирался, равно как и появляться возле спецпоезда, на аэродроме. События в эти дни развивались так. Комендант дальней дачи С. Соловов кое-что уже успел перевезти в спецвагон. Сталин заметил его хлопоты и поинтересовался: «Что за перевозка?» Соловов ответил: «Готовимся, товарищ Сталин, к эвакуации в Куйбышев». Сталин спокойно, но твердо сказал: «Никакой эвакуации. Все останемся здесь до победы». Ночью 16 октября он собрал своих сотрудников для поручений Н. Кириллина, М. Старостина, В. Тукова, И. Хрусталева и шофера А. Кривченкова. Еще раз повторил: «Из Москвы никуда не поеду. Вы все остаетесь со мной».

Когда еще был жив В.М. Молотов, я обратил его внимание на роман П. Проскурина «Имя твое». В начале второго тома этого романа говорится, что 19 октября 1941 года Сталин намерен был покинуть Москву. Приехал к стоящему в Рогожско-Симоновском тупике поезду и около двух часов ходил по платформе, мучительно раздумывая: «ехать — не ехать?» На это Молотов мне ответил: «В октябре 1941 года выезжать из Москвы Сталин не собирался. Он послал меня в Куйбышев на три дня для проверки на месте, как устроился дипломатический корпус. Спустя три дня я возвратился в столицу».

«После Тегеранской конференции, — продолжает А.Т. Рыбин, — Сталин посетил разрушенный до основания Сталинград. Он осмотрел улицы, помещение штаба фельдмаршала Паулюса. Водитель А. Кривченков вспоминает: в узком проезде между грудами камней и разбитой

вражеской техники автомобиль неожиданно столкнулся с «эмкой», которой управляла женщина. Сталин приказал остановиться и вышел из машины. Увидев его, женщина испугалась и заплакала. «Это я во всем виновата», — причитала она. Сталин ее успокоил: «Вы не плачьте. Не вы виноваты, а война. Наша машина бронированная, не пострадала, а вы свою поправите». В то время в Сталинграде лежали горы немецких касок. Глядя на эту впечатляющую картину, Сталин сказал: «А в касках-то были головы».

Летом 1946 года Сталин ездил на юг. В Орле он решил пройтись пешком по городу. Орел лежал в развалинах. Сотни людей сопровождали вождя, карабкаясь через руины. На одной из улиц перед ним вдруг возникла женщина с ведрами. В. Туков вспоминает: она бросила ведра, всплеснула руками, горько заплакала. Потом обняла Сталина, причитая: «Дорогой товарищ Сталин, разве можно ходить по нашим улицам?» Тот ответил вопросом на вопрос: «А разве нам не разрешается ходить по улицам вашего города?» Женщина продолжала причитать: «Если бы не вы, товарищ Сталин, нам бы не одолеть проклятого врага. Спасибо вам за это». — «Вам спасибо, победил врага народ, а не я».

А вот еще одна картинка, которая рисует так называемую человечность Сталина. «17 июля 1949 года Сталин ехал на дачу в Семеновское. Шел дождь. Примерно на середине пути впереди показалась автобусная остановка. На ней сгрудилось несколько человек. Поравнявшись с остановкой, Сталин велел притормозить и, обращаясь к сопровождавшему его В. Тукову, сказал: «Хозяин, люди мокнут под дождем, давай мы их довезем до дому. Пригласите в машину». Туков подошел к ожидающим автобус и от имени Сталина попросил сесть в автомобиль. Однако никто не сдвинулся с места, все смотрели на Тукова с подозрением. Пришлось возвратиться и доложить: «Они не идут в машину». — «Плохо приглашаете, не умеете говорить с народом». Сталин вышел из автомобиля, подошел к остановке, вступил в разговор. Поскольку всем места не хватило, пришлось сделать два рейса. Поначалу пассажиры вели себя сдержанно, потом беседа стала оживленной. Сталин расспрашивал о деревенской жизни, ему охотно отвечали. Разговорились о войне. Иосиф Виссарионович рассказал о гибели своего сына Якова. Одна из пассажирок, Галя Юдина, поделилась своим горем — ее отец убит на фронте. (Некоторое время спустя Сталин подарил Гале школьную форму и ученический портфель). Кроме Гали Юдиной в беседе принимали участие Света Захарова, Витя Кошкин, Зина Мустафаева, Нина Хрусталева и учительница Екатерина Андреевна Кузина».

Далее автор воспоминаний пытается по-своему интерпретировать отношения Сталина с Кировым и историю убийства Кирова.

«Другое возражение Рыбакову касается отношений между Сталиным и Кировым. Не могу согласиться, что они были холодными. Тут уместно вести речь не просто о дружестве, но об отношениях задушевных, чему я лично свидетель. Мне неоднократно доводилось видеть их вместе на ближней даче, на юге, во время городошных баталий (Сталин играл в паре с рабочим по кухне Харьковским, а Киров с Власиком). Было видно, что Сталина и Кирова связывают очень глубокие чувства. Узнав о гибели Кирова, Иосиф Виссарионович испытал огромное потрясение. Вместе с Молотовым он тотчас выехал в Ленинград. Сопровождали их воинские подразделения из дивизии особого назначения, сотрудники для поручений В. Румянцев, Н. Кириллин, С. Кузьмичев, С. Макеев. За два дня Сталин осунулся, почернел. Он подошел к гробу, обнял покойного, поцеловал и сказал буквально следующее: «Прощай, мой дорогой друг. Мы за тебя отомстим».

Мое мнение такое, — пишет автор воспоминаний, — охрана Кирова была налажена из рук вон плохо. Дело дошло до предательства интересов партии и народа. Николаева, будущего убийцу Сергея Мироновича, дважды задерживали

у ворот Смольного как явно подозрительную личность, но по команде сверху освобождали, не удосужившись обыскать. В роковой день 1 декабря 1934 года Николаев, имея при себе оружие, более двух часов сидел на подоконнике в коридоре, поджидая Кирова. Кто вложил пистолет в руку убийцы? (В те годы осуществлялся очень жесткий контроль за огнестрельным оружием, мне это хорошо известно.) Почему в коридоре Смольного не оказалось сотрудника охраны, почему не оказалось рядом с Кировым телохранителя, который обязан был заслонить вождя от предательской пули? К трагической развязке привела преступная бесконтрольность Ягоды и начальника Ленинградского УНКВД Медведя, его подчиненных. Следствие по делу об убийстве Кирова велось таким образом, что ни один из очевидцев не остался в живых. Погибли они в дороге, при аварии автомашины. Остался лишь старый шофер, который давал путаные, весьма противоречивые показания, из которых нельзя было что-либо понять.

Третье возражение А. Рыбакову. В романе он утверждает, что Сталин просил Кирова написать книгу о его руководящей роли в революционном движении в Закавказье. Киров отказался. Книгу написал Берия.

Все это маловероятно, — пишет А.Т. Рыбин, — Сталин не любил, когда его восхваляют. Подтверждения тому мы находим в книгах летчика Г. Байдукова, авиаконструктора А. Яковлева, маршала Г. Жукова. Накануне Потсдамской конференции Сталин сказал последнему буквально следующее: «Не вздумайте для встречи строить всякие там почетные караулы с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой тех, кого вы считаете нужным». А вот строки из воспоминаний подполковника В. Тукова: «После войны Сталин смотрел в Кремле кинокартину. В картине был эпизод — люди рукоплещут вождю, раздаются крики: «Ура товарищу Сталину!» Иосиф Виссарионович тут же обратился к председателю комитета по кинофикации Большакову: «Чтобы я таких приветствий и криков «Ура товарищу Сталину!» в кинокартинах больше не видел». В другой ленте, на этот раз документальной, было показано: Сталин выходит из самолета на московском аэродроме. Сталин возмутился и сказал: «Какая беспардонная халтура. Этого же не было.» Берия и Маленков попытались убедить Сталина, что это нужно для истории. Ответ был однозначным: «Вы уж меня избавьте от такой истории».

«Теперь вернемся к книге Берия о работе закавказских организаций РСДРП, — читаем мы далее в воспоминаниях. — Сталин не просил его писать эту книгу. Я хорошо знал сотрудника для поручений Берии полковника Саркисова, которого неоднократно расспрашивал о подготовке рукописи, о поездке на места для уточнения фактов подпольной деятельности закавказских социал-демократов, большевиков. В ответ он рассмеялся и махнул рукой: «Никуда мы не ездили». Материалы по истории революционной работы в Закавказье были собраны помимо Берии старыми грузинскими большевиками. Узнав об этом, Берия присвоил этот героический труд себе, издал его под своим именем и преподнес Сталину в качестве сюрприза. Эти сведения стали известны мне из обвинительного заключения по делу Берии. Документ зачитывался нам в течение двух часов, и эпизод с упомянутой книгой хорошо мне запомнился.

Что было характерным для тридцатых годов? Ложные доносы. Многие антисоветски настроенные элементы, карьеристы, просто клеветники стали сводить счеты с неугодными им людьми. Таким образом, наряду с арестами на законных основаниях, репрессиям подвергались и невиновные. Приметой времени стала подозрительность. Она коснулась и меня лично. Было это так. В 1935-1936 годах я работал в секретариате Серго Орджоникидзе. В то время начальником Главвагонпрома был некто Винокур. Сначала он входил в состав оппозиции, затем стал проявлять колебание, несогласие с Пятаковым. Оппозиция решила его

ликвидировать. Поздним вечером шофер по фамилии Рыбин отвез Винокура на вокзал. Вскоре начальника главка нашли мертвым возле полотна железной дороги. Кто-то сбросил его с электрички. В связи с этим преступлением в секретариате Серго появились вдруг два сотрудника НКВД. Недолго думая, они арестовали меня, отвезли на Лубянку, посадили в камеру. Сижу час, сижу два. И вот открывается дверь, и меня под конвоем ведут к начальнику оперативного отдела Паукеру. После короткого допроса выяснилось, что я всего-навсего однофамилец шофера погибшего, и меня с миром отпустили».

Весьма примечательно выглядят в мемуарах А.Т. Рыбина сталинские чистки.

«После смерти В.Р. Менжинского (1934) председателем коллегии ОГПУ стал Г. Ягода. Оставаясь на этом посту до 1937 года, он основательно засорил аппарат ОГПУ чуждыми элементами. На руководящих постах оказались бывшие белогвардейцы. Нашим начальником, например, был Гинцель, в прошлом барон. Такие люди не были заинтересованы в соблюдении революционной законности, оказывали на сотрудников давление, с тем чтобы заводилось как можно больше новых дел... Были у нас в ОГПУ и просто самодуры. В памяти остался некий Офицеров. У него было обыкновение за допущенные проступки водить провинившегося сотрудника в подвал якобы на расстрел. На последней ступеньке лестницы Офицеров обычно толкал жертву дулом маузера в спину и зло цедил: «Пошел вон, сволочь. Если еще раз завал сделаешь — расстреляю».

Шло время. Место арестованного и осужденного Ягоды занял Ежов. Он оказался забулдыгой и пьяницей. Но откуда мог знать об этом Сталин? Об этом знал Г.М. Маленков, который нес ответственность за кадровую политику партии, знал Л.М. Каганович, но никто из них не осмелился поставить в известность Сталина...»

Посмотрим, как автор рисует Берию, пытаясь доказать, что именно он, а не Сталин, был главным «кремлевским злодеем».

«Не было в окружении Сталина более злонамеренного человека, чем Берия. Все мои собеседники, порученцы и коменданты дач, характеризуют его как провокатора по своей внутренней сути. Это был грубиян, сквернослов, прирожденный пакостник. Оказавшись во главе НКВД, он начал с создания рабски преданного ему аппарата. Ключевые позиции в управлении правительственной охраны заняли Капанадзе, Игнатошвили, Гульст.

Из воспоминаний ответственного работника правительственной охраны А. Афанасьева : «Берия имел обыкновение приезжать на дачу в отсутствие Сталина и ходить по комнатам. Он всегда выискивал у нас недостатки, с тем чтобы скомпрометировать того или иного сотрудника, добиться увольнения, а на освободившееся место назначить угодного ему человека.

У Сталина на столе стоял маленький транзисторный приемник, которым он часто пользовался. И вот после одного из визитов Берии приемник исчез. Пропажа быстро обнаружилась, подозрение, как водится, пало на охрану. Пришлось вести расследование, нервировать Сталина. Мы все перевернули вверх дном, но транзистора не нашли. Лишь через некоторое время обнаружили его близ дачи в снегу. Выбросить приемник в снег мог только Берия».

Провокационные сообщения, касающиеся личной безопасности Сталина, поступали из НКВД одно за другим. Рассказывает комендант дачи «Семеновское» С. Соловов: «Как известно, территория дачи в 1941-1942 годах обстреливалась вражескими минометами. И вот в середине войны поступило из НКВД сверхсекретное сообщение о том, что возле дачи упала в свое время мина и не взорвалась. Кроме того, говорилось в сообщении, не исключено, что под фундамент дачи заложена «адская машина». Я твердо знал, куда во время боев падали мины. Надеялся и на себя, и на охрану. Однако о сообщении НКВД пришлось доложить Сталину. Он сказал: «Ну что ж, пойдемте искать». Воору-

жившись миноискателем, нащупываю в земле металлические предметы. Сталин идет рядом, да еще норовит шагать впереди меня. Как я и предполагал, ничего мы не нашли».

Свидетельствует помощник коменданта дачи Петр Лозгачев: «Сталин был гостеприимен. Сам питался кое-как, но гостей всегда кормил до отвала. Однажды он вызвал меня в зал и попросил для гостей, членов Политбюро, приготовить второе блюдо из налимьей печени. Я ответил: «Товарищ Сталин, вы просите наловить налимов в водоемах Московской области, но их там нет. Если и поймаем пять-шесть налимов, то их печенью всех не накормишь». На это Сталин ответил: «Ну нет, так нет». Берия сидел за столом и тотчас вклинился в наш разговор: «А я достану налимов». И действительно, через неделю привезли нам 30 налимов. Но мы уже тогда знали, что Берия плут и человек коварный. Я попросил медицину подвергнуть всех этих налимов анализу. Оказалось, что печень рыбы заражена белыми пятнами, врач запретил употреблять их в пищу. Между тем Сталин вызывает меня и говорит: «Вот вы не смогли достать налимов, а Берия достал». Я ответил, что Берия достал налимов из водоемов не Московской, а Ленинградской области. А главное — печень этих налимов заражена белыми пятнами и разложилась. Употреблять их в пищу медицина не разрешила. Сталин удивился: «Не может этого быть. Принесите и покажите». Я разложил на подносе печень и принес Сталину. Он посмотрел и сказал: «Выбросьте на помойку. Этому шалопаю верить нельзя».

Или другой случай. Известно, что зубы у Сталина были неважные. Он избегал употреблять твердую пищу. И вот однажды я получил с базы груши, которые оказались, как на грех, очень твердыми. В присутствии Берии Сталин сказал мне об этом. Пришлось доложить: «На складе были только такие груши, товарищ Сталин». В разговор вмешался Берия: «Да они хорошие — сами собирали, а вам эти подсунули». Я готов был сквозь землю провалиться.. «У меня груши отличные», — продолжал Берия. (Довольствовался он с того же склада, что и Сталин.) Воцарилось молчание. Стою ни жив, ни мертв. И вдруг слышу: «Поезжайте к Берии и привезите все его груши». Распоряжение Сталина было исполнено. Груши, привезенные от Берии, оказались точно такими же.

Личность человека подчас ярче иных поступков характеризуют бытовые подробности, какое-либо словцо, вдруг оброненное, все то, из чего складывается повседневность. Несколько такого рода подробностей мне и хотелось бы здесь обозначить, — вспоминает А.Т. Рыбин.

В кабинете Сталина на стене висел портрет В.И. Ленина. Над портретом круглосуточно горела лампочка. Тем самым выражалось глубокое уважение хозяина кабинета к своему предшественнику. В другой комнате стоял бюст Ильича. Этот бюст Сталин всякий раз брал с собой в отпуск; обычно по приезде на юг он просил коменданта дачи И. Орлова установить бюст на видном месте.

Не было ни одного случая, чтобы Сталин повысил голос или накричал, не разобравшись, — утверждает автор мемуаров. — Расскажу о первом промахе, который я допустил. Письменные принадлежности Сталин раскладывал на столе сам. Все лежало в одному ему ведомом порядке. И вот как-то раз горничная Шура, убирая в кабинете, завернула канцелярские предметы в настольное сукно, а затем разложила их вновь и, разумеется, перепутала. Слышу: приехал Сталин. Прошел в кабинет, кашлянул, крякнул. Ну, думаю, что-то не то. И действительно: вызывает меня, показывает рукой на стол и говорит: «Я знаю, что вы не виноваты в этом, но виноваты в том, что не проинструктировали горничную, как надо производить уборку стола и кабинета». Впоследствии я всегда присутствовал при уборке... Сталин был несколько вспыльчив, но отходчив и по-отечески добр».

Вспоминает И. Орлов: «Все годы войны Сталин работал день и ночь. Засыпал обычо под утро. Часто я заставал его в шесть утра спящим на топчане под лестницей, ве-

дущей на второй этаж, или на террасе. Спал он не раздеваясь — в шинели и в ботинках. От солнца закрывал лицо фуражкой. Удивительно, как он выдержал войну. У него от ревматизма болели ноги (вот почему он любил расхаживать по кабинету), часто досаждали ангина и гипертония, кислородное голодание. Война его сильно состарила, он поседел...

Не терпел он соглашательских ответов, типа «Как скажете, так и сделаем». В подобных случаях обычно говорил: «Такие советники мне не нужны». Мне нередко приходилось с ним дискутировать, отстаивать свою правоту. Это ему нравилось. Обычные его слова: «Ну хорошо, я подумаю. Завтра дам ответ». Затем либо соглашался со мной, либо оставался при своем мнении.»

Вспоминает В. Туков: «Известно, что в последние годы Сталин жил без семьи. Видимо, поэтому сотрудники охраны входили в круг его общения в часы досуга. Порой он собирал нас и рассказывал смешные истории из своей жизни. Иногда советовался по какому-либо житейскому вопросу. Например, однажды вождь монгольского народа Х. Чойбалсан подарил Сталину великолепный лисий мех. Собрал он нас и спрашивает: что будем делать? Кто-то предложил отдать шкурку Светлане на воротник. С этим Сталин не согласился: «Не по барину говядина». В конце концов решили: сшить шапку-ушанку. Надевал ее Сталин один или два раза».

Далее идут воспоминания А.Т. Рыбина о последних днях Сталина.

«27 февраля 1953 года в Большом театре шел балет «Лебединое озеро». Полковник в отставке Н. Кириллин свидетельствует: «В 20 часов в правительственной ложе появился Сталин. До окончания спектакля оставался один. После спектакля он попросил директора театра передать благодарность артистам. Из театра Сталин направился на ближнюю дачу, где как обычно работал до трех часов ночи.

28 февраля, после просмотра в Кремле кинокартины, к

Сталину на ближнюю дачу приехали вечером Берия, Маленков, Хрущев, Булганин. В Кунцево они находились до четырех утра 1 марта. Провожал гостей сотрудник для поручений полковник Хрусталев».

Вечером 1 марта при Сталине находились сотрудники для поручений М. Старостин, В. Туков, помощник коменданта дачи П. Лозгачев, а из обслуживающего персонала М. Бутусова. П. Лозгачев вспоминает: «С вечера 28 февраля гостям подавали до четырех утра 1 марта только виноградный сок. Что касается фруктов, то они всегда были на столе... В четыре часа утра 1 марта, оставшись один, Сталин вызвал нас и говорит: «Я ложусь спать, вызывать вас не буду. И вы ложитесь отдыхать». Никогда прежде Сталин нам таких распоряжений не давал. 1 марта каждый из нас занялся своим делом на своем участке работы, в полдень охрана заметила отсутствие какого-либо движения в кабинете и комнатах Сталина. Это насторожило всех, но примерно в 18.30 в кабинете и в общем зале зажегся свет. Все с облегчением вздохнули, полагая, что сейчас последует вызов кого-либо из нас. Но вызова не последовало ни в 19, ни в 20, ни в 22 часа. Охрану стало охватывать волнение, ибо явно нарушался распорядок дня Сталина, хотя это и было воскресенье. Обычно по выходным дням распорядок не менялся. В 22.30 охрана стала подозревать неладное. Старостин, будучи старшим сотрудником, стал настойчиво посылать меня к Сталину. Я же отвечал, мол, ты старший — ты и иди первым. Так мы препирались, кивали друг на друга и каждый боялся входить к Сталину без вызова. Наконец пришла почта. Это послужило поводом зайти к Сталину. Я взял письма и твердым шагом направился на доклад. Прошел одну комнату, вторую, но Сталина нигде не было видно. Наконец заглянул в малую столовую и увидел перед собой ужасную картину. Все во мне оцепенело, руки и ноги отказались подчиняться. Возле стола на ковре, как-то странно облокотившись на руку, лежал Сталин. Он еще не потерял сознания, но и го-

ворить не мог, случилась полная потеря речи. Все же он, видимо, услышал мои шаги и слабо поднятой рукой как бы подозвал к себе. Я подбежал к нему и спросил: «Что с вами, товарищ Сталин?» В ответ услышал невнятно произнесенное что-то вроде «дз». На полу лежали карманные часы первого московского завода, газета «Правда». На столе — бутылка минеральной воды и стакан.

По домофону я срочно вызвал Старостина, Тукова и Бутусову. Они тотчас прибежали, и кто-то из нас спросил: «Вас, товарищ Сталин, положить на кушетку?» В ответ последовал слабый кивок согласия. Общими усилиями положили его на кушетку в столовой. Сразу же стали звонить в КГБ Игнатову, но тот оказался не из смелых и переадресовал нас к Берии. Возникла необходимость перенести больного в большой зал. Мы все вместе это сделали, положили Сталина на тахту и укрыли пледом. По всему было видно, что Сталин озяб, очевидно, он пролежал в столовой без помощи с семи-восьми часов вечера... Я остался дежурить возле больного».

Вспоминает М. Старостин: «Я тут же позвонил Маленкову и сообщил о несчастье с товарищем Сталиным. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил мне и сказал: «Берию я не нашел. Ищите его сами». Прошло еще полчаса. Звонит Берия: «О болезни Сталина никому не говорите и не звоните».

Продолжает П. Лозгачев: «Сижу один у постели больного Сталина. Тяжесть на душе невероятная. Угнетает беспомощность. Старостин бегает, шумит, мол, звони, Лозгачев, начальству. А кому звонить, когда все, кому положено, о болезни Сталина знают. Тяжела и томительна была для меня эта ночь. К утру виски мои поседели. Я продолжаю находиться возле Сталина один. Минуло два часа ночи, а помощи больному ни от кого нет. В три часа ночи 2 марта слышу: подошла к даче машина. Я обрадовался. Думаю: наконец-то прибыли медики, которым я смогу сдать больного Сталина. Но я ошибся. Оказалось, что приехали

Берия и Маленков. Берия, задрав голову, прогромыхал ко мне в зал. У Маленкова скрипели ботинки. Он их снял и, держа ботинки под мышкой, вошел в носках. Встали соратники поодаль от больного, некоторое время постояли молча. Сталин в этот момент сильно захрапел. Обращаясь ко мне, Берия сказал: «Ты что наводишь панику? Видишь — товарищ Сталин крепко спит. Не поднимай шумиху, нас не беспокой и товарища Сталина не тревожь». Я стал доказывать, что товарищ Сталин тяжело болен и ему нужна срочная медицинская помощь. Но соратники не стали меня слушать и поспешно удалились из зала. Берия обрушился с бранью на Старостина, из потока сквернословия печатной была лишь одна фраза: «Кто вас дураков приставил к товарищу Сталину...» С тем Берия и Маленков уехали.

Часы пробили 4, 5, 6, 7 утра. Медицинской помощи Сталину нет как нет. Все это стало походить на предательство.

В 7.30 утра приехал Хрущев и сказал, что скоро прибудут врачи из кремлевской больницы».

Вспоминает В. Туков: «Я позвонил Молотову и сообщил о случившемся со Сталиным. Молотов сказал: «Позвоните членам Политбюро и сообщите им о болезни Сталина. Я сейчас приеду».

Продолжает П. Лозгачев: «Между половиной девятого и девятью часами прибыли врачи, среди которых был П.Е. Лукомский*. Медики очень сильно волновались, руки у них тряслись. Даже не смогли снять с больного рубашку — так волновались. Пришлось разрезать ее ножницами. Осмотрев больного, врачи установили диагноз: кровоизлияние в мозг. Приступили к лечебным процедурам — укол камфоры, пиявки, кислородное вдувание. О хирургическом вмешательстве речь не шла. Какой хирург мог

* Лукомский Павел Евгеньевич (1899-1974) — советский терапевт, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, электрокардиографии. Впоследствии академик АМН СССР (1963), Герой Социалистического труда (1969), лауреат Государственной премии СССР.

взять на себя ответственность? К тому же Берия нагонял на врачей страх зловещим вопросом: «А вы гарантируете жизнь товарищу Сталину?».

На второй день о болезни отца дали знать Василию Сталину. Он приехал с топографическими картами, полагая, что отец устроит ему экзамен как авиационному начальнику. Светлана также была вызвана к больному отцу».

Из воспоминаний В. Тукова: «Василий Сталин появился на даче в пьяном виде и с порога принялся кричать: «Сволочи, загубили отца!» Кое-кто на него ощетинился, а Ворошилов стал уговаривать: «Мы все меры принимаем для спасения жизни товарища Сталина».

И в заключение о смерти Сталина:

«О болезни Сталина узнала вся страна. На даче все чаще стали раздаваться звонки врачей-доброхотов, просивших допустить их к Сталину и уверявших, что они его вылечат. Звонили даже из других стран. Один доброжелатель оказался особенно настойчивым. В конце концов к аппарату подошел Берия. Без особых предисловий он спросил настойчивого эскулапа: «Ты кто такой? Ты провокатор или бандит?» Собеседник, видимо, понял, с кем имеет дело, и положил трубку.

Минуло 2, 3, 4 марта. Сталину становилось все хуже. Как-то раз он попытался было открыть глаза, зашевелил губами. Однако ничего нельзя было разобрать. Велись разговоры о каком-то спасителе из демократической страны, но спаситель так и не появился. 5 марта стал падать пульс. Берия подошел к больному: «Товарищ Сталин, здесь все члены Политбюро. Скажи нам что-нибудь». Ворошилов оттащил его за руку и сказал: «Пусть кто-либо из обслуги к нему подойдет, он скорее узнает». Подошел И. Хрусталев. Сталин доживал последние минуты. Медики сделали какой-то сильный укол. Тело Сталина вздрогнуло. Прошло минут десять. Больной сделал глубокий вздох и скончался .

Разные идут толки о смерти Сталина. От некоторых товарищей (в частности, из Грузии) мне приходилось слышать, что его отравили. Это не соответствует действительности. Сталин был очень болен. Часто жаловался на ноги. Время от времени у него сильно кружилась голова. В. Туков рассказывал, что когда в Кремле он поднимался со Сталиным на второй этаж, то приходилось следить, чтобы тот не упал. Кислородное голодание тоже доставляло ему большие мучения. По свидетельству И. Орлова, на даче приходилось делать просеки, с тем, чтобы свободно циркулировал воздух. К этому следует добавить гипертонию, вечный спутник инсультов и параличей. Сам он в последние годы неоднократно сетовал: «Проклятая старость подошла». К своему здоровью Сталин относился варварски. Обедал всегда в разное время. Это могло быть в 15,17,19, 20 и даже 22 часа. Лечиться у врачей не любил. Иногда ему давал различные таблетки его секретарь Поскребышев, фельдшер по образованию. Вот и все лечение».

Литературная запись В.А. Попова

ТАИНСТВЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ К НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЭМЕ

Реплика, обращенная к Андрею Дементьеву, главному редактору журнала «Юность».

Уважаемый Андрей Дементьев!

Разрешите прежде всего поблагодарить вас за то, что редакция «Юности» уделила внимание поэме Тимура Кибирова «Сквозь пощальные слезы», опубликованной в 100 номере нашего журнала. Поистине, в эпоху гласности литература не знает границ. Не успели мы послать вам сотый номер, как вы щедро открыли зеленый свет одному из его наиболее талантливых авторов. Теперь о Тимуре Кибирове узнают миллионы читателей «Юности». Поздравив вас как редактора, на этом можно было бы поставить точку, если бы ваши сотрудники при публикации Кибирова не проявили творческого подхода, внеся свой вклад во всенародную борьбу за гласность и перестройку. Дело в том, что в «Юности» его поэма напечатана в несколько урезанном виде — вместо написанных автором 19 страниц в журнале появились полторы. Разумеется, если автор согласен, за

редакцией сохраняется право опубликовать лишь часть его произведения. Но только в том случае, если она уведомляет читателя о существовании самого произведения. Это — непреложное этическое правило, которое вряд ли неизвестно вам, редактору такого массового и авторитетного издания как «Юность». Но эта элементарная этическая норма как раз и оказалась забытой. В девятом номере «Юности» мы находим весьма странное и к тому же лишенное всякой логики поэтическое произведение, снабженное заголовком «Вступление» — и ни малейшего намека на саму поэму Кибирова, откуда это вступление взято, и которая только и придает публикации какой-то смысл. Причем этот поэтический «отрывок» напечатан под рубрикой «Испытательный стенд». Де появился на московском небосклоне некий начинающий поэт Тимур Кибиров, стихи которого редакция решила вынести на суд читателя...

Что же толкнуло «Юность» на эту поэтическую вивисекцию ?

Любому, кто читал поэму «Сквозь прощальные слезы», не трудно ответить на этот вопрос. В необыкновенно интересной поэтической форме автор пишет о трагедии советской России, о ее напрасных мучительных жертвах, об историческом тупике, в который завел страну коммунистический режим. Все это, по-видимому, и «постеснялась» поведать «Юность» миллионам своих читателей. Если начистоту, то в чем-то мы даже понимаем редакцию «Юности». Где уж ее сотрудникам напечатать, например, такие строки:

И кремлевский мечтатель напрасно
Вешал на уши злую лапшу
Ходокам и английским фантастам
И напрасно я это пишу.

И другого пути у нас нету
Паровоз наш в тупик прилетел
На запасном пути беспросветном
Бронепоезд напрасно ревел!

Остановки в коммуне не будет,
Поезд дальше вообще не пойдет.
Выходите, дурацкие люди,
возвращайтесь, родные, вперед.

Но, если вы не можете этого напечатать, то извините за нескромный вопрос: «Какая же это гласность? Какая демократия и перестройка?» И что такое, вообще, в этом случае гласность? Неужто только то, что подлежит утверждению свыше? Наверное, по этой же причине вы стыдливо умалчиваете и о журнале «Время и мы», откуда «Юность» взяла Кибирова. Нет такого журнала, как и нет кибировской поэмы «Сквозь прощальные слезы». Или мы возводим напраслину на вашу редакцию? Может быть, это просто недоразумение и досадная перестраховка одного из сотрудников «Юности»? В этом случае будем вам чрезвычайно признательны, если вы опубликуете это письмо, а вместе с ним и до сих пор неизвестную читателям «Юности» поэму Кибирова «Сквозь прощальные слезы».

Редакция журнала «Время и мы».

СОТОМУ НОМЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

3 декабря 1988 года в банкетном зале «Уинстон Тауэр» (Клифсайд Парк) состоялся литературный вечер, посвященный выходу юбилейного сотого номера журнала «Время и мы». На вечере собрались писатели, журналисты, деятели искусств, подписчики и читатели журнала. Редакция приносит глубокую благодарность всем участникам вечера и выражает особую признательность выступившим на вечере Альберту Писаренкову (ведущему), Феликсу Розинеру, Ире Гутман, Роману Романову, а также организатору вечера профессору Борису Бутману.

Ниже приводится полный текст выступления главного редактора журнала «Время и мы» Виктора Перельмана:

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ

«В почти уже не сохранившемся архиве редакции нашел я недавно домоуправленческого вида справку, где на языке библии удостоверялось, что адону Виктору Перельману разрешается вывезти из типографии Бени, что на улице Рошпина в Тель-Авиве, три тысячи копий первого номера журнала «Азман ве анахну». Последнее на языке предков и означало название нового журнала «Время и мы». Но интереснее всего была дата, стоящая в верхнем углу это-

го исторического документа — 3 декабря 1975 года. В моей книге «Театр абсурда» указана, правда, другая дата, начало ноября 1975 года. Как ни странно, обе верны, ибо исторический первый номер пришлось печатать дважды по причине того, что печатник Хайм из типографии Бени, не ведая о своей миссии, возле пресса заснул и выдал более тысячи экземпляров брака.

Мне часто задают вопрос: «А как шла подготовка первого номера? И какой была редакция? И кто в нее входил?» Пусть вас не удивляет, если я скажу, что редакция чем-то напоминала тайную масонскую ложу, все делалось подпольно, в секрете от правительства, от сохнута, от налогового управления: хозяйка комнатушки, где расположилась редакция, страшно боялась, что ее обложат дополнительным налогом за то, что пустила к себе издательский бизнес.

Но странным образом это был действительно заговор, заговор горстки бывших подсоветских литераторов, которые, прибыв на историческую родину, вместо того, чтобы учить иврит, за спиной родного еврейского государства взялись за создание русского литературного журнала. Было это сразу после войны Йом-Кипур, неподалеку от сефардийской синагоги, под субботние песнопения раввинов. Вот уж поистине, нашли время и место! Разве лишь имена отцов-основателей и авторов журнала, может быть, как-то объяснят эту фантастическую ситуацию: Борис Орлов, Миша Калик, Лия Владимирова, Георгий Бен, Михаил Занд, Наум Коржавин и присоединившийся к нам с пятого номера Вика Некрасов и чуть позже Александр Галич и странным образом затесавшийся в эту компанию знаменитый раввин Штензальц, выступивший в первом номере с блестящим эссе о сущности еврейства: «Кто мы — трагические актеры или самобытная нация?»

На обложке первых номеров «Время и мы» неизменно печатался девиз, некий манифест его основателей, который я хотел бы привести: «Среди неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношений между людьми, мы исполнены одной лишь цели — помочь читателям лучше разобраться во времени и себе». Сегодня это звучит несколько выспренно и амбициозно и в чем-то по-детски наивно — заговорщики всех времен были амбициозны и по-детски нелепы.

Однако этот наивный манифест-девиз помогает лучше понять, чем был и что есть сегодня журнал «Время и мы»: что он был и есть челендж, эдгар, вызов современному миру — миру циников, расчетливых карьеристов, маленьких и больших хищников, миру партийных демагогов и бойцов за правое дело.

Мы назвали себя «Время и мы», но между этими двумя понятиями не было гармонии, ибо на самом деле мы вошли в острейший конфликт со временем, с окружающим миром, который требовал от нас, от каждого эмигрантского литератора, чтобы он забыл литературу и во благо себя и общества быстрее влился в стройные ряды людей настоящего дела. Конфликт этот продолжался с первого по сотый номер, о нем я хочу сказать во весь голос, ибо за то, что мы шли не в ногу, нам приходилось дорого платить, но в том, что наша редакция помогла выжить русской литературе в изгнании, безусловно, одна из заслуг, может быть, главная заслуга журнала «Время и мы».

Прошло тринадцать лет и законно спросить, а какова же сегодня судьба основателей и первых авторов журнала. Похоже, что в наступившую эпоху гласности многим из них воздается должное. Наши вчерашние авторы — больше не предатели и отщепенцы, никто не изгонял их в эмиграцию, и вообще, нет больше писателей-эмигрантов, а есть русские писатели, живущие в разных странах мира: Бродский, поэт и переводчик, в настоящее время живет в Нью-Йорке, Коржавин, поэт, живет в Бостоне, Войнович, писатель, в настоящее время живет в Мюнхине, Виктор Некрасов, автор книги «В окопах Сталинграда», последние годы жил и умер в Париже, Александр Галич, поэт и

бард, жил и умер в Париже... Какая-то фантастическая операция «Ы», в результате которой лучшие литераторы России катапультировались в разные города мира! И как будто не печатал Некрасов своей повести «Персональное дело коммуниста Юфы» в пятом номере журнала «Время и мы», и не публиковал Галич своего плутовского романа «Блошиный рынок» в 24 номере, и не открывала первый номер «Поэма существования» Коржавина. Не было и нет ничего этого, потому что не было и нет самого журнала «Время и мы». Он есть, конечно, как некий, проникающий в СССР «эмигрантский листок», откуда журнал «Юность» безо всякой ссылки «позаимствовал» отрывок из поэмы Кибирова «Сквозь прощальные слезы». «Листок» этот все еще подпольно передается из рук в руки по городам и весям России. И почему-то его неизменно ждут и очень любят читатели в СССР.

Журнал и сегодня существует еще как бы в заговоре к миру, как его внебрачное дитя, не согретое ни партиями, ни правительствами, не замечаемый печатью, но, может быть, оттого и ценимый читателями: что ни говорите, а приятно ощущать, когда ниоткуда не заказывается музыка!

Никто и ничто не может перечеркнуть хода событий. Вещи, особенно, если они продукт мысли и духа, говорят сами за себя, независимо от того, где они творятся: в Америке или России, замечают ли их газеты «Правда» или «Нью-Йорк таймс». Думаю, что будущие историки, не связанные страхом перед насилием, не пляшущие под дудку партий и идеологий, расшифруют эти, да и многие иные тайнописи, оставленные им в наследство нашей амбициозной и незадачливой эпохой. Может быть, из этой тайнописи они узнают и о нашем вечере, состоявшемся на 31 этаже этого вознесшегося над Нью-Йорком здания. И скупым протокольным языком отметят они, что третьего декабря 1988 года собрались сюда друзья журнала «Время и мы», чтобы отметить его 100 номер, собрались соучастники дерзкого вызова, который бросил журнал своему времени. Я не

знаю, что они еще напишут про журнал и про этот вечер, но мне бы хотелось, чтобы он был феерически прекрасен, как и долженствует быть часу торжества мысли и духа. Спасибо за внимание.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ ЖУРНАЛУ

Продолжается поступление средств в фонд сотого номера журнала. Редакция сердечно благодарит подписчиков и читателей, оказавших экономическую поддержку редакции: Ицика Вовка — $240 (общая сумма его поддержки — $440), Игоря Копельмана М.Д. ($200), Владимира Сафонова М.Д. ($200), Э. Неизвестного ($100), Пьера и Тамару шенкман ($50).

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТКИ

В поэтической подборке Лии Владимировой, в 101 номере журнала на стр. 122 (в 5 строфе) допущена опечатка. Эту строфу следует читать так:

Стану статной, стану синеокой.
Час мой пробил, день настал.
Зов кукушки — оклик издалека —
Миги счастья отсчитал.

Редакция приносит извинения автору и читателям.

ИСКУССТВО И ЭПАТАЖ АНАТОЛИЯ БЕЛКИНА

«Каждый культурный человек предпочтет провести несколько часов на болоте, слушая пение лягушек, походу в Филармонию на Шнитке». Кому принадлежит это странное утверждение? Что это? Эпатаж? Сарказм? Торжество самоуверенного невежества? Или откровенная издевка? И если к этому добавить, что утверждение это заимствовано из графической работы ленинградского художника Анатолия Белкина, то число вариантов истолкования этого «эпатажа» возрастет в энной степени.

Известно, что сложные и компьютизированные современные приборы создаются с учетом фактора, который их конструкторы называют «защитой от дурака». В них предусмотрена специальная последовательность команд, которая не позволяет вывести прибор из строя или, скажем, стереть программу случайным нажатием кнопки.

А чем защитить картину, скульптуру, рисунок? Скажем, от невежды, уверенного, что сам факт созерцания дает ему право судить произведение искусства с позиции, так сказать, здравого смысла. «А что тут особенного, я и сам все вижу!» Как не подкинуть обладателю сей немудрящей философии наживку... Вот и читаем мы на другом рисунке Белкина рядом с удобно расположившейся фигурой солдата: «Чистый унитаз — лицо командира».

Но, если говорить серьезно, то шрифт, которым художник так любовно и широко пользуется, выполняет не столько «защитные функции», сколько сам является декоративным элементом его живописи. При этом, какой бы ни была знаковая система (на одной из картин это древнееврейские буквы, на другой — кириллица, на многих работах последнего времени — нотные знаки, напоминающие арабскую вязь на восточных каллиграфических орнаментах) — она, эта живопись, всегда эстетически обогащает нас, обогащает зрительное восприятие, создает особое, специфическое соотношение между светом и тенью, и в этой роли подчас просто заменяет штрих.

Трудно определить любимый жанр художника. Белкина прежде всего интересует форма, пространство холста, его фактура и, конечно же, тончайшие нюансы света. Сюжетные работы (особенно иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», сделанные в середине 60-х годов и принесшие художнику широкое признание), сейчас уступили место куда более формальным композициям, сочетающим элементы графики, коллажа, низкого рельефа и живописи маслом.

Сложно подобрать точное определение для подобных работ, но еще труднее оторвать от них взгляд, любуясь мерцающими поверхностями и пытаясь разобраться в хитросплетениях нотных знаков и всегда не случайных надписей. Художник хочет добиться формального совершенства: того состояния, когда произведение способно существовать само по себе, вне всяких подпорок, контекста или сюжета.

Особую живость композициям Белкина придает низкий рельеф, который в сочетании с прозрачным, напоминающим куски смальты, живописным слоем заставляет глаз зрителя как бы прослеживать движение руки художника.

Излюбленные белкинские сюжеты: петербургские дома, рыбы и птицы, рожденные его фантазией, зачастую служат просто удобной моделью для проверки и отработки новых художественных идей и приемов, чем и объясняется их многократное повторение. И хотя Белкин совсем недавно в Нью-Йорке, он успел закончить большую композицию, явно навеянную американскими впечатлениями и прежде всего поездкой в Вашингтон. Одним из элементов коллажа в этой работе является заголовок газеты «Новое русское слово». И думается, что персональная выставка художника, проходящая в галерее Эдуарда Нахамкина, станет и в самом деле новым, действительно русским словом в богатом и противоречивом словаре нью-йоркского искусства.

А. Щедринский

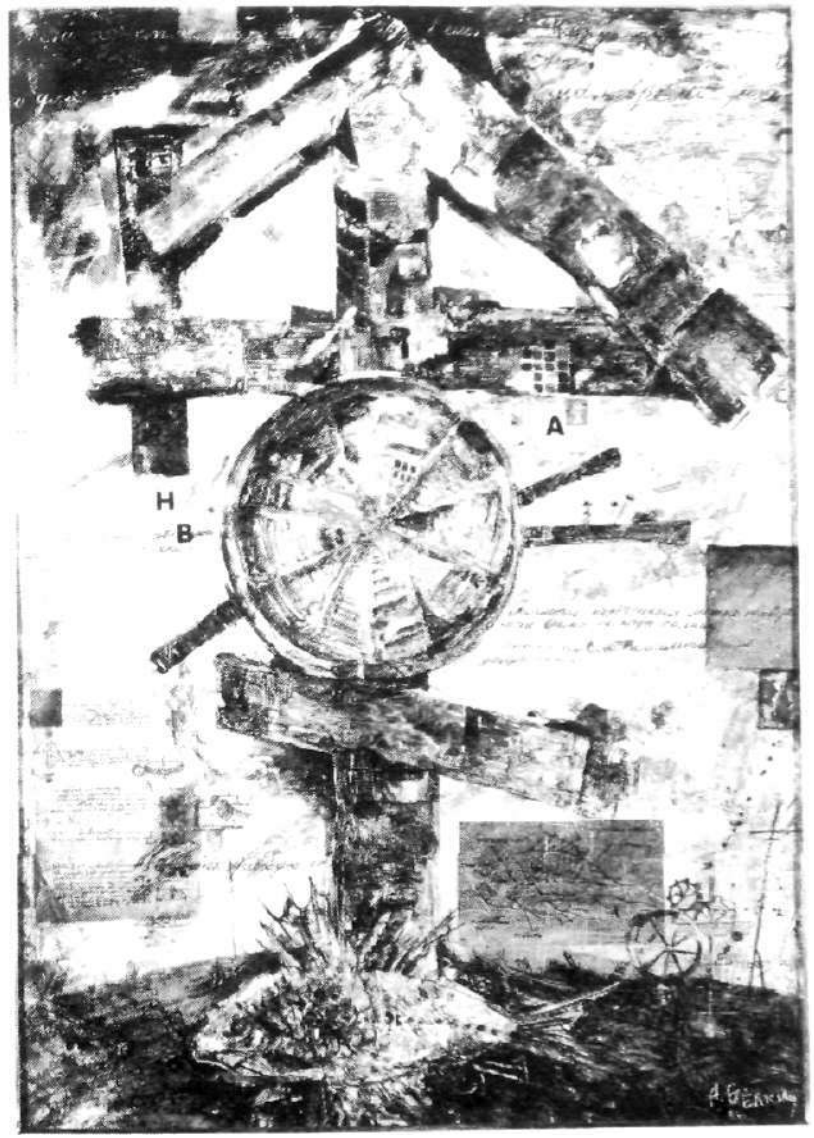
День рождения. Тушь, перо.

Старый дом. Акварель, тушь, перо.

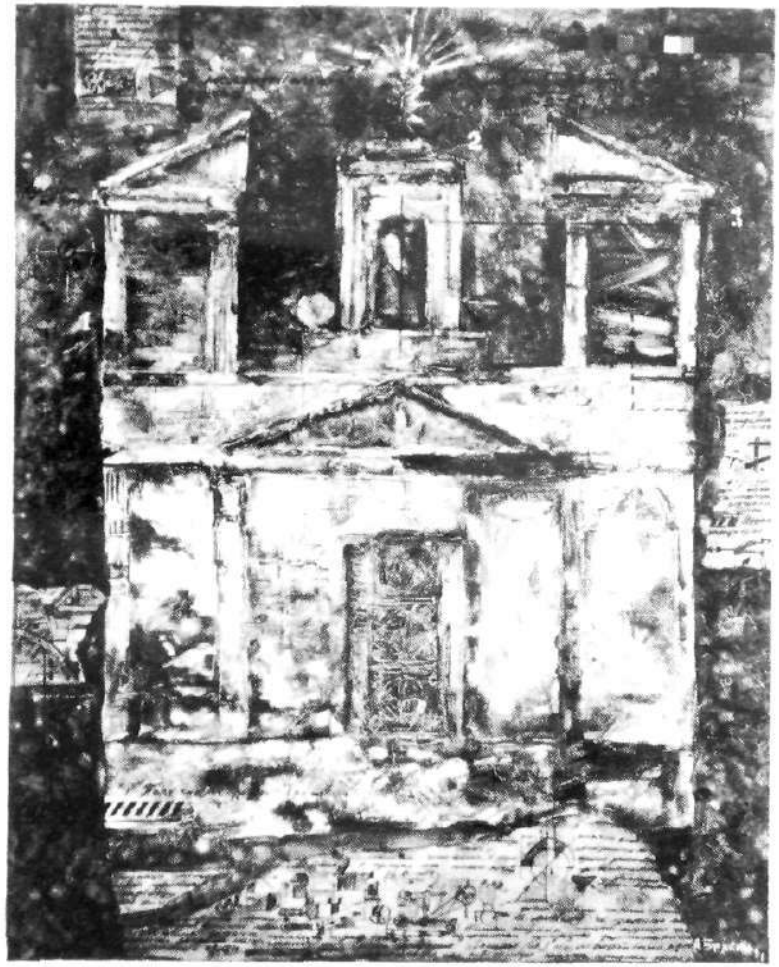
Девочка с кошкой. Тушь, перо.

Мастер и Маргарита. Тушь, перо.

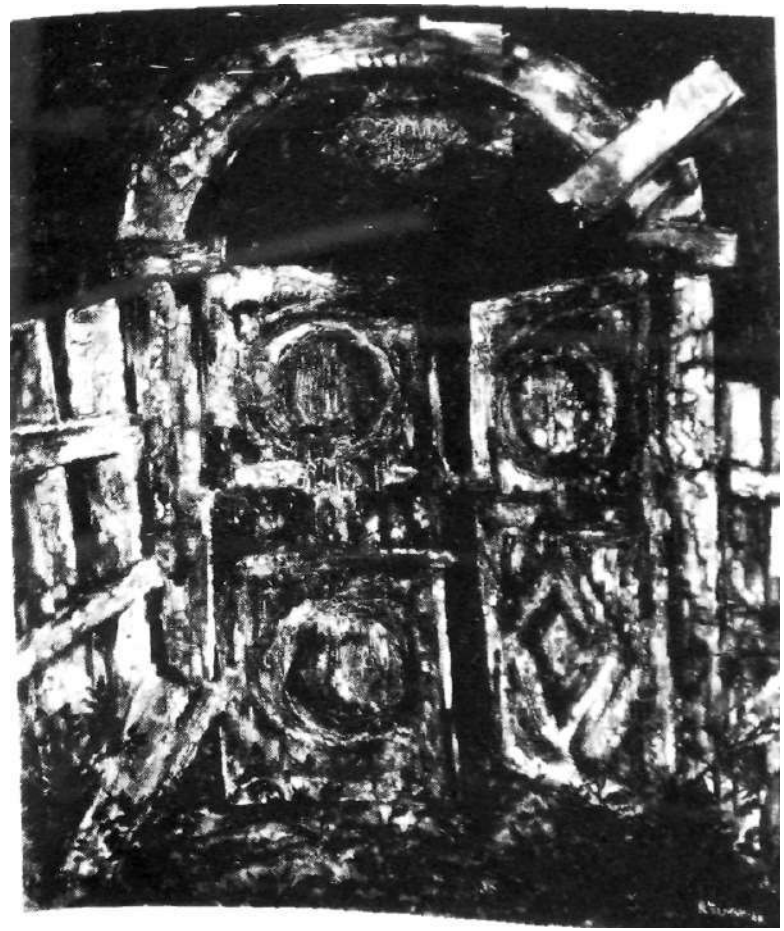
Ангел над Петербургом. Холст, масло.



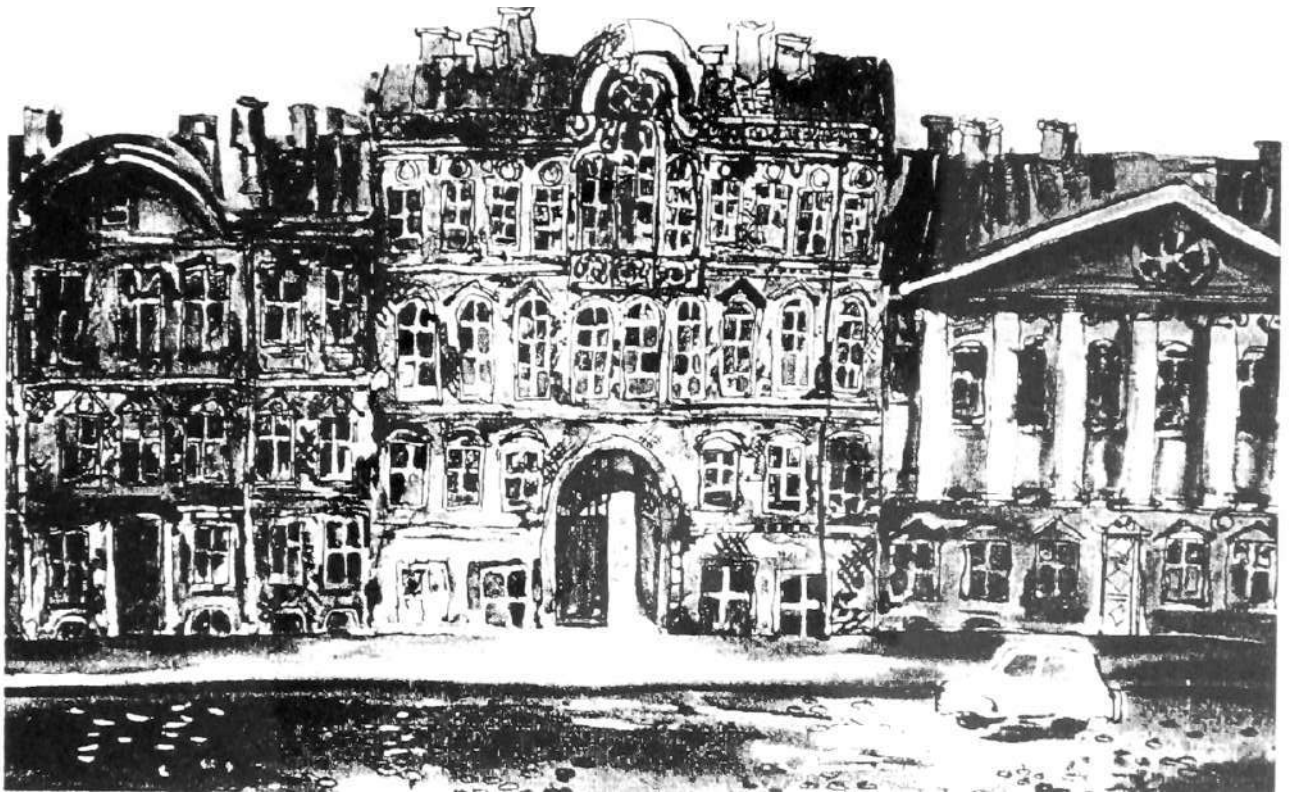
Там, где раньше был океан. Смешанная техника.



Построение миража. Холст, масло.



Ворота. Холст, масло.



Улица. Акварель, тушь, перо.

Корова. Акварель, тушь перо.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

МИХАИЛ ФЕДОТОВ — родился в 1945 году в Ленинграде. В СССР не печатался. В 1986 г. в Израиле вышел роман «Соотечественники» и сборник рассказов «Богатый бедуин и Танька». Живет в Иерсалиме. В журнале «Время и мы» публикуется впервые.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ. Писатель, журналист. Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав. отделом науки газеты «Московский комсомолец», в СССР был членом Союза писателей, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. В 1977 году возбудил ходатайство об эмиграции, однако разрешение на выезд получил только в 1987 году. Сейчас живет в США.

СЕРГЕЙ РУЗЕР. Родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский университет в 1972 году. Работал научным сотрудником в музее, экскурсоводом, консьержем, литературным секретарем. Был внештатным сотрудником ряда московских журналов. Писал о театре и кино, переводил по договорам, преподавал частным образом иврит. В Израиль выехал в 1987 году. Живет в Иерусалиме.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН. Поэт. Живет в Западном Берлине. Первая подборка стихов была напечатана в 92 номере журнала «Время и мы».

АНДРЕЙ ГОРЛОВ. Родился в Москве в 1961 году. В 1979 году поступил в Московский Институт Международных отношений, откуда в 1981 году был исключен. В настоящее время живет в Риге, работает школьным учителем.

ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Окончил философский факультет ЛГУ. Член американской философской ассоциации (АРА). Принимал участие в ленинградском диссидентском культурном движении за свободу творчества. Эмигрировал в 1978 году. Преподает русский язык и литературу. Статьи и выступления П. Болдырева публиковались в США, Канаде, Европе и Австралии.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — эмигрировал из СССР в 1977 году. До эмиграции жил и работал в Москве. За выступления против цензуры и антисемитизма был исключен из Союзов писателей и Журналистов СССР. В США Владимир Соловьев совместно с женой, Еленой Клепиковой, работает для американских изданий. Они авторы книг «Андропов» (изд. Мак-Миллан) и «За высокой кремлевской стеной» (Додд, мид), переведенных на ряд иностранных языков. Последняя вышла в издательстве «Время и мы» на русском языке («Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева»). Владимир Соловьев и Елена Клепикова систематичепски выступают в ведущих американских газетах.

ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ — родился в 1938 году. Окончил в 1965 году физический факультет Тбилисского университета, работал физиком в Институте пластмассы. С конца шестидесятых годов начинает активно участвовать в правозащитном движении. В 1968 году во время лекционной поездки В. Чалидзе в США власти СССР лишают его советского гражданства. В Соединенных Штатах совместно с Эдуардом Клейном он организует издательство «Хроника-Пресс», а также собственное издательство «Чалидзе-публикэйшен». Автор четырех книг, из которых наибольшую известность получила «Будущее России». Валерий Чалидзе — лауреат премии Мак-Артура.

ЕФИМ ЭТКИНД. Писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. После войны преподавал в Ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им.А.И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в Западных университетах. Под редакцией Е.Г. Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В настоящее время готовятся переводы А.К. Толстого.

ЮРИЙ КАРЯКИН — литературный критик, публицист, член Союза Писателей СССР, автор широкоизвестной книги о Достоевском, живет в Москве.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ — украинский поэт, главный редактор журнала «Огонек».

АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ — экономист и публицист, один из самых энергичных и последовательных сторонников политики гласности, был заведующим отделом публицистики журнала «Новый мир», живет в Москве.

ВИТТОРИО СТРАДА — профессор Венецианского университета, историк русской литературы, автор многих исследований, один из редакторов семитомного издания по истории русской литературы.

Summary for the 103rd issue of "Vremya i My" ("Time and We")

MIKHAIL FEDOTOV, "Jerusalem Chronicles."

SERGEI RUZER, "The Departure of Vera Nikolayevna."

YURI DRUZHNIKOV, "A Pink Lampshade With a Crack."A short story about the double life of a Soviet Party functionary in the glasnost and perestroika years.

ALBERT LEIN, "Ways of No Return." Lyrical poetry.

ANDREI GORLOV, "Earthly Miracles." Lyrical poetry; Samizdat received from Russia.

Petr Boldyrev, "The Image of the Enemy." An Essay on the contemporary Soviet economy. Military expenditures in totalitarian and democratic society.

VLADIMIR SOLOVYOV, The Year 2000: the World Without Soviet Empire." A look at the future of the Soviet Union and the modern world.

VALERY CHALIDZE, "Majority and Minority." An article about national problems in the USSR in the glasnost years.

B. ALEXANDROVSKY, "Reflection After Disaster." An essay on the geopolitical consequences of the earthquake in Armenia.

The Barcelona conference: a selection of speeches by Soviet and emigre writers at the international conference in Barcelona.

EFIM ETKIND, "The Limits of Freedom." The well-known emigre critic and commentator talks about Soviet literature under glasnost.

VITALIY KOROTICH, Editor-in-Chief of "Ogonyok."
"We Are Tired, But We Are Not Yet Cynical."

YURI KARYAKIN, (Soviet political commentator and critic), "This Is Our Last Chance."

ANATOLY STRELYANY (Soviet writer and political commentator), "Revolutionaries and 'Gradualists'."

VITTORIO STRADA (well-known Western scholar of Soviet Literature), "Stalin Exists, And that Requires an Explanation."

VIKTOR PERELMAN, "Russia Left Behind: A Journalist in a Closed Society." (Excerpts from the soon-to-be-published second edition of the book.)

ALEXEI RYBIN, "By the Side of Joseph Stalin." Memoirs of a former bodyguard of Stalin's, published in the Soviet magazine *Sociological Studios,* with editorial comments.

"A Mysterious Introduction to an Unknown Poem." An open letter from the editors of *Vremya i My* to the editor-in-chief of *Yunost* magazine Sergei Dementyev about an excerpt, published in that magazine, from Timur Kibirov's poem "A Tearful Farewell."

ФОНД
100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Hfghwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.

ТАМАРА МАЙСКАЯ
«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А.Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз. д-р наук, проф. русского языка и литературы)

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.
Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

МИХАИЛ КРЕПС

«ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС»,

142 стр.

Михаил Крепс — один из интереснейших и оригинальнейших поэтов русского Зарубежья. Его стихи печатают все ведущие русскоязычные журналы — «Континент», «Время и мы», «Новый журнал», «Стрелец», альманах «Встречи» и др.

Новый сборник отличается необычностью стиля и свежестью поэтического восприятия. Стихи сборника, весьма неожиданные и новаторские для русской поэтической традиции, вызвали оживленные дискуссии как среди специалистов-стиховедов, так и рядовых любителей поэзии.

Цена книги — 9 долларов

Пересылка за счет издательства

Заказы направлять по адресу:

В Европе:

Third Wave Publishing House
Chateau du Moulin de Senlis 91230,
Montgeron, France

В США:

Third Wave Publishing House
286 Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302. USA

НОВЫЕ КНИГИ OPI

Виктор Суворов

АКВАРИУМ

« Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощная в мире секретная служба. Конечно, Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ» Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников

366 стр. **9.50 ф.ст.**

Илья Земцов и Джон Фаррар

ГОРБАЧЕВ: ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только в канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако, в том — обойдется ли он без *тоталитаризма» (из Пролога).*

320 стр. **9.50 ф.ст.**

Жак Росси

СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом.

Предисловие Алена Безансона.

«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси. — читаем в предисловии. — *занимает оригинальное место. В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации, чем та, которой мы располагали доселе И тот. кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования»*

546 стр. **13.50 ф.ст.**

Борис Винокур

ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык

240 стр. **9 ф.ст.**

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London \V4 ITU. England), в книжном деле A.Neimanis (Bauerstr. 28, D-8000, Munchen 40 West German)) и во всех русских книжных магазинах.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о модерной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

ЦИКЛ с ПОЭТИКОЙ аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи: 13 отдельных листов в папке на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.
14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора по адресу:
Felix Rozlner
866 Beacon Str. Apt. 2
Boston, MA 02215, USA

Александр Орлов

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА. РАДЕКА...
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте** по **адресу:

"TIME AND WE", 409 HIQHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ — ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО КРЕМЛЬ — О МИРЕ
О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО ПОХОРОНАМИ
ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ
ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН. МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
ЗНАКОМЬТЕСЬ. МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ
БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ
КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1989

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: *(201) 592* - 6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....
Имя.....
Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

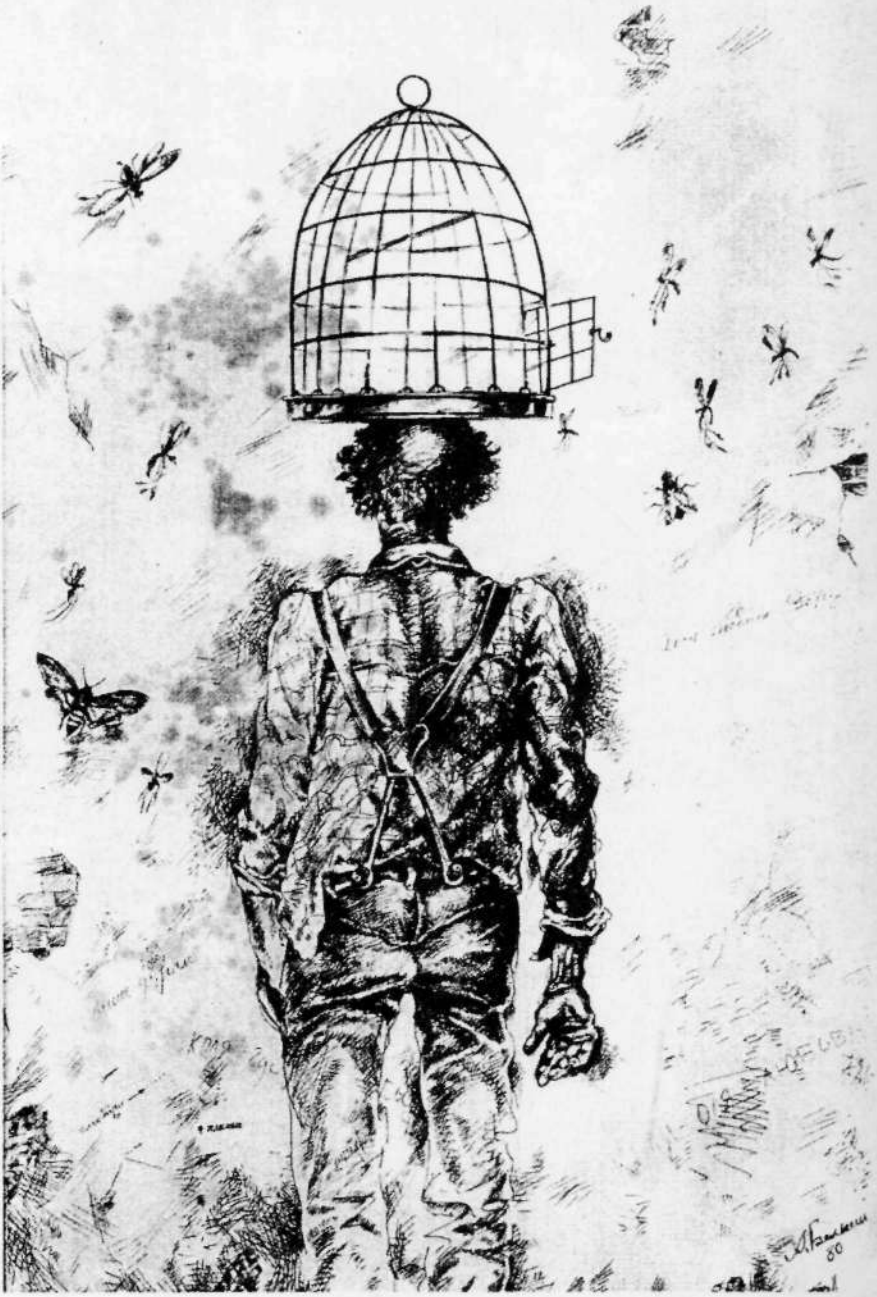
Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены компанией NAME Advertising Co.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Первая страница обложки выполнена художником Вагричем Бахчвняном.
На четвертой странице обложки:

Анатолий Белкин. «Человек с клеткой». Тушь, перо.